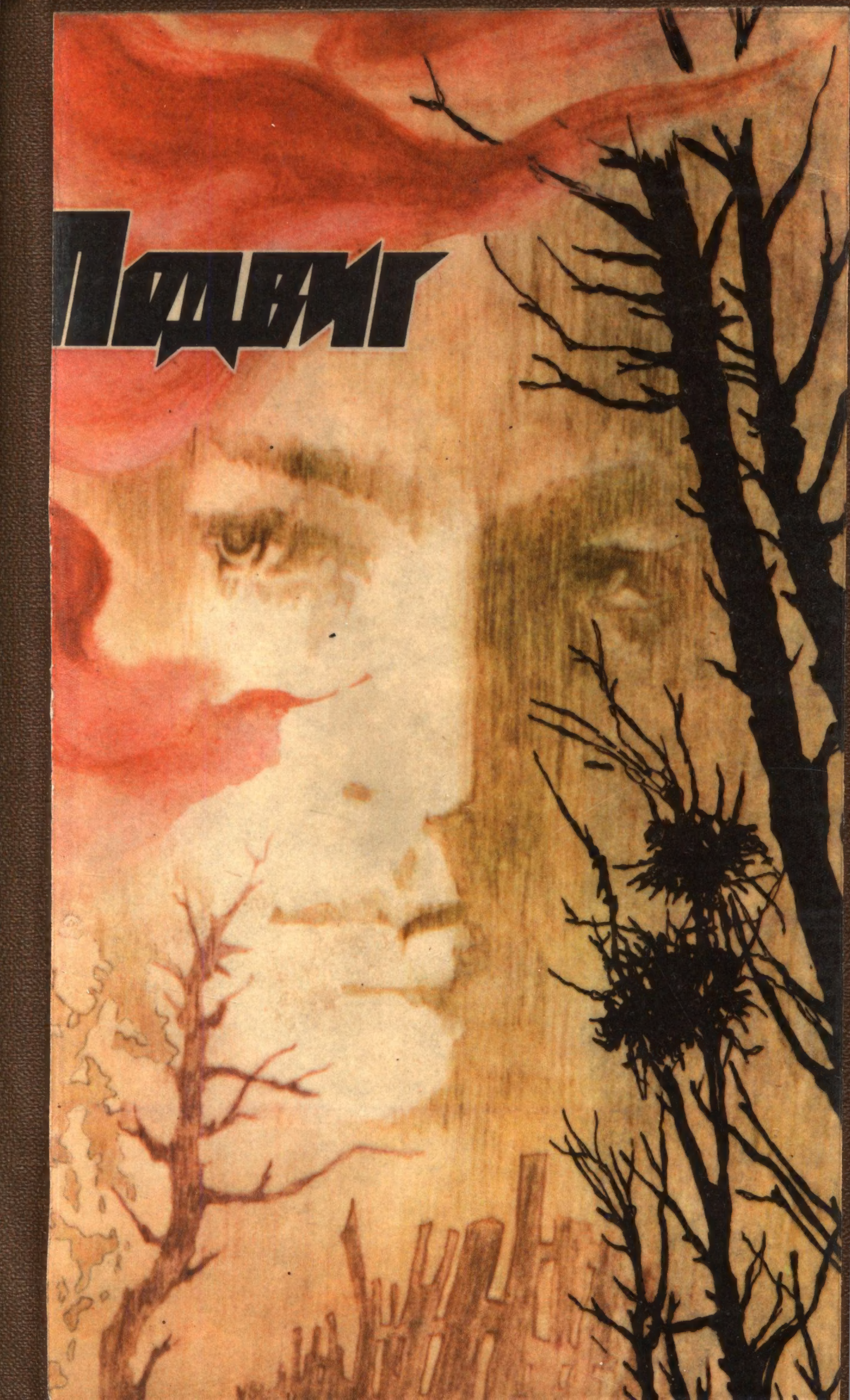
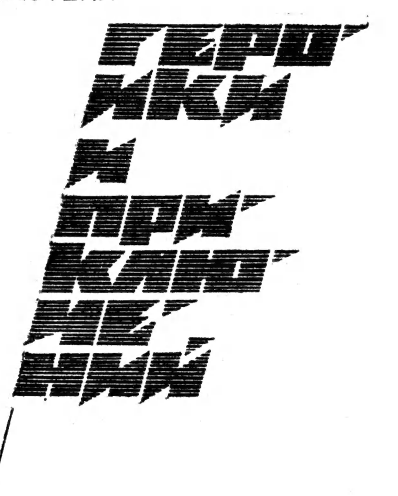
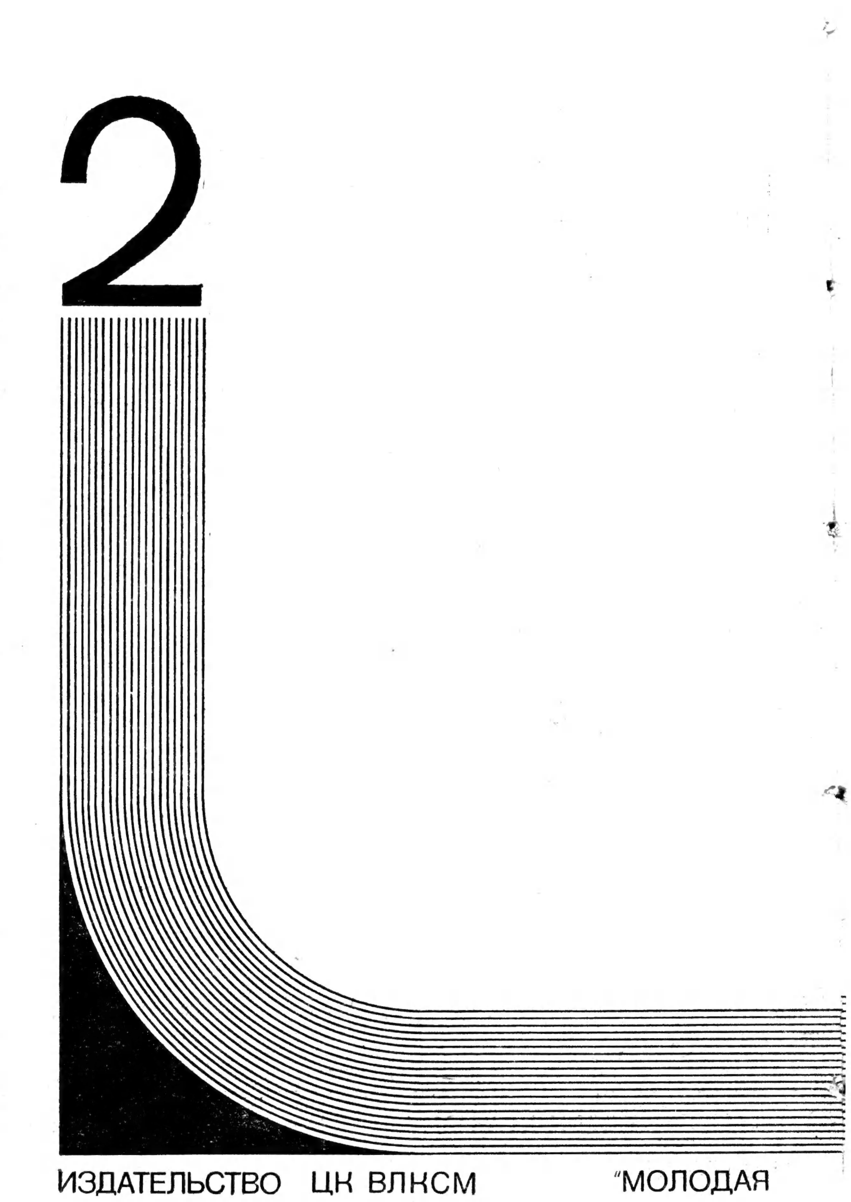

Подвиг

БИБЛИОТЕКА



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
"СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ"



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ "МОЛОДАЯ

Л. СЕЙФУЛЛИНА
А. БЕЗУГЛОВ

„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" МОСКВА 1982

Л. СЕЙФУЛЛИНА

ВИРИНЕЯ

ПОВЕСТЬ




О ЛИКВИДАЦИ
ДЕКРЕТ
ДЕКРЕТ
ДЕКРЕТ О

I

На сорок девятом году жизни Савелия Магару растревожил бог. Сразу, хваткой за сердце нежданной. В нехороший полночный час проснулась баба Савельева, глянула кругом по избе и охнула испуганно:

— Чтой-то ты, Савелий? В нутре схватило, што ль? А? Лик у тебя больно темен. Я и то проснулась, чисто в бок кто толкнул. Гляжу: и свет в избе не в час, и тебя на кровати нет. Чего ты? Занедужил, а? Вон тамо-ка, на божнице, вода свяченая...

Савелий глянул сурово из-под нахмуренных бровей потемневшими серыми глазами, широкой, рыжей бородой повел, передохнул так, что большие, крепко сбитые плечи всколыхнулись. Прервал глухо:

— Не мешай! Виденье мне сейчас было. Неизвестного имя и какого перед богом чину — мученичьего ли, али преподобинского — не знаю, но угодник мне явился... Стоит вот тут, будто у стола, и кличет сердито: «Савелий Астафьев Магара!» Хил и росточку малого, немудрящий такой, а голос — ничего. Голосом на земского схож. Я со сну-то спервоначалу и не разобрал, что от бога это. Думал, по земному делу расход. Тишком себе в бороду изругался крепко, что ты, думаю, пралик тебя зашиби, как это на меня земского нанесло? А внутре-то уж чую, что не земский. Чисто лед по кишкам, захолодал с нутра, и по коже прямо пупырями дрожь.

Не столько самые слова, сколько обилье этих слов испугало старуху. Неохотлив он на разговоры, тяжелый у Магары язык. А тут вон как высказывает.

— Ах-ах, мамыньки! Свят, свят, свят! Владыко, царь небесный, господи!.. Слышь-ка, а може, то не угодник, а Стрепетихи-мордовки навод. Человек ты перед богом не заслуженый, не молитвенник. С чего к тебе угодник затрудится, пойдет? Помолись да прочитай молитву хорошо. Вот: «Да воскреснет бог, и расточатся...»

Савелий цыкнул сердито:

— Не верещи поганым бабьим языком! Тише ты! Молодых в передней горнице разбудишь. А это дело тайное пока. Тебе сказал потому, что с тобой все свои грехи мои вместе нажиты. Угодник, тебе говорю, богово имя поминал и приказал мне молиться с натугой, старательно. Бог в меня перстом ткнул. С того и холод в нутре. Три раза виденье было.

Старуха заахала, кофтенку накинула, платком голову прикрыла и закрестилась часто, испуганно:

— Боже матушка, троеручника! Господи батюшка! Свят, свят!..

— Погоди, не мешай! Не лезь бабьей плотью вперед, не погань мою молитву. Сичас сам молиться зачну.

Встал, тяжело согнул большое тело, упал на колени и бил поклоны до солнца восхода.

С той ночи и повредился сердцем мужик. Оно и раньше у Магары тяжелое было. Глаз редко веселый был и смеяться не умел. Гмыкал глухо в короткий веселости миг. А года в три раз накатывало: вином по долгому сроку зашибался. Во хмелю буйствовал. Крушил, ломал, бабу и детей своих жестоким боем бил. Старшей дочери в ухе слух перешиб. Так и осталась на одно ухо глухая да пугливая. Часом заговаривается вроде дурочки. Но отводил срок, и остальное время правильно жил. Люди уважали за крепость хозяйственную, за добычливость. А теперь совсем по-другому все поворотил. Большое хозяйство на зятя, за младшей дочерью в дом взятого, бросил. Глядя поверх головы зятевой, сказал ему веско и строго:

— Ты меня теперь по хозяйству не замай. Как хочешь верти. Хочь еще копи, наживай, хочь по ветру развей, коль кишка не вытянет. А мне теперь не то указано. Молитву строгую и пост должен справлять. В грех меня не вводи с расспросами.

Дочерям, в другие села замуж отданным, дали весть. Они спешно с мужьями приехали. Баб в избу набилось — не продохнешь. Судить, рядить, ахать принялись. Савелий грозно ногой топнул, закричал сердитым зыком и ушел из избы. За селом землянку себе сложил. Зимой в ней молился, а летом — на камне под горой. Пропитанье скудное, по его приказу, семья ему носила.

В Нижней Акгыровке сперва дивились, а потом почитать Магару стали. Главное дело — и перед богом хорошо: замолит за своих-то однодеревенцев, и перед людьми лестно. Первый угодник из мордовско-русской части деревни Акгыровской. В округе люди богом зашибались и до Магары. Но больше сектанты да кержаки, до веры лютые. На горе, в той же Акгыровке. А Нижняя Акгыровка насчет крестин, венчанья, похорон, во грехах исповеди ис-

полняла, что требовалось, но с прохладцей. Без ретивости. Курайгинского прихода были, за пятнадцать верст село. И рекой без моста отделено. Свою церковь не поставили, а в кержацкую моленную на гору не пойдешь. Когда река мешала, когда по крестьянскому делу недосуг. В церковь не попадали подолгу. Курайгинский поп с амвона в строгом проповедном слове баб акгыровских на весь приход ославил: молитву очистительную после родов не на сороковой день, как по уставу положено, а ко вторым родинам приезжают брать.

Так и ходила Нижняя Акгыровка по богову делу в последнем счету. А тут вдруг сразу: старатель перед богом свой. И в соседние волости далеко о Магаре слух прошел. С каждым годом в молитвенном деле он все больше укреплялся. На третьем году молитвы, когда на камне от коленок Савельевых даже отметины углубленьем обозначились, стал ему бог в виденьях во всяких являться. Предсказывать Магара начал. Один раз в село в праздник пришел, на улице старикам объявил:

— Небо трясется! Вам не видать, а мне открыто. Народу больно много на земле развелось: дышат и трясут. Виденье мне было: колготит народ, на подводах на многих куды-то едет, пехом друг за дружкой тянет, с бабами, с ребятами, с барахлишком со своим. А царь белый, русский, нашинский, сидит на престоле, ногами об пол сердито стучит. Не иначе война будет, чтоб отбавить народ.

И вот через два на третье лето предсказанье Магары вспомнили акгыровцы.

Отыграла заря багровым огнем, указав тем цветом ветер на завтрашний день. Но темень ночная в тихости расползлась над землей. Плыла прохлада от реки. Тянула с собой на деревню дымок костров приречных жителей, на воле сготовивших летний свой ужин. Пахло во дворах парным молоком, свежим сеном и дегтем от колес. Народ с вечерней разминкой готовился лечь на покой. Замирали в постепенных переходах от шумливого дня к затиханью в ночи звуки во дворах и избах. Вдруг, вздымая по улице тяжелую на подъем вечернюю пыль и яростный собачий лай, проскакал на маленькой запаренной лошаденке длинноногий мужик. На скаку он махал палкой с красным лоскутком. Старостиха со двора увидела. За мужем в избу кинулась:

— Айда скорей! С красным лоскутом верховой из волости. Стало, за рекрутами. Господи батюшка, что это нежданно-негаданно...

Всю ночь беспокоился народ и в низине, и на горе у кержаков. К старостиной избе, в Нижней Акгыровке, фонарей нанесли. Колыханье слабых огней в густой июльской темноте было беспомощным и тревожным. Мигали в окнах лампы и светцы, непривычные в летние ночи, в избах светил жар неурочно затопленных бабами печей. По деревне ширился, нарастая, разноголосый шум. Визгливый бабий крик, терпкое причитанье старух, заливистый плач перепуганных суматохой детей, глухие возгласы стариков и крепкая брань молодых мужиков.

Кержаки на горе к конторе, где жил чернявый инженер с постройки железной дороги, сбились. У него на проволоке разговор через трубку на стене был. Разъяснял:

— Германия получит достойное возмездие! Очень скоро получит!

А в нижней части расспросить было некого. Школа с заколоченными ставнями стояла, и учитель на лето уехал. Староста, сдабривая крепким перцем ругательных слов неохотливую медлительную возню свою, шарил в сундуке. Служебную бляху искал.

Старостиха тонким жалобным голосом, со всхлипом нарочного кривоглазого расспрашивала:

— А с кем война-то? Далеко ль угонют?

Кривоглазый, почесывая запотевшую спину, отвечал неопределенно:

— Ровно с Ерманией, а хорошень не разобрал. Некогда было! Старшина сам меня с крыльца столкнул, чтоб без роздыху гнал. Видишь, дело-то какое повернулось: чтоб завтра к полдням в город призывники нашинские. А до городу двести верст. Не то что к полдням, а к ночи не поспеть. Хоть приказ и на подставных подводах везти. Ну, наши мужицки каки подводы! Да еще в летнюю пору, в рабочую!

— Где поспеть! В волость-то тольки-тольки могут к завтрему, к полдню.

— Ну, так и норовят. Но чтоб в волость обязательно!

— И сроду не видано, не слыхано — без проводин перед царской службой, без разгулки.

И завыла горьким голосом:

— Сыночек ты мой, Митенька! Роженый, хоженый, да куды тебя забирают в ночну пору чижолую? Да на кого ж ты спокинешь супругу молоду-у свою и наследничка своего — дитя малое? Сестер, братьев, отца-батюшку и мене, родительницу твою горьку-ую...

Страстное короткое рыданье прервало старухин тягучий, по обычаю, плач. Настасья билась головой в грудь Митрия, вцепившись пальцами в его опущенные плечи. Митрий смешно поводил шеей, будто теснил воротник. Старался оторвать бабьи руки и нарочито сердитым голосом унимал:

— Отцепись! Завы-ыли! Чего раньше смерти отпеваете? Ну-к, собирай на стол. Печь-то выстыват. Айдате пеките, чего там затеяли!

Староста с натугой поднялся от сундука, поглядел на сына замутневшими глазами и буркнул:

— Буде, бабы! Айда, давай водочки. Там сколь-то было. На царскую службу с песнями, с гульбой провожать, а у нас один вой.

Но ни песен, ни гульбы в эти проводины не было. Уходили без удалости, без храбрящего хмеля царской водочки. Кабака казенного в селе нет, а у шинкарок на всю деревню мал запас оказался. Не дал буйного в напасти веселья. Из печек, не в

час затопленных, тож не сладки подорожники вышли. Бабы в горькой слезе стряпали, плохо доглядывали.

Только солнце встало, подводы со дворов двинулись. Народ на улицу высыпал. Появился в деревне Магара. В длинной домотканой рубахе до коленей, в старых грязных портах. Встряхивал сердито блеклой рыжиной волос с мутной召 сединкой, шел с подводами сбоку. Далеко по дороге надрывный бабий вой стоял. Старик Федот батожком по дороге стучал, шел рядом с Магарой. Говорил ближним на подводах:

— Поди, ненадолго война! Ничего не слыхать было. Про стары войны загодя слух приходил. Солдатов с эдакой спешкой не собирали. Это так, поди, для нутреннего усмирения под царя. Не войте, бабы, как я смекаю, скоро мужики воротятся.

А Магара зычным голосом, далеко слышно по подводам, объявил:

— Надолго война! Народу хрестьянского много в русском царстве развелось, земли не хватат! Пока весь лишок царь не переведет, война не кончится.

II

И опять по слову по Магаринову вышло. Вторая пашня подходит, а здоровые мужики царевым делом маются. В своих хозяйствах — бабы, старики, из молодых только телом неправильные да чужаки нанятые. Которые из богатых откупались было, но позабирали и их. Хоть не на самую войну, а все от дому.

Повитухе Мокеихе акгыровские бабы позавидовали. Вернулся к ней сын по весне. Невысок, узкоплеч, щеки в обтяжку, перхает часто, как давится. А все свой мужик, для хозяйства какникак старается. И не то что без руки, без ноги. Хиловат, а без видимого повреждения. Низенькая, пухлая бабка Фекла, соседка Мокеихина, часто, вытирая рукой ласковые слюнявые губы, говорила ей слащаво через плетень:

— И жить тебе, бабка, только бога благодарить. Сын пришел целехонек, и слуху нет, что заберут. А уж всех позабирали, всех! Старики остались да совсем трухлявые. Твой-то еще хорошо пыжится. И кралю вон каку без венца заполучил. Ничего, значит, еще сок в мужике живет! А то из наших деревенских молодого-то и не увидишь. Все седые да недоросточки. Когда рази эти казенные жеребцы, анжинеры, дороги постройщики, пройдут аль пленные, австрийцы эти хилявые. А нашинских соколиков нет. Не-ет! В других деревнях хучь подранки крепкие, а у нас тоже наперечет. Васька-то, сказываю, на дорогу нанялся? Ай так, на раз взялси за дело?

Мокеиха, снимая старенькие порты с плетня, неохотно ответила:

— На раз. С гумагой какой-то в участок пошел.

В избу поторопилась уйти. Знала и боялась, что на Вирку-молодуху соседка разговор переведет. А уж неохота покор-то людской слушать.

Забурлила в степных логах вода. Не берет конь дорогу. Но по холмам есть для пешеходов узкие ненадежные тропочки. Польстился Васька на хорошую плату. Письмо от инженера с постройки в участок за восемь верст понес. Десятку инженер посулил. Деньги у господ не лежат тишком в кармане, легко шевелятся. Не то что мужичьи несворотные. Очень просто, к десятке еще и прибавит чернявый этот барин. Как начали дорогу строить, вся округа от них пользуется. Но что-то больно долго Васьки домой нет. Инженеру, видно, и впрямь дело срочное. Сам на Васькин двор пришел. Мокеиха в окно увидела, из избы навстречу выбежала. Поклонилась искательно в пояс и певучим голосом спросила:

— Поди, из-за моего сына потревожились? Ах ты господи батюшка! Забота вам, видать... По нашей по улице в этаку грязищу ходить и мужику-то неохота. Вот грех-то: нету еще его, нет! Уж не гневайтесь!..

Инженер хмыкнул и форменную фуражку досадливо на голове подвигал. Старуха еще ласковей успокаивать принялась:

— Он скоро... Вот-вот вывернется! Он у меня шустрый, зря валандаться не станет. Мигом обернет. Ноженьки-то молодые, резвые.

Инженер прикусил черный ус, помедлил и сердито сказал:

— Не скажу, чтоб очень резвые. Или утром долго проспал? Если б вышел на рассвете, как обещал, так уж вернулся бы.

— И ни-ни, ни-нишеньки, никак не проспал. Не сумлевайтесь, право слово, не проспал. Ране петухов вышел. Как можно проспать, коли хорошему человеку посулился?

И уже искренней, голосом посуше, погрубей добавила:

— Сам, поди, обернуться торопится: издрог, измок и не емши.

Василий не только ответ от начальника участка, еще табаку должен принести. Инженеру очень хотелось курить, а ни табаку, ни папирос нет. В этой дыре и купить нельзя. Поэтому он злее, чем хотел, старуху оборвал:

— Как придет, немедленно пусть ко мне.

И осекся. Женщина во двор вошла. Измельчал народ. Красивость женская стала мелка и лукава. От одежды, от старанья зависит. А эта и в узких для нее, линялых обносках городских сановита. Безразличный на них со старухой взгляд кинула. У инженера этот взгляд больших, но не круглых, с жаркой золотинкой глаз странно в сердце отдался. Точно давно его глаза встретить такой вот взгляд желали. Сразу и надолго, с удивительной щемящей радостью запомнил легкую смугловатость, румянец редкой неяркой краски, губы такие же неяркие, будто нецелованные, строгость четких бровей и тускловатую рыжинку коричневых гладких волос. Ноги со двора не пошли. Замялся. Нерешительно, почти смущенно, сказал:

— Я, пожалуй, у вас подожду. Вероятно, он скоро придет.

Старуха неохотно отозвалась:

— А как желаете! Дело-то уж к ночи, должон прийти.

Из избы опять та женщина вышла. Полное ведро помоев вынесла. Сказала недружелюбно:

— Посторонись, барин, оболью.

Старуха спохватилась:

— Ну, дак в избу не то пожалуйте. Не красно у нас, да чего же на дворе-то стоять? Айдате заходите.

Чувствовал, что лучше бы уйти, но безвольно за старухой в жилище вошел. Негромко и с запинкой спросил:

— А это что же... дочь ваша, что ль?

Старуха поджала губы. Сказала сухо:

— Сынова баба...

И, не сдержав злобной горечи, добавила:

— Невенчаная. Так держим. Антипа-кержака слыхали? Его племянница. Из такого-то дому да на нашу хилость позарилась. К Ваське сбежала. В городу без закону три года валандались. Нынче только недели две, как сюда обернулись. Срамоту-то свою к матери в дом принесли. Теперь, может, и обзаконятся, а сейчас от людей нехорошо. Отроду не слыхивала, чтобы в семье в нашей такой срам разводился. Побаски тут всякие про нее, про Вирку-то. Я к тому, что, поди, и вы слыхали? Добрая-то слава лежит, а дурная-то не то что бежит, летом летит.

И спохватилась:

— Айдате проходите, вот тут садитесь.

Фартуком смахнула что-то со скамейки перед столом в переднем углу. Шершавой рукой по деревянному чистому столу провела. Унылыми глазами всю тесную низенькую избенку обвела. Прибрана, а все для господина неподходяще. Вздохнула и отошла к сторонке. Инженер сел. Ему хотелось еще расспросить, но стеснялся. Мусолил вялые фразы о дружной весне, расспрашивал неумело и непонятно о хозяйстве. В глаза обидно лезла деревянная, с засаленным лоскутным одеялом кровать. Неужели та, строгобровая, на ней спит?.. И не одна... Опять встревожился, когда вошла. Почему-то счел необходимым пояснить:

— Хочу у вас подождать, пока ответ принесут. Я вам не помешаю?

Криво, неласково усмехнулась:

— Скамейку не просидите, поди. А нам какая помеха?

Сняла с полки грубый шерстяной чулок, села спокойно у окна и принялась вязать. Старуха работать при важном госте не решалась. Сидела, сложив на коленях стесненные праздностью руки. Инженер барабанил пальцами по столу. Ужасно неудобно и стеснительно это молчанье. Кашлянул и неуверенно спросил молодую:

— Вы не здешняя, кажется? Я не знаю вашего имени...

Она посмотрела искоса и засмеялась. От блеска белых зубов, от ясности открытой улыбки юней и проще лицо стало. А у инженера на лице отсветом глуповато-радостное восхищенье.

— По-кержацки зовут Виринея. У нас свои святцы. Что-то вы, барин, до меня больно с антиресом? Ты с мамонькой поговори. Она жила дольше, и разговору у ей больше. А лучше

шли бы вы домой, в чисту горницу, чем в нашем закутке дух наш мужичий нюхать. Принесет Василий что надо, мы к вам доставим.

И с новой, чуть лукавой усмешкой добавила:

— Я принесу.

— Да, да, пожалуйста. Я за беспокойство заплачу. А то действительно долго, пожалуй, ждать. Я далеко живу. Там, на горе. Но вы уж, пожалуйста, потрудитесь. Ваш муж, вероятно, вернется усталый, ну так вы или кто... Пожалуйста, уж принесите или пришлите.

Старался говорить просто, голосом строгим, но глаза волненье и обиду выражали. Слово «муж» с запинкой выговорил. Виринея учуяла. Бросила косой взгляд на старуху, потом сухо инженеру сказала:

— Кто ни на есть, а пакет доставим. Не на даровщинку — знамо, заплатите. Эй, погодите-ка!

В окно Василия увидела.

— Притащился! Чуть ноженьки волокет. Сейчас отдадим что принес.

К двери пошла. На ходу оглянулась и сказала строго:

— За эдакую ходьбу и без доставки прибавить надо. Другой и за четвертную бы не пошел. Шутка ли, по склизкому берегу да по студеной воде.

Инженер торопливо бумажник вынул, но Вирка ушла из избы. Старухе сунул пятнадцать рублей. Та назад даже подалась. До испуга обрадовалась. Залепетала льстиво и тоненьким голосом:

— Уж мы вам вдругорядь когда расстараемся. Заслужим уж... Покорно благодарим. Когда надо, только кликните.

Стояла и кланялась. А сердце к сыну тянуло. Уходил бы барин скорей. Сын, посиневший, издроглый, вошел. И сразу на припечку опустился. Долго в нудном кашле корчился. Меж кашлем невнятно выговорил:

— За-адрог. Ви-ирка, отдай барину... Вот пакет, а вот еще... Подмочил немного, в воду осту-упился.

Затомился новым приступом кашля. С натугой мокроту в кулак выбил. Инженер на него не смотрел. Только, когда вошел, худобу и тусклость его с бессознательным успокоеньем отметил. Когда посылал, и не поглядел, что за человек. А сейчас увидел. Мокрый сверток от Виринеи с улыбкой принял:

— Ну ничего. Что ж, трудно по такой дороге сберечь. Тут табак, его просушить можно, а гильзы у меня еще в запасе есть. Ну, письмо тоже разберем. Немного смазалось написанное, но, к счастью, немного. Спасибо, спасибо!

Виринея бровью повела.

— Это за табаком в такую дорогу человека гоняли?

Покачала головой:

— Ну и нетерплячее у господ нутро! Чего захочет, через нельзя достань да подай. А то замается, ровно от заправдишной

нужды. Вот как из-за этого табаку... Деньги-то он заплатил? Кому отдал?

Старуха сердито крикнула:

— Дадены деньги, дадены. Вот у меня. А ты бы спасибо сказала за господскую за доброту.

— Страсть добер! Васька-то опять пластом лежать будет: застудился.

Инженер рассердился:

— Ну, это уж не моя вина. Всего хорошего. Спасибо.

Быстро из избы вышел. Подумал про Виринею:

«Видавшая виды... Корыстная...»

Но ночью приснилась. Таким жаром проняла, что сон прошел. Вышел на крыльцо и до зари слушал тревожный вешний гул. Был деловит и строг к себе. Гимнастику делал неустанно, жизнь размеренную вел. С женщинами мало возился. По необходимости. В городе связь разумная и чистоплотная была. Здесь, здоровье оберегая, охотливых солдаток опасался. Отпуска ждал. Страстность же делу отдавал. Честолюбие считал возбудителем благородным и хорошо карьеру начал. Только вторая постройка, а он начальник дистанции. Теперь скоро достроят эту дорогу. Война отняла рабочие руки и средства. Но теперь уж к концу. Но торопиться теперь в город нечего. Срочная постройка освобождает от войны. Любовное безрассудство за нечистоплотную распущенность почитал. И раньше случались внезапные вспышки при виде женщин желанного облика. Но глушил их быстро. Не было нынешней хватки тоски. В эту уже тридцать первую весну свою, еще до встречи с Виринеей, мечту о женщине своей и неиспытанно желанной узнал. Последнее письмо к той, что в большом городе, даже необычно чувствительным вышло. Одиночество и обстановка действовали.

В охвате впервые тревожимых взрывами холмов лежала незаезженная, мощно плодородная степь. Изначально полным томленьем дышала веснами ожидавшая зачатья земля. И скот и люди — все живое жило здесь в мудрой верности исконному закону бытия: родиться и жить, чтобы родить. Дать плод земле и роду своему. Оттого в молодом и здоровом не по хилому неизбежному блуду городскому затомилась кровь. Встревожилась властным желаньем целостной, в одно соединившей душу и тело страсти. Той, что творит жизнь. Чутьем, от зверя в человеке сохраненным, учуял томленье по такой страсти и у Виринеи. Хоть не думал об этом словами и не знал, что чует. Просто: скорей надо видеть ее, надо дышать близко около нее. Сорвался с крыльца и пошел. Долго кружил около избы Виринеиной. Был уже поздний предрассветный час. И даже парнишки молодые, рано в войну гулять начавшие, ушли с улицы, скрылись. Только лай собачий тревожил глухой этот час. Белесый, холодный рассвет будничной трезвостью хмелевое ночное прогнал. Быстро к себе в дом возвращался. А ночью немного опоздал. Увидал бы у плетня Виринею. Она с вечера медлительно укладывалась. Долго поправляла изголовье, вставала, всматривалась

в окна, темнотой весенней ночи завешенные, по избе ходила, точно металась.

Старуха на печке злобно охнула. Глухо заворчала:

— Чего ты по избе крутишься? На грешную душу и сну нет! Васькин сон тревожишь. Отмахай-ка, поди, по вешним-то по логам. Да и об моих об старых костях другая бы совестливая подумала. Покою хочут! А тут только глаз заведу, стук-стук, хлоп-хлоп! Уже как уродилась шалая, дак во всем не по-людски. Аль на гулянку, на улицу, тянешься? Ну и уходи. Известно: венцом не покрытая, всем охочим молодцам открытая.

Виринея негромко ответила:

— Не буркоти, баушка! Проберешь до нутра, не возрадуешься. Не то на гулянку — совсем убегу.

— Ах, застращала! Ровно сватами выхоженная, сношенька желанная. Сама, чисто сучка, под ворота подбегала. Сперва, может, по другим подворотням натрепалась...

Виринея смолчала. Тишком затаилась на кровати. Но старуха думами распалилась. Кержачка эта непутевая в дом ни богатства, ни почета не принесла. Один грех и обиды. Антип и посейчас не забыл, как ему ворота дегтем за племянницу вымазали. Вредил Ваське и заработок от него отшибал. Васька и столяр, и маляр, и печник, да незадачливый. Один сын из всех роженых у бога отмолен. Троих чуть не в одночасье горловой болью себе убил. Четвертого свинье дозволил слопать, когда мать на жаркой работе замедлила. А вот этого от цепучей от смерти отходила, от боговой от лютости отвела. Оттого в сердце материном, как веред, живет. Никому, и себе самой, не дозволяла тронуть небрежно. Что крестьянством своим природным не занялся, в город, как вырос, ушел, — простила ему без жалобы. Что в городе, кроме щиблет городских, жилетки да цепочки от часов позолоченной, ничего не нажил, — не похаяла. Одна в хлипкой избенке бедовала до первого его прихода из города. Радостью, что жив моленый, хоженый, глаза свои завесила. Не корила его хилым обличьем. На слабосильный заработок не пеняла. Об его куске сама в повитухах, да для покойников чужих умелым провожаньем, да заговором зубной боли старалась. Жили, пропитанье находили. И слава богу, господи, владыко милостивый! А вот Вирка к парню припаялась, не стало часу для сердца легкого. В грех незамолимый Вирка старуху ввела. Сразу-то не сказала, что без божьего закону три года с Васильем путаются. Иконой, как честную, венцом покрытую, на радости от прихода сына благословила. Теперь обида сердце свербит. Кума по всей деревне рассказала:

— Мокеиха-то, повитуха, сынову... иконой сустрела. Смеху-то над ей! Не откстить теперь!

Да уж в такой срамоте хоть бы тихая, покорливая была, а то никак никому не сдаст. Ваську-то она извела. От эдакой от лихости двужильный изведется. И бога гневит, на иху семью гнев его притягивает. Лба сроду не перекрестит. Старуха уж пеняла и стращала. А она с усмешкой, будто про веселое дело:

— У вас бог православный, креста моего староверского не примет.

Прислушалась к трудному и во сне дыханию сына, представила себе рядом лежащую здоровую Виринею — ненависть варом сердце обдала. Неправильная баба! Сразу видно, что гулена. Здорова, а спокойной полноты бабьей, расплывчатой нет. На безмужнюю похожа подтянутым телом и несмякшим лицом.

Завозилась сильней старуха. Скрипучим от злобы голосом снова завела:

— Поганому-то брюху и плода бог не дает. Четвертый год с Васькой... Допрежь с кем сколь, не знаю, а с этим четвертый год, и дите не родила, и посейчас порожняя.

Виринея прыжком с кровати. Васька завозился, застонал:

— Куда ты, Вирка? Что тебя спокой не берет! Спи!

В кашле скрючился. А она неожиданно звонко для обычно затаенного некрикливого голоса своего вскрикнула:

— Помолчи, старая! Уж лучше не носить детей, чем такого, как твой, выродить! Тошно мне маяться с Васькой-то твоим! Дым из роту из его нюхать смрадный, да как руками склизкими ночью лапает — терпеть... Днем вспомню, кусок глотать неохота.

Васька кашлем будто подавился. Простонал:

— Ви-ирка!

И смолк. Виринея с большой тоской и страстью, быстро нанизывая слова, говорила:

— Ты, баушка, несладкое бабье-то пойло уж дохлебываешь. Знаешь: короче куриного носа счет бабьим радостям. А я вот молодая, а тоже это узнала. С того и не на всякую обиду твою отвечаю. Жалею. А ты меня не пожалела, проняла! Дак я тебе скажу: а ты за какой грех эдакого гнилого родила? Я для глазу сладкая и телом крепкая, а четвертый год хожу пустая, чисто порченая! Другие-то и дурные есть, и ледащие, а отросток от тела от своего дают! А я с опостылым маюсь не для веселья, а для роду веточки! Доктор в городу сказывал: и чахоточные родют детей. Про Ваську же так: не то чахоточный, а и по мужичьему делу схилел. Не будет уж, говорит, у вас с им роду. У меня, бабка, сердце на слезу не охотное, а тут я заплакала. Что ж то, что в нужде, что ж то, что по счету кусок? Я бы на дите добыла! Жилы вытянула бы, а добыла бы. Другие бабы в городу на пустое брюхо с завидкой, а я, как мужичка коренная, знаю: и собака щенка с радостью лижет, обихаживает. А я одним-одна. Кручу-верчу, спину гну для гнилого, для немилого надсаживаюсь. Чем взял? Ну, чем похвастаешь в сыне-то в твоем? На работу, что ль, удал? Э-э! Так дышит, для копоти!

Оборвала, словно словами задохнулась. Васька захрипел:

— Будет, будет... Скажи тишком. Сколько раз попреки твои слушал, еще послушаю... Не береди Виркино сердце. Она и то с тобой покорная. И сейчас не со зла она... Вирка-а, ложись! Спи! Не со мной, ну, на лавку ляг! Все переговорено, перетерпи!

Кроткий, молящий голос Васькин хуже ножа острого для ма-

тери. Он еще перед эдакой перед охальницей пригибается! В смешной и жалкой торопливости с печки полезла. Слезая, кричала:

— Сама... Сама ведь к Ваське ночью прибегла! А кто велел тебе? Прибегла, змеей вползла, а теперь мужика порочишь! Чего же глядела раньше, беспутная? Да я тебе глаза твои бесстыжие выцарапаю, коль ты слово такое еще скажешь! Вре-ешь! Вре-ешь! За беспутство твое, за грех за твой бог дитю в утробе быть не дозволяет.

Подступила старая, в беспомощном гневе трясла головой с седыми, жидкими, растрепавшимися без повойника волосами, вытягивала руки с костлявыми пальцами. Лица старухиного Виринея не видела, но руку ее поймала. Негрубо в сторону отвела, хотела даже тихим словом успокоить. Но Васька с кровати заругался на старуху:

— Зачем ты в наше дело путаешься? Чего тебе надо? Отжила свое и спи на печке! Чего промеж мужа с женой вредишь?.. Уходи сейчас! Не смей до бабы до моей касаться! Пальцем тронуть Вирку не дозволю!

Со злостью, вновь вскипевшей, Вирка крикнула сильно и зло:

— Молчи, гнилой!.. «Пальцем тронуть не дозволю!» Самого-то пальцем покрепче двинь, дак и дух вон! Опостылел ты мне. Будет! Кончилось терпенье мое. Как сама, по своей по воле, прибегла, дак крепко слово свое блюла: три года не уходила. Тоже... с заступкой со своей. Лежи и дохни! Никому не нужен. Даже на цареву войну и то не годен!

— Виринея!

— Што Виринея? Двадцатый год Виринея! Упомнила кличку-то свою. Сама завязалась, поп не крутил, богу не кадил, за меня не вымаливал, штоб по чести с мужиком с одним себя блюла! А я блюла! От пригожих да от здоровых отмахивалась. Все из-за слова из-за крепкого из-за своего! Сама в жены навязалась, с того и жила как жена. Теперь отбатрачила! Будет! Кончилось терпенье мое! Догнивай. А я здоровая — в могилу с собой все одно не утянешь! Не хочу! Пускай мать свое роженое выхаживает. А мне уж больше неохота. Часу веселого нету для молодости для моей. Уйду!

Хлопнула дверью, во двор выбежала. У Васьки сразу силы явились. Быстро за ней.

— Вира... Виринеюшка!

Долго хрипел, упрашивал. Дрожал всем телом согнутым, уж меткой смерти помеченным. Зубами скрипнула, горестно всплеснула руками:

— И чего ты вяжешься? Жаден до живого человека! О смертном часе думать бы, а ты обо мне. Да иди, иди уж в избу, хиляк! Иду и я. Ну-у?!

Вернулась в избу. На лавке у стола было улеглась. Старуха на печи по-детски всхлипывала. Скоро стихла. Может, уснула. Виринея поднялась. Сказала Василию раздельно и строго:

— Не ходи за мной, не убегу. Сердце давит, на дворе постою,

вольным духом подышу, вернусь. Слышишь? А коли за мной выйдешь, убегу со двора. Вот тебе слово мое — убегу! Только ты меня и видал!

Ушла. Васька долго маялся. Вставал, в сени выходил. Дверь тихонько, как по воровскому делу, в чужой будто избе, с опаской открывал. Слушал, притишив дыханье, но во двор выйти не решался. Вирка не по-бабьи на слово крепка. Пригрозила — так сделает. Но горячая знобь связала Васькино тело. Неверными и тягостными стали движенья. Лег на кровать. Натянул со стоном отцов старый тулуп, укрылся им. Задышал трудно и часто. Про явь, про Виринею забыл. В бредовых, мучительно быстросменных виденьях заметался.

Виринея во дворе у плетня стояла. Ветер, веселый и мокрый, с полей налетел. Суматошливый гул помолодевшей в буйстве реки и бурливых вешних вод в степных логах слышней стал. Небо темным-темное, будто от того гула притаилось. Улица тоже темна и тиха. Во дворах глухая возня скота и непонятных ночных странных звуков. Отыграла гармошка хромого Федьки-гармониста. Накричались в песнях девки. Смолк тяжелый, хлюпкий по грязи топот молодых парней, еще на войну не взятых. Отбуянило молодое на улице с вечера. Теперь, в час потайной и сладкий, ласковые пары в темноте тихой запрятались. Празднуют легкий час свой в несворотливых, день на день, как близнец, схожих натугой над землей, над хозяйством приглушенных днях.

А Вирка свой легкий час на обман отдала. Не за семью, не за хмель радостный. Не было той радости с Васькой! Ошибка вышла. Разбередила старуха. Часу больше терпеть неохота! Утром уж прости-прощай, матушка чужая, неласковая, постылый хиляк, изба невеселая. Ночью прибежала, а уйдет открыто. Белым днем. В город надо податься, а то на железную дорогу — на заработки. Отбилась от деревенского, в правильные бабы не попала, — на другое, значит, поворот вышел. Гуленой безгнездовой. Что ж! Хоть на вольной воле! Чернявый этот лапал сегодня глазами. Может, и без гульбы с ним на работу поставит. Ладно, будет. Только бы Васька еще нынче не вязался. А то и до утра не вытерпеть.

Повела строгими бровями, губы твердо сжала — и в избу пошла. Разбила Ваську лихоманка, не учуял, что пришла.

III

Утром Васька с постели не встал. С тусклым лицом и пересмякшими губами пластом лежал. Не то спал, часто открывая глаза, не то так, по-тихому маялся. Может, отходить собрался? Виринея глянула в серое лицо его в липком поту, на руки распластанные. Подумала: «Нет, еще не пришел час. Не томится, не обирается. От скрипоты отдыхает. Вста-анет еще канитель тянуть!»

Избу напоследок прибирать старательно стала. Старуха только

искоса взглядывала. Не ругалась, не разговаривала. Потом над сыном постояла. Охнула тоскливо и крещенской водой его сбрызгивать начала. Выкликала бога и святых глухим шепотом.

— Заступница усердная, матерь божья Казанская! Микола милостивый, угодничек божий! Василий хивейский, ангел-хранитель! Пантелемон-целитель! Господи владыко!..

Не выговаривала, чего ей надо, о чем молит, чем мается. Богу нужны не разговорные слова, а непонятные, строгие. У ней их не было. Знала только каждодневные, к богу недоходчивые. Оттого в бессилье косноязычья своего перекличку скорбную и безнадежную бормотала. А голова смешно тряслась, и спина натруженная совсем колесом от горя сгибалась. Виринея поглядела, передернула губами, как от боли, и сердито сказала:

— Бог, бог... Давно, поди, он сдох. Сколь лет его просишь, корежишься. Отдохнула бы!

И, хлопнув дверью, из избы ушла.

Старуха охнула, пугливо на образ темный глянула. Ноги задрожали, до лавки чуть добралась. Накличет беду, окаянная.

— Господи батюшка, не посчитай то слово! Заступница матушка!

А Виринея, простоволосая, как из избы выбежала, шибко по улице шла. Почти бежала от двора постылого. Лицо было темное, и думы злые в голове ходили. Старуха еще одну обиду распалила. К богу старый и крепкий укор. Отец по богу маялся. По свету ходил, праведной земли искал. Всю силу свою человечью для бога размотал. В переходах, переездах по разным дорогам и по бездорожью места богова искал. Детей под чужую, под жестокую руку отдал. А бог за это ему трудную кончину в гиблом месте, в чужой сибирской стороне послал. Мать скорбью мужниной тоже зашиблась. По родне за детей в тяжелой работе жилилась, а часы на долгую надрывную молитву находила. От тех молитв, от постов, от поклонов до часу стояла. А Вирка зато с той же страстностью, с какой родившие по богу маялись, против бога взлютовала. И у дяди с того, главное, ее жизнь не сдалась. Работу ворочать могла. В теле жила крепкая, только сердце дурное, суматошное. К чужим мыслям неподатлива. Дышала сердито. Ничего кругом не видела. В гневе, в спешке чуть мимо избы Анисьиной не пробежала. Эта веселая солдатка всегда с Виркой ласкова. Может, с того, что и ее другие бабы, степенные, как Вирку, глазами колючими у колодца встречают. И вслед долго глядят, губы поджав. Слух по деревне идет, что спуталась, как мужа в солдаты забрали. А она на те разговоры только смехом озорным отвечает. Веселая да бесстыжая. Но Вирке смех ее частый и легкий по душе. Надоест ведь канючку одну слушать! О ней нынче и вспомнила. Поди, пустит под свою крышу хоть на два дня, а там — видно будет.

В избе Анисья была. Закваску для пьяного квасу ладила. Не по-бабьи, тишком сердитым или с воркотней, возилась. А будто девка, заботой не замаянная. С песней на голос высокий:

Одно-о на прово-оды ска-азала:
И-ых, пра-аводила со двора-а!..

Виринея усмехнулась:

— Ну и баба развеселая! С самого утра с песнями. Дело, видать, у тебя легкое. Здравствуй-ка.

— Здравствуй, бабочка. Вот негаданно припожаловала. Сколь раз звала — не шла. Я уж ждать перестала. Мое дело вольное, солдаткино. Детей накормила, для порядку стукнула и на улицу спровадила. Чего мне песни не играть? За мужа откупное начальство платит, свекра с свекровушкой господь прибрал, чтоб не турчали, сноху молоду не мытарили. На дворе чужак нанятой, сударик пленный, старается. А я вот квасок веселый завариваю. Чего не петь?

Смеялась небольшими блестящими глазами. Румяная, невысокая, крепкая, телом налитая, ловко и весело поворачивалась. Вирка еще усмехнулась. Ясней и шире.

— Я к тебе по нужде. Дозволь у тебя дни два-три пожить. Ушла я от Васьки-то.

— Ну-ну! Не сдюжила? Я и то дивовалась на тебя. Что ж, поживи сколько-нибудь. Отработаешь по двору да по дому. А харчей, поди, на поденной добьешься.

— На железную дорогу, сказывают, баб берут.

— А, ну да. Около постройщиков этих тоже можно... Совсем ушла аль еще раздумаешь?

— Совсем.

Анисья тряхнула головой, пестрым платочком повязанной.

— В нонешни годы развольничались бабы! Вот хоть про себя скажу. И муж желанный у меня, не то чтобы с отвратом я к нему аль об ем не думала. Провожала, горячей слезой плакала, а гляди — гуляю без его. Придет — убьет, может. И за дело, знаю. А все не хочу молодых годков своих терять. Прежни-то бабы, сказывают, по десятку лет без греху мужьев дожидались. А мы на это дело слабые. И про тебя я думала, хоть без венцу, а правильная. Ну-к что ж! Видно, такие шелапутные зародились на нонешний век бабы. Про-оживем, покуль солнышко на нас светит. Ну-к подоткнись да вымой мне вот эти горшки. А я за семенами к мордовке схожу. У ей всхожие, кабы не разобрали.

И ушла из избы.

Но наниматься на постройку Виринея скоро не собралась. В соседней с Анисьей избе хозяйка живот сорвала. Хозяйство самосильное, а работника в дом от греха не брала. Со свекром да с ребятами управлялась. Тяжелую кладь подняла — и замаялась. Свекровь, уже с год ослепшая, на другое же утро к Анисье пришла. Помолилась в угол и сказала:

— Здравствуйте-ка. Здесь, сказывают, кержачиха-то? Васьки Мокеихина полюбовница. Здесь, што ли?

Анисья звонко откликнулась:

— Здесь, здесь, баушка. Ты што, сватать, што ль, за того Ваську ее пришла? Не время, поди: пост великий еще не кон-

чился. Да и для посту он не скусный. Баба-то пробовала, да сбежала.

— А ну тебя, охальница! Нихто за ей свататься теперь не придет. Нетронутых-то девок впрок солим ай за старых вдовцов сбываем — куды ей после ее греху! Вирка-а, подь-ка поближе. Не слыхать што-то ни духу, ни голосу твоего.

— Здесь я, баушка. Зачем тебе?

— Айда к нам, по хозяйству поработай. Шерстью там аль чем заплотим. Баба-то у нас, слыхала?..

Виринея поправила платок на голове и сказала внушительно:

— Што ж, я пойду на какое надо время. Все одно, где прокорм добывать. Только ты меня, баушка, грехом моим с Васькой не замай. А то я и старость твою не уважу, ухватом садану. Надоела мне ваша про меня колгота.

Старуха закивала головой, руками взмахнула:

— Да што ты, што ты... Не хошь, и не скажу. Не дочь мне, не сноха, чего заботиться? Айда! На работу ты здорова. Уж постарайся, пожалуйста. Никем никого и не наймешь тут у нас. А твое дело такое вышло — все одно найматься! Айда!

И Виринея пошла. Целую неделю проработала. И на другую оставили. Хозяйка туго поправлялась, хоть свекровка и к Магаре к камню ходила, помолиться просила. Хоть и Мокеиха, Васькина мать, живот править и заговаривать приходила. За фельдшером в участковую железнодорожную больницу свекор обещал съездить. Да все еще дороги не было.

Четыре раза Васька по темноте молить и просить Виринею вернуться назад приходил. Трудно дышал и неверным шагом ходил, но двигался. Отошел от застуды. Еще не пришел его час. Жарко спорили с Виркой под сараем во дворе. Но уходил один, втянув голову в плечи, как побитый. Когда в четвертый раз пришел, Вирка из избы, от дверей, звонко крикнула:

— Опять притащился, постылый? Потемну, с утайкой, а все люди видят да знают. Постыдился бы цепляться-то за мой подол... Уходи! Нечего нам с тобой говорить. Все размотано, и ниточка оборвалась. Никаким жалостным словом боле не свяжешь!

Но Василий сразу со двора не пошел. Притаился у плетня, сгорбившись, словно еще ссохшись, худой и низенький. Давил свой навязчивый глухой кашель и стоял. Старик амбар запирать вышел. Приметил. Сказал сердито:

— Иди домой! Чего маешься? Коль пришпичило до бабы, законной нет — мало ль баб тебе? Мужиков не хватат. Чего срамишься?

Вирка из сеней услыхала. С поленом выскочила:

— Уходи, а то пришибу! Намозолил ты сердце мое, со сну вскакиваю, как тебя, липкого, вспомню! Пришибу-у, все одно, хучь конец! А то сам плохо дышишь, да и мне не даешь. Ну-у?..

Ушел.

Мокеиха, как пришла хозяйку вызволять, на Вирку сначала даже не взглянула. Будто ее и не было. Хоть она по работе бабьей своей то и дело мимо старухи ходила. Только когда дело

свое справила Мокеиха и уходила, то во дворе Вирку остановила:

— Уйти-то от нас ушла, а дух поганый с подола со своего у нас оставила. Кобели на тот запах ходют.

Вирка передернула губами, пошла от старухи и на ходу кинула:

— Ладаном покури, отшибет. А то и твой-то сын по-кобелячьи за мной все вяжется!

Но Мокеиха сказала внушительно и глухо:

— Постой-ко! Слово сказать надо.

Виринея приостановилась. Через плечо глянув на старуху, спросила:

— Ну? Какое еще слово? Все одно ты меня ничем не проймешь. У меня на тебя даже обиды нет. Больно ты и без меня горько сыном обижена. Чего тебе надо?

Старуха подтянула губы. Сказала сдержанно:

— Чернявый тот анжинер приходил, тебя спрашивал. Сказывал — на стирку, на мытку, што ль. А видать, како место мыть зовет.

— Ну?

— Чего нукать-то? Хочешь, дак иди, мой. Аль уж, может, сладились? За хорошие деньги аль так, задарма, по согласью?

Вирка усмехнулась:

— Не твой расход, не твой доход. Иди, баушка, домой! Не обидишь ты меня, не проймешь. Жалею я тебя. Сын твой больно ненавистен мне стал, а из-за тебя и его вот сейчас пожалела. Мается и тебя мает. Приспокоились бы вы как-нибудь, а я бы, право слово, порадовалась. Прощай, баушка. — И скрылась в сенях.

У старухи сердце от злобы зашлось. Чуть из двора выбралась. Как разговаривает! Чисто путная. А она, старая, перед ней, как девчонка покорливая, стояла, слушала. Господи, за что обида такая в седые остатние годы?

Долго ночью плакала.

IV

Об инженере том напрасно старуха напомнила. Не больно приглянулся, чтобы часто в голову лезть. А все же где-то сзади явных мыслей, тайком, думка о нем спряталась. Может быть, оттого, что никому Вирка, кроме Васьки постылого, на ласковую душу не нужна. Та же Анисья из любопытства с ней хороводится. Разговору много про Вирку было, ну и занятно той проколупать: что за человек. А тот барин с первого взгляду на Вирку с большой лаской, как на желанную. И сейчас вот не забыл. Только и на Ваську тогда позарилась за ласковость... И сердито оборвала мысль: «Ну их всех в болото, лешаков! На работе и не думаешь про мужика. Так проживу. Хватит с меня одного. И от того ни крестом, ни пестом не отобьешься!»

Больная баба отошла. С натугой, а вставать стала. И помаленьку по дому управляться. Хоть ничего жили, по-среднему, куска на Вирку хватило бы, но баба по-крестьянски прижимиста была. Зря кусков не разбрасывала. Как продохнула, к печи доплелась.

— Ну-к, Вирка, отойди, я сама...

Виринея бабу поняла. Сама так же бы хозяйствовала. Приласкала одобрительным взглядом и сказала:

— Вызволилась? Вот и хорошо. Утре, как еще полегчает, дак я на вас и отработала. Уйду.

И на другое утро опять к Анисье ушла. Анисья что-то затуманилась. Побледнела, осунулась, и взгляд невеселый был. Сказала Вирке вечером, как коров доили:

— Что-то у меня на сердце гребтит. Давно писем от мужика нет. Либо шибко раненный, либо помер совсем. А то, може, у немцев мается.

Виринея отозвалась сдержанно:

— А може, прописали про тебя ему?

— Что с астрияком-то с моим путаюсь? Тогда бы еще скорей хучь через родню покор прописал. Нет, чую, плохое с им. Вот который день ем кусок без охоты, и все што-то маятно...

— Анисья, на што он тебе? Надругалась ты над им...

— Что надругалась? Дите, што ль, чужих кровей на его кусок привела? Сроду до этого не доведу. Двоих вытравила и третьего, коль с чижолости сейчас тоскую, изведу. У Мокеихи-то у твоей на это из всех бабок рука легкая. А так что ж? Кровь-то молодая, сам знает. Поди, тоже без бабы не прожил. Еще хворь дурную принесет. Мало ль у нас мужьями порченных? Чего же, дело такое. А и меня убьет коли сгоряча, дак потом пожалеет. На работу я спорая, телом крепкая. Чего надругалась! Ну ты, тпру-у, стой! Чего брыкаешься! Стой, коровушка, стой, матушка...

Подоила, перекрестила корову и сказала:

— К Магаре схожу. Пущай за Силантия моего помолится. А может, подскажет что. Ты подомовничай тут. Молитву, которую солдатам посылают, Магара, сказывают, составил. Шибко солдаты на ее надеются. Хорошо от смертной от пули. Нашински солдаты под рубахой на сердце ту молитву в бою носют. Как у старосты старшого, Митрия-то, убили, Терехин Васька с тела с его ту молитву снял. Прописал Митревым родителям, что себе на охрану листок тот оставил.

Виринея вздохнула:

— Дурной народ — деревенски наши люди. Убили, дак чего же молитва-то не оборонила? Ни к чему она, выходит.

— Ты, Вирка, про богово дело не бреши. Как веру человек сменит, ни к чему становится. Из кержачек перешла, дак и клеплешь на наше православие! Не люблю таких слов. Тебя молиться не заставляю, а ты меня не замай.

— Чего ты ощерилась? Не стращай, я не пужлива. Не люби, а ведь сама говоришь: и с молитвой убили!

— Ну-к што ж! Так бог схотел, закрыл глаза на ту на молитву. Митрию так на роду было написано, а другим помогает. Спиши мне ее, ты хорошо грамотна.

— Не буду!

— А, сволочь ты, безбожница! Ну и наплевать. Без тебя найду, напишут. Домовничай, а то к ночи дело. Я схожу, отнесу чего ни то Магаре и помолиться попрошу.

Большая вера в Магару в жителях укрепилась. Из дальних волостей, когда путь был, к камню его приезжали. Подаянья доброхотные приносили и привозили. Но без корысти Магара перед богом старался. Даянье же у камня оставлял. Подаянья исчезали. Платок один жертвенный на бабе акгыровской, из беженок, видели. Но все же несли и везли. И Анисья полный узелок снеди набрала и ниток шерстяных моток.

— Подомовничаешь, што ль? Астрияк-то мой поздно придет. В барак к своим отпросился. А ребята прибегут, сунь кусок, и пущай спят.

— Да ладно уж. За ругачку твою когда ни то взгрею я тебя. Не люблю этого. Ну, да ты не злая, спущу пока. Иди. Подомовничаю, некуда мне и уходить-то.

В сладостном томленье расправлялась сбросившая снежную глухую покрышку земля. Было легким и в кротких красках сгасало вечернее небо. Будто грустило в беззлобье, безнадежности, что не ему, а земле дан час плодородья, сладость и горечь кратких земных радостей. От этого полегчавшего в кротости неба, от бережного тихого опусканья на землю темноты, от призывного курлыканья летевших отважно далеко журавлей входили в человечьи сердца радость и тоска.

Виринея стояла на огороде. Смотрела на журавлей в вышине, слушала вечернюю негромкую суету дворов, жадно забирала в грудь хмельные запахи земли и ветра. Побледнело лицо, тосковали глаза, а нарушать ту хорошую, легкую тоску и уйти не хотелось. Инженер к изгороди огородной подошел. Сильно вздрогнула, когда негромко окликнул:

— Виринея...

И с промедленьем добавил:

— ...Авимовна...

Все эти недели мыслями о ней маялся. Крепко забрала. Все про нее разузнал. Думал, про дурное в прошлом ее те рассказы отобьют думу о ней. Но только пуще распалился. Сегодня только узнал, где живет теперь она, и сегодня же сами ноги притащили к ней.

Виринея от испуга быстро оправилась:

— Вот напугал, барин! Откуда вывернулся?

С лица же тихость не сошла. Говорила не сердито, устало:

— Вы чего-то меня спрашивали? Старуха сказывала, к им приходили.

— Да я не знал, что вы перебрались от них.

— Ну как, чать, не знать? В деревне про всех все знают, а про меня вы, слыхать, все расспросы расспрашиваете. Может,

только избу не знали, где живу теперь, а про дела про мои с Васильем как, чать, не знать! Зря только старуху расспрашивать пошли.

— Да я, честное слово, Виринея Авимовна...

— Что это вы важевато как со мной? Батюшкины кержацкие кости величаньем тревожите. Мне чудно и ровно совестно. Мы народ к тому привычный, что старух только величают.

— Мне очень хотелось еще увидеть вас, Виринея, Вира... Знаете, так бывает: увидишь в первый раз человека, а кажется, что давно знал его — влечет к нему. Тогда вы сердито со мной разговаривали. И мало...

Тянул медлительные слова. Думал: «Не так... не так надо с ней говорить».

В этот час, кротостью вечерней напоенный, и у него не стало жадной хватки бурного желанья. Только и надо: вот так стоять поодаль от нее, смотреть усмиренными глазами и ощущать: удивительная, дорогая.

Виринея встретилась с ним глазами и чуть порозовела. Сказала негромко:

— Нехорошо, что вы тут стоите. И то про меня много болтают.

Он встревожился:

— Но почему же? Разве нельзя поговорить? Ну, просто так, по-человечески поговорить? Не уходите, пожалуйста! Ну, давайте вон туда, подальше, за село пройдем.

Виринея засмеялась тихим, грудным смехом. Покачала головой:

— Еще лучше удумал! Да я ничего, стойте, разговаривайте. Меня сплетками своими до сердца не проберут. Привыкла я. За красоту за мою бабы меня не любят. Чисто мне кажный мужик нужен, а им всех до единого жалко уступать.

Спокойно и просто о красоте своей. Не чванливо, не кокетливо, а правдиво. Умилился влюбленно: «Милая». Она, глядя мимо его лица тихими сегодня глазами, говорила:

— Вот и в городу: и стряпать по-господски выучилась, и стирать, и гладить как надо господское белье, а подолгу на местах не жила. Не с того, что без паспорту. Это для их выгодней, дешевле. А все из-за завидки бабьей. Поглядят барыни, как ихние мужья аль там кавалеры около меня, вот как вы теперь, вьются — сичас фыркать зачнут. Ну а у меня сердце на фырчок нетерплячее, сама отфыркаюсь. Вот и с места долой. Одна вот чудная больно... — Виринея фыркнула: — ...так из себя, хоуть господа, а с деньгами не густо. По дешевой образованной должности с мужем жили. Все листы каки-то писали и в эту, как ее?.. Тьфу, уж забыла городские слова... в редакцию каку-то ходили. Книжки мне еще давали читать. Там, дескать, у их в этой редакции составляли. Скучные книжки, про бедный народ... Я брать — брала, а мало их читала. Ну, дак они со мной так: все одно, дескать, люди, что

господа, что мужики. Великатно, старательно. Маленько муторно с ими было — больно великатные. А ничего: пища — что сами едят, и без ругачки. Только гляжу, барин чаще ко мне на кухню, как барыня из дому. То да се, а сам мнется, вот как вы. Ну, думаю, как бы барыня не осерчала. Да и при Ваське тогда заходил. Васька сумлевался. А барыня — такая: по-городскому ничего, стеклышки эдак на носу на шнурочке, кудерочки реденьки. Ну а по-нашему: сохлая да канючая. И барин с ей ласков, а, видно, посдобней, повеселей чего захотел. Ну, и она приметила. Не осерчала, виду не дала. А только раз пришла ко мне и говорит: «Виринея, давайте обсудим». Ну, разное там говорила. Мещанки, говорит, которые за мужей держутся, а я нет. Если, мол, тебе нужен — бери. Я, дескать, сама уйду. Я говорю: он мне не нужен, а коли сумлеваетесь — рассчитайте. У меня, мол, свой, хоть плохой, да свой есть. Да и у тебя-то, мол, мужик не лучше. С Васькой парный, только что образованный. А она: нет, говорит, зачем расчет, давайте обсудим. И вот эдак раз двадцать все: обсудим. Ну, лучше бы она меня била, чем сусолить эдак! Плюнула я да тишком рано утром от их ушла. Вот эдакая завидка потяжельше фырчанья!

Оба весело засмеялись. Виринея со смехом закончила:

— Она меня, эта «обсудим»-то, и проняла. Затосковала я по деревне. Проще у нас. Двинут, дак без разговоров двинут. Айда, говорю, Василий, к своим подаваться. Уж терпеть, дак от своих. Вот когда обидно на баб нашинских станет, вспомню про тех образованных, обида-то и отмякнет. Эти злы, да без подвоху. А те прямо не покорят, а жалостными словами зашпыняют.

— А не скучно вам здесь? Все-таки вы уж привыкли к городу...

— Ничего я не привыкла. Легкому сердцу везде сладко, а коли в ем горько, дак где ни жить — все одно тошно. Да нам за работой скучать некогда. В девках я книжки читала, а теперь и к им охоты нет. Вот так постою, погляжу да спать пойду. И в праздники больше сплю.

— Книжки я вам могу прислать, если хотите, у меня интересные есть... И романы и повести.

— Вот я раньше до романов охотница была. От дяди таилась, а много перечитала. И работу какую ворочала, а читать находила часочки. В летни праздники в степи пряталась.

— Я пришлю... Я вам завтра же принесу.

Виринея с усмешкой махнула рукой:

— Не надо. Я в их теперь и глядеть не хочу. Читала, читала, да вот с чахотным спуталась. Чего смеетесь? Правда, так. В книжках все такие обходительные. Про любовь там всякое. Ну а наши, деревенские, эдак не займаются. С девками словами не канителят, а с бабой своей дак и вовсе разговоров не разговаривают. Корове когда скажут: «Краснушка, Краснушенька», — аль лошадь с добавкой слова ласкового назовут, а жену — нет. Для работы взята, для роду, а не для ласковости. И на работе скотину жалеют, а бабу нет. И все одно,

в богатстве ли, в бедности — везде к нашим бабам так-то. Еще бедный-то лучше, из-за хозяйства не ярится. Ну, вот я в книжках одно начитала, а нагляжусь на другое. И неохота мне ни с кем нашинским. На улицу тайком часто бегала, охотливая в девках до веселья была, а от себя всех отваживала. Не милы. На тех, в книжках, непохожи. А этот вот, Васька-то, и в обряде городской, и с манером с городским. По-тихому, со словами ласковыми обошел меня. И из себя чисто не деревенский, худенький да ужимчивый. Вот и припаялась.

— А сейчас вы его не любите?

Виринея встрепенулась. Взглянула в инженеровы ласковые глаза и вдруг сухо оборвала:

— Разболталась я... Молчу много, а вот как накатит — и заговорюсь. Вы чего шли ко мне-то, с каким делом?

Затаился взгляд. И губы твердо сжала. Спугнул инженер легкий разговор. Сам избить себя готов был, но как поправить, как разговор затянуть, не знал.

— Я, видите ли... Не знаете ли вы, кого мне здесь попросить стирку белья моего на себя взять?

— А што же, я постираю. Я по-городскому могу. Только я задешево не возьмусь.

И опять деловито плату указала. Очень дорого по местным ценам. Но он уж не злился. Только жалел, что та, милая, с неуклюжей, но задушевной речью, спряталась. Другая Виринея точно. Расчетливая деревенская баба. Нелепым для произносимых слов печальным голосом сказал:

— Ну что ж, я согласен. Когда можно белье прислать?

— Куды прислать? У вас, поди, кухня есть. Да не то кухня, баня в этом двору есть. Я ведь знаю Силантьев дом. Вот в бане и перестираю. В чистой понедельник на страшной утречком приду. На этой у Аниськи отработаю. Мыло и подсинька-то у вас есть, ай купить?

Радостным стуком кровь в сердце, в висках: согласилась прийти к нему в дом. Сама предложила, сама захотела. В уединенной бане, за двором, целый день одна будет. Возможно, что и для нее стирка — предлог. Тянет к нему, только не хочет сказать открыто. Не разбирал от волненья, что она говорит, отвечал торопливо, не вслушавшись:

— Да, да... Вот возьмите, пожалуйста... Хватит ли, нет?

Видела, что лишку дает, но сказала спокойно:

— Пожалуй, что и хватит.

Взяла деньги, пошла с огорода. Не оглянулась.

V

Бог все разговорчивей с Магарой. Народу от того разговора предсказанье. От молитвы — помощь. И в моленье своем хорошо было утвердился Магара. Сердце отмякло, дых легче стал.

Но по весне опять отяжелело в груди. Руки по земному мужичьему делу затосковали. Перешибали молитву думы о паш-

не, о скоте, о зятевом хозяйствованье. Одну ночь, сколько ни старался, никак молитва не шла. Тоска такая накатила, что в голове мутно. И к утру, стоя на коленях на камне, запросил Магара:

— Ослобони, господи, меня от земного дела! Навовсе ослобони! Лучше я в раю с угодниками твоими стараться буду. Ослобони от крови чижолой, от жилы человечьей, от костяку твердого! Сведи на меня смертный час! Оттоль народу способье подам, а на земле здеся не вычтою. Хо-осподи!

Последнее слово с криком хриплым из груди вышло. И будто на крик тот в мутном мареве рассветом появился от камня поодаль святой старичок. Тот, что в самый первый раз будить Магару приходил. Каким именем его окликнуть — все еще не знал Магара. Не видал с того разу. Застыл в ожиданье. А старичок не прежним зычным голосом, а в ласковости тихой заговорил. С ветерком вместе, с паром от вешней земли слова налетели:

— Помрешь скоро, раб божий Савелий. Жди часа смертного.

К похолодавшему в ночи камню в радости, до боли сердце стиснувшей, припал лицом Магара. А когда опамятовался, голову поднял, уж не увидел старичка. Взмолился:

— Милостивец! Как по имени, по чину перед богом звать тебя? Ну-к, покажи еще лик немудрый свой. Страдатель божий. Сколь скоро, в какой день, в час вынет душу бог из мене?

Лика больше не видал и ответа не слыхал. Но к смерти стал готовиться. В тот же день неожиданно в дом свой пришел. Старуха с дочерью в избе убиралась. Вытерла фартуком мокрые руки, глянула на мужа. Обветренный, лохматый и грязный. Непохож на угодников, какие на иконах. Сказала робко:

— Може, в баньке попариться, тело занудилось? Истопим, а?

Но Магара головой, как от мухи, отмахнулся:

— Смертну обряду мою, каку заготовила, достань из сундука! На дворе повесь.

И ушел. Слова больше не добавил. Старуха горестно вздохнула и заплакала. Вся округа в святость Магары уверовала. А она говорить о том боялась, но в себе думала: не от святости это в нем, а от хвори какой-то. Уж своего мужика-то знала, — какая в нем святость? Так, мается без ума, без разума. Но не сердилась, а шибко жалела. От той жалости быстро стареть начала. Ссутулилась, глаза стускли, и на лицо серый пепел лег. Но приказанье мужнино в тот же час исполнила. Когда вешала белые холщовые порты и рубаху, Мокеиха пришла.

— Здравствуй-ко, Григорьевна. Помирать хочет?

— Не знаю, веле-ел.

— Сказывал, Григорьевна, сказывал. Сейчас на нашей улице был. Открыто ему будет, в какой день. Я и пришла, чтоб меня тогда кликнули. Потрудиться охота над молитвенником-то над нашим. Нынче народ распутный стал: мало кому открывается, когда смерть придет. И не от должного часу мрут, а все больше во внезапности. Пущай подоле повисит одежа. Солнышком на-

шинским прогреется, ветерком с земли провеется. На остатней обряде дух земной унесет, пуще об земле стараться перед богом будет. Их-ох-ох. Ну, дак гляди, не медли, кликни тогда. Савелий-то, батюшка, плывет через речку...

— Куда?

— А по обычаю богову все сделать хочет. Не как нынешние вертуны. В церковь, к попу поговеть поплыл.

Обратно приплыл под самое вербное воскресенье. Уж затемно в окно постучал:

— Эй, открой-ко, Михайла!

Зять голос узнал. Подивился:

— Ай к нам перебираешься?

Но Магара, отмолившись в угол, сказал:

— Оповести завтра народ: помирать ложусь. Гроб-то сготовил.

Зять поскреб голову и грудь. Спросил:

— А где помирать-то лягешь? Там, у себя в землянке, ай на камне?

— Тут, в избе. По-хрестьянскому. На этом месте родился, на этом же и помру.

Зять постоял, подумал. Сказал с тягучей позевотой:

— А, ну да, правильну кончину ты себе у бога вымолил. Я маненько еще посплю. А? До утра-то еще долго. Намаялся я нынче.

— Ложись. Я на двор пойду свету дожидаться.

Когда ушел, зять старуху окликнул:

— Не спишь? Слыхала? А в избе не остался, отвык от человечьего духу. Бабу-то мою будить аль нет?

— Не надо. На свету обоих разбужу. Что ж, все под богом ходим. А ему все одно. Который год на земле не работник. Может, и правда, час помирать пришел. Потрудимся, проводим. Ложись, поспи еще час какой.

— Ви-ирка-а! Ви-ир! Куды запропастилась?

— Ну, чего ты базлаешь? Отдохнуть под сараем я хотела.

— Отоспишься еще. Айда скорей Магару глядеть.

— Ну-у? Помирает?

— Да! Ну да! Давно уже зачал. Гляди, не протолкаемся, не увидим.

— А я ведь, Анисья, думала: он врет. Крепкий, мол, не свалишь!

— Ну, айда, айда, не растабарывай. А то народ бегает, а мы мешкаем.

Задыхаясь на бегу, сердилась Анисья:

— И как это я, на каждый слушок вострая, тут не сразу услыхала! Ой, баба, не увидим, а охота поглядеть, как кончится. В праздник и помереть угадал. Людям глядеть послободней.

Стекался народ к избе Магары. Со всей деревни накатной, разноцветной, веселой для глазу волной. На улице около избы,

во дворе и в самой избе стоял несмолкающий гул людских голосов. В избе приглушенный. На улице и на дворе — как веселый жизни молебен.

Солнышко, по-вешнему легкая теплота дня, колыханье ярких женских платков и платьев, пушистая верба-хлест, игривая в молодых руках, будоражили радостью. Оттого часто в толпе прорывались молодой ядреный смех и женский притворно-пугливый вскрик. Заглушали перебранку теснившихся у избы и охотливый старушечий провожальный плач.

Виринея и Анисья, огрызаясь на ходе несердитым бранным словом, смешком коротким и взвизгом на щипки мужиков, протолкались вперед.

Настежь открыты окна избы. Но тяжело и густо пахло ладаном, богородской травой, елеем и дегтем от праздничных сапог. От этого смешанного запаха, от дыма кадильницы в руках старика Егора, от нудного тягучего его голоса, бормотавшего псалмы, труднила дыханье людей духота. На божнице дрожали горестно хлипкие желтенькие огоньки восковых свечей. На скамье под окнами стоял открытый гроб. Старательно обструганные доски еще хранили свежий запах древесный.

На двух сдвинутых вместе скамейках, покрытых чистой холстиной, на подушке из сухой богородской травы, в белых холщовых портах, в поясе с молитовкой, в смертных мягких черных матерчатых туфлях лежал Магара. Большие узловатые руки в старательной тихости держал крестом на груди. Две черные старухи в мерных и низких поклонах качались у ног Магары.

Бубнил Егор:

— Обратись, господи, избави душу мою, спаси мя по милости твоей.

Народ входил, выходил, двигался, сменялся. Живое его движенье тревожило Магару. Он приоткрывал глаза. Вскрикивал глухо:

— Ныне отпущаешь...

Взбадривался Егор и громче вычитывал:

— Суди мя, господи, по правде моей и по непорочности моей во мне.

Магара снова глухим голосом перебивал:

— Пошли, господи, но душу мою!

Но трепетали свечи. Все скучливей и глуше голос Егоров. Затомился Магара под участливыми, равнодушными, печальными, затаенно усмешливыми человеческими живыми глазами. Увидал, что даже семейные его из избы ушли. Только жена, надвинув низко на лицо темный платок, стояла у изголовья. Взмолился страстней и живей:

— Отпусти, господи, вынь дыханье. Помилуй, господи, раба твоего...

Виринея дернула Анисью за платье:

— Пойдем домой. Не скоро, видать, он кончится.

Та повела сердито плечом, но охотно за нею вышла. Когда они вернулись снова к смертному ложу Магары, уже солнце да-

леко от полдня запало. Шестые свечи на божнице догорали. Отдохнувший народ снова в избу набился. А Магара все еще живой лежал. Учуял похолодевшее дыханье дня, задвигал в тревоге головой по подушке. На долгий миг задержал было дыханье в груди, но выдохнул его шумно и закашлял. Черная старуха наклонилась к нему:

— Ты как нудишься-то, батюшка, перед смертью ай нет? Словно как быть не на смерть, а по-живому. Народ затомился ждать. Как у тебя по твоему нутру, скоро аль долго еще?

Магара покосился на старуху. Не ответил, только бровями досадливо шевельнул. Низенький, седобородый Егор прервал свое заунывное чтенье. Повернулся всем корпусом к Магаре, поглядел на него и посоветовал участливо:

— А ты крепше глаза прижмурь. На энтих, на живых-то, не пялься. Думай о своем и дых крепче внутре держи, не пускай. Сожми зубы-те, зубы сожми!!

Безусый, веселоглазый парень в толпе фыркнул. Подмигнул румяной Анисье и сказал:

— Живой-то дух небось не удержишь! Не ротом, так другим местом выдет.

Смех прошелестел в толпе. Мокеиха впереди охнула. Егор поглядел на народ и строго оборвал:

— Кобелей-то энтих повыгонять бы отсудова. Вредный народ, беда-а. Кончиться человеку в старанье перед богом не дадут.

Загнусил живей:

— Окропшими мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся...

Но скоро опять к Магаре повернулся:

— Ну-к, полежи маненько без псалмов, Савелий. Что-то я заморился, разомнусь схожу. Полежишь?

Магара расправил затекшие руки. Пробурчал:

— Иди... Теперь скоро уж, давно маюсь.

Вирка взглядом с тем парнем веселоглазым встретилась. Не сдержала смеха. Сверкнула зубами и зазолотившимися от дерзкого веселья переменчивыми глазами. Крикнула громче, чем сама хотела:

— Дедушка Савелий, а ты бы тоже слез да поразмялся. Спину, чать, отлежал? А?

Заговорили со всех сторон:

— Закрой хайло, шалава!

— Двинь ее покрепше из избы, дядя Яков.

— Что же это такое, господи? Какие бесстрашные!

— А што? Хоть сдуру, а, пожалуй, правду сказала: встал бы, коль смерть не берет.

— Ты прямо, мил человек, скажи: будешь помирать аль отдумал?

— Савелий, а ты помолись пошибче! Заждался народ.

— Рассердись да помри, Магара! Чего ж ты?

Мокеиха зло, не по-старушечьи звонко крикнула:

— Это Вирка народ всколготила. Блудня окаянная! Святой человечий час и тот испакостила! Уберите ее, старики!

Но смех и разговоры все гуще, вольней по рядам. И откликом с улицы мальчишки озабоченный голос:

— Васька-а! Он се не помират! Айда еще в бабки играть!

Старуха Магары от стыда совсем съежилась. Дрожащими руками платок на голове все поправляла, чтоб лицо закрыть.

«Срам... Чистый срам! Сам обмишулился и народ обманул! Чтой-то теперь будет? Что будет, коль не помрет?»

И жалко мужа было, и зло за сердце брало. Тужился в угодники выйти, дак выходил бы в настоящие, а то на смех на один! Заплакала и закрыла фартуком лицо.

Вернувшийся в избу Егор спросил ее облегченно:

— Помер, што ль? А я и не разберу, с чего народ шумит.

Магара приподнялся на скамьях, оглядел всех большими тоскующими глазами и снова медленно опустился и вытянулся. Смех смолк. Люди затаили дыхание. Лица у всех построжали. Долго стояло молчанье в избе. Магара прервал его. Снова хрипло вздохнул. Опять приподнялся, сел на скамьях. Глаза, загоревшиеся огромным напряженьем страсти, жаркие до жути глаза уставил на иконы. Глазами молился и требовал. Опять заговорили сзади. Приглушенный смех снова в уши Магары. Тогда он поднялся во весь свой высокий рост. Передохнул всей грудью и пробормотал невнятно:

— Отказал господь в кончине. Пообещал и не послал...

Забегал его взгляд снова по рядам. Будто мешался, искал снисхожденья или участья. Но всюду встречал смеющийся или злой глаз. Тогда двинул ногой сердито смертное свое ложе и крикнул зло и сильно:

— Чего глаза пялите? Мертвечину нюхать пришли? А? Не помру! Айда, чтоб все вон из избы. Говорят вам... мать, не помру!

Изрыгнул крепко забористую матерщину и посыпал часто крытые похабные слова одно за другим. Глаза покраснели, будто разбухли от гнева. Кулачищами крепкими замахал. Визгнула во дворе напуганная дочь Магары. С воем из избы к ней другая порченая баба кинулась. И с ахами, визгами, криком подались все бабы из избы. За ними мужики с гоготом, с ответными забористыми словами. Старики с укоризненной воркотней, но с веселыми от тайной усмешки глазами. Быстро пустела изба. Обрывисто, будто давясь наплывом злых непристойных слов, ревел Магара:

— К чертовой матери!.. бога!.. богородицу!..

Сдернул со скамей холщовый покров, скомкал яростно, в угол закинул. Сильным рассерженным дыхом потушил лампадку и свечи.

На дворе еще шумел народ.

— Чисто матерится старый хрен.

— Натосковался в молитве по легкому-то слову.

— Господи батюшка! И как теперь отмолит! И чем экий грех перед богом отслужит?

Красный, потный зять Магары, выпучив глаза, во дворе народ упрашивал:

— Разойдитесь, православные! Богом прошу, уходите со двора. Уж такой нам срам! Уж такая обида! Лег бы тишком да попробовал, помрет ай нет. А потом бы народ уж скликал... Уйдите, старики, для-ради Христа. Лучше завтра придите нас срамить. Нынче не в себе он. Вам-то что? Отстрамили да ушли! А нас он вполне обязательно изувечит со стыду.

Молодежь свистела, приплясывала на улице около дома. Надрывалась в выкриках:

— Когда еще позовешь, Магара? А? Когда приходить?.. Кутью сварим, блинов на поминки напеке-ом...

— Только гляди больше не надувай, а то сами тебя за надувательство в гроб укладем!

Как наш Магара, чертов зять,
Собирался помирать,
Да к вечеру отдумал
И начал свою мать
Крепким словом поминать...

Магара стукнул кулаком по подоконнику так, что задребезжали стекла раскрытых рам.

— Убью-у!.. Уходите, сволочи... Ну-у?

Втянул голову в плечи, готовый к яростному прыжку. Взмахнул руками. Выставил в окно иссиня-багровое лицо с налитыми кровью глазами. Толпа от избы шарахнулась...

На улицу, на дворы, на окрестные поля и горы уже легла благостная ароматная темнота. Бабы тревожно выкликали мужей и детей. Со смехом и бранью расходились люди. Магара тяжело сел на скамью меж окон. Уронил взлохмаченную голову на руки и дышал тяжело и трудно.

С тихим медленным скрипом приоткрыла Григорьевна дверь. Старое сердце встревоженным голубем металось в груди. Слово с языка от испуга не шло. Но огромная жалость толкала к мужу. Вошла. Магара медлительно, с большой усталостью сказал:

— Дай мне другу-ую одежу... И... Посто-ой! Вели Дашке самова-ар наставить.

Но чай пить не стал. Выпил жадно три ковша холодной воды. Спросил угрюмо и глухо:

— Где же зятья-то с бабами?

— Один-то уехал, а эти тут, во дворе, в телегах спать полегли. Боятся в избу...

— Ладно, пущай там переспят.

— А ты-то, Савелий, как? — Оробела и чуть слышно закончила: — За село-то к себе не пойдешь?

Не ответил. Сильно и слышно ступая по полу босыми ногами, прошел к старухиной постели. Деревянная кровать скрипнула, как охнула, под большой его тяжестью. Старуха, вздыхая, стала укладываться на скамье под окнами. Но Магара громко и отчетливо позвал:

— Ложись со мной.

И на шестом десятке лет, лютуя в грехе, как лютовал в молодые свои годы, без слов, жестокой звериной лаской всю ночь ласкал и тревожил развяленное старостью женино тело.

А на утренней заре вдруг заплакал без слез и без слов глухим маятным воем.

— Савелий... Савелий!.. Смирись, сжалится господь! От гордыни от твоей шибко уж тебя обида пробирает.

— Молчи!

Сорвался с кровати и встал среди избы — большой, лохматый, нескладный.

— Молчи, баба! Не твоей мозгой понять!.. Молчи. В грехе доживать буду! В блуде, в пакости, в богохульстве!.. Душить, убивать буду! В большом грехе. Не допустил в великой праведности к нему прийти, грешником великим явлюсь! На Страшном суде не убоюсь, корить его буду!..

И бушевал опять до самого солнца восхода. Утром ушел из дома. До пасхи пропадал. На второй день праздника явился пьяный и буйный. С того дня в блуде, пьянстве, в драке первым в округе стал.

VI

Третий год здешнюю степь все меряют. Второй год горы рвут. Землю, песок, дерево, железо возят. Роют, сыплют, насыпают, над дорогой железной колдуют. А езда по той дороге еще через три года не то будет, не то нет.

Постройщики-господа от войны здесь хоронятся. Не торопятся, видать, строить-то. Только и понастроили что инженерам всяким хоромы. Бараки унылые, плохо сколоченные, да землянушки рабочей голытьбе из беженцев понаставили. Писальщикам, считальщикам своим готовые хорошие дома по всем деревням под конторы понакупали. Матвей Фадеев не зря теперь кряхтит:

— Станции да дистанции, а для мужика все одна надуванция!

Спервоначалу он постройкой доволен был. Крестьяне за продукты цену неслыханную брали с постройщиков, хорошо наживались. И не один Матвей тогда радовался. А теперь вот опять не только он, одноруким вернувшийся с войны и оттого нерадостным и на все плохое приметливым, а и другие, старики и молодые пооснователънее, вздыхать начали. Деньгам от инженеров — все постройщики повыше десятников под одним названием «инженеров» в округе ходили, — так деньгам тем, инженерским, не рады. Дурные деньги дуром и идут.

На участках дошлый, приезжий из городов народ чайных понастроил. С граммофонами, с кислушкой пьяной в чайниках, с едой, по-городскому приперченной, в новинку для мужика приманчивой. С той еды с пьяной запивкой на бабу, такую же приперченную, позыв. Шлюхи с разных мест к тем чайным понаехали. Дурная деньга — вот на это и тянет. Мужики, даже из

пожилых, степенных, позашибались. Польстились на образованность городскую. А от шлюх да от господ, дорогу строящих, хворь стыдная приметно по округе распространилась. Бабы в соку затомились в войну без мужьев. Девкам женихов нет. А лета им уж такие, что плоть своего дела требует. Постройщики с усладкой, с подарками, с охальством зазывным городским. И сменила баба не только обряду свою на городскую короткую, облипучую, а и поведение совести своей. Блудлива стала. На грех с мужиками чужими податлива. Инженеры у докторов своих подлечиваются. Деревенским, пока в лежку не лягут, этим заниматься некогда. Не разъездишься в больницу от хозяйства, от земли. Вот и гниют мужичьи костяки. У многих теперь, если посчитать. Солдаты тоже порченые из городу, бывает, приходят. Хиреет народ деревенский и от войны, и от постройки. Еще от блуда и от тревоги. А в других местах мужиков с корнем вытащили. Совсем от дела мужичьего оторвали. Недаром в виденье Магара подводы видал. Чужой народ, белесый, рыхлый, на поворот мешкотный, из дальних губерний сюда перебежал. Хоть и плоховаты перед здешними, а все на своей земле трудились, добывали. Теперь же по углам у здешних мужиков, в бараках да землянках на работе непривычной маются, перебиваются с воды на хлеб. Плохо кормятся от постройки. Война крушит, и постройка вредит. Оттого у деревенского жителя, мужицкую невзгоду понимающего, к постройке, как к войне, одно отношение: скорей бы кончалась. И к инженерам, постройки начальникам, враждебное недоверие.

И Вирку оно от чернявого статного барина отшибало. Чужой и вредный им, мужикам. Здоровым желаньем своим тянул к себе. Тревожлива неродящая баба. И два раза во сне жарко с ним миловалась. По ночам всегда вспоминала, а днем на те мысли ночные тайные гневалась. Противен инженер становился. Оттого, когда вышла за водой и близко к бане во дворе его увидела, сурово сказала ему:

— Ты, барин, не крутись тут. Нехорошо для мужчины, даже совестно. Какое твое дело тут?

Он обшарил загоревшимися глазами открытую в рубахе с рукавами короткими стройную шею редчайшей белизны и такие же белые выше грубых кистей тонкие руки, голые от короткой исподницы худощавые ноги. Сказал приглушенным, но жарким голосом:

— Я этой стирки твоей, как праздника, ждал. Люблю, хочу тебя, Виринея. Слушай...

И, протянув жадные руки, ближе к ней подался. Криком сердитым и резким оттолкнула:

— Ну-у!.. Не лезь!

И близко мимо него к бане прямая и строгая прошла. В дверях сказала:

— Ты меня не замай! Еще к бане подойдешь, кипятком ошпарю. Лежать под собой других ищи, сговорчивых. Мне ты не нужен!

И дверь в предбанник плотно притворила. Когда уходил шаткими, ослабевшими сразу ногами, во дворе двух баб хозяйских встретил. По глазам и поджатым губам узнал, что видели и весь разговор его с Виринеей слышали. Покраснел жгущим щеки румянцем. Сердито рявкнул:

— Где Петр? Лошадь мне надо.

С ночевкой на постройку уехал. Деньги за стирку Виринее через хозяйку квартирную передал.

Но на пасхе, когда кружился во хмелю от кислушки, пьяного квасу и чрезмерной праздничной еды народ, случайно на улице встретил Виринею. Хотел мимо пройти, сама окликнула:

— Что мимо глядишь, не привечаешь? То больно прилапал, а то сразу засох? Айда на разгулку со мной, барин пригожий!

Поглядел и остановился. В светлом ситцевом, по-городскому сшитом платье, веселая и свежая, как березка в троицу. А глаза — будто хмелем затуманены. Лицо зарумянившееся, жаркое, грешное, и голос хмельной.

— Виринея... Вира-а!

— Ну айда, айда на молоду зеленую травушку в степь гулять, на пригорках отдыхать. Шибко желала я седни тебя повстречать, так по желанью моему и выпало!..

Одним прикосновением руки к плечу властно повернула его. Пошли рядом за село. Не смотрела, примечают ли люди. Легко шла, неумолчно, как в опьяненье, говорила:

— Я нынче бесстыжая и разгульная. И не от пьяного питья. Из стаканчика чуть пригубила. А так, от дню веселого, от духу вольного, от зеленой травы. Ходуном во мне жилочки ходют и сердце шибко бьет. Э-эх ты, думаю, все одно сгнивать, пропадать! Хорошие-то годы из бабьего веку своего плохо прожила, а теперь што?

— Виринея... Вирка моя милая! Красавица! Право, ты пьяная. Скажи, где напилась? По гостям, что ль, ходила?

— Ну да пьяная, да не от питья. Я ж тебе сказываю. Зря брехать не люблю, а ты мне не муж, не отец, чего мне тебя стыдиться? Кровь во мне седни пьяная. Нет больше никого желанного, об тебе вспомнила. Третий раз мимо квартеры твоей иду.

— Милая!

Были уже за селом. Апрель дышал зеленой, радостно-молодой травой, пахучим легким ветерком, сладостной прелью ожидающей вспашки земли и юной синевой легкого, недушного неба. Заглянул в золотые, сегодня мутной истомной дымкой затянутые глаза, схватил за плечи, прижал плотно к себе и в долгом неотрывном поцелуе приник к неярким, но жарким губам.

— Подожди, отпусти на передышку. Ой, мутно в голове. Сладко ты целуешься, барин. Как звать-величать тебя, сейчас позабыла. А целоваться с тобой и без имя, без величанья еще охота. Н-н-ну... Пусти еще передохнуть!

— Вира, дорогая ты моя. Какое наслажденье! Ах, какая ты необычайная! Не первую тебя целую, а...

— Сядь, я у тебя на коленях полежу, вздохну. Вот эдак руку-то подвинь. Погоди, не томи, не гладь! Шибко сердцу тесно, дай отдохну. А-ах! Мужики, как мухи, знают, где сладость. Пусти-и!..

— Вира, Вира... Ну, почему? Виринея... одну минуту... Ну-у?.. Зачем ты... Ведь и тебе, тебе я не противен... Ну, дорогая моя, сладкая моя, м-милая...

— Не тревожь, говорю! Осло-бони!.. Все одно... все одно... согласна я. Седни люб ты мне. Не-ет... Вздохнуть дай! Шибко сладко, дыхну-уть невмочь... Выпусти-и, дай вздохнуть. Погоди, не це-елуй!..

И вдруг чужой, третий, враждебный, обидой, болью перехваченный голос:

— Вирка-а! Паскуда!

Сразу расцепились, поднялись, Василий с багровыми пятнами на скулах, в трясучке от боли и гнева, со сбитой набок старенькой фуражкой на голове.

— С барином! Паскуда ты, сквернавка! Средь бела дня, как сука!

— Постой-ка, гнусь дохлая! Не ори! Не жена венчаная тебе, а гулена. Отгуляла — и ушла. Пошто вяжешься? — побледневшая, строгая, в упор на Василия глядя, без испуга спросила.

— Пошел отсюда! Какое ты имеешь право за ней следить? Каждый шаг...

— Помолчи, Иван Павлович!

И улыбнулась бледной короткой улыбкой:

— Видишь, как нужный час пришел, имя твое с величаньем вспомнила... Не кричи, не расходуйся. Иди-ка домой, а я с Васькой сама поговорю.

— Нечего тебе говорить. Убирайся, мерзавец! А то я...

— Сама поговорю. Слышишь? Ты уходи. Я к тебе завтра ввечеру приду, не обману. А сейчас уходи. Надо с Васькой мне самой говорить.

— Не об чем мне с тобой, сука, говорить! Пришибить тебя надо, погань, распутницу!

— Ну, коль сила да охота будет — и пришибешь. Уйди, барин. Гляди, не послушаешь в этом, я совсем по-другому поверну. Как с Васькой.

— Я не могу тебя одну с ним оставить.

— Не можешь? Не хочешь, как я тебя по чести, по делу нужному прошу, так отваливай совсем. Василий, приходи в Анисьин двор. Слово у меня для тебя есть.

— Виринея, но это же не нужно, ты сама не знаешь...

— Уйдешь, барин, или нет?

— Я отойду. У себя тебя подожду, только напрасно ты...

— Уходи! Право, хуже делаешь...

— Иду. Скорее только, прошу тебя. Вон там ждать буду.

Пошел вперед, оглядываясь.

— Иди, иди. Я скоро. Слово надо сказать.

Когда инженер далеко отошел, сказала провожавшему его волчьим, несытым и злым взглядом Ваське:

— Василий, ноги у тебя трясутся, спина гнется, не выстаиваешь, сядь-ко.

Усмиренный ласковостью голоса и жалеющих ее глаз, опустился покорно рядом с ней на траву.

— Васька, жалею я тебя, чисто ты не полюбовник, а сын мой роженый. Вот право слово, шибко жалею! И когда ругаюсь, кричу на тебя, все для того, чтоб полегче тебе от меня отлепиться было.

— Вирка, жалеешь, а зачем ушла? Зачем блудишь с другими?

— Ишь ты как из-за меня маешься! Аж словно дых перехватывает. Зря это, Васька. Ничего мы с тобой теперь не рассудим, не определим. Без твоей, да и без моей воли так сделалось, што в раздельности мы, и никак нам теперь вместе не быть.

— С барами в сладком житье баловаться захотела? А? С того самого...

— Барин — это так... Под час подвернулся. Не серчаю я на тебя, что укорить хочешь. Жа-алею! С горя это ты, а сам знаешь, другого я хотела. Честного житья и деточек от мужа в род, в семью роженных... Сейчас подумаю, сердце зайдется. Ну, не так мне пришлось, дак... Жалею я тебя! По частому делу об тебе думаю. Хучь плохой, да первый ты мой с девичества...

— Жалеешь, а жить со мной не желаешь... Разве так-то, с господами в блуде, лучше? Вирка, чать сама ихнее господское сердце к нам знаешь... И чего ты?

— Помолчи, Василий! Все знаю. Говорю, так, в бабий час, барин подоспел. А тебя жалею, шибко, часто жалею, ну, а к телу подпущать тебя неохота. Не серчай, не вольна я в этом деле.

— Дак чего ты меня мутишь? Чего еще разговоры разговариваешь?

— Васютка, родненький ты мой, незадачливый мой!..

— Ну тебя с присловьем с твоим! Схилел от простуды в грудях, а ты со мной, как с юродивым... Эх, Вирка, недоброе сердце в тебе живет!..

— Нет, доброе, только без обману, без лукавства! Всю думку выдаст. Жалко мне тебя, крепко жалко, а не люб ты мне. Кабы тебя не было, я бы с этим барином еще раньше...

— А сейчас все слажено?

Усмехнулась невесело:

— Нет, опять ты помешал! А сейчас думаю, што и совсем без него можно.

— Вирка, вернись к нам, в нашу избу. Я слова не скажу... Ни словом, ни глазом не попрекну!

— Нет, невмочь мне, Василий. Я к тому говорить тебе стала: понатужься, забудь про бабью плоть, отдохни. Хилой ты, а жадный. Зачем? Отдохни. У меня бы сердце за тебя полегчало.

От бога отшибло меня, а вот про тебя думаю: может, в монахи тебе податься, а?

— Ах ты, стерва, сволочь! Тебе блудить, а меня в молитву толкаешь — сушиться? Я тебе покажу-у!..

— Отдвинь! Убери, говорю, руку-то свою. Меня не осилишь. Видать, нету с пользой слова у человека, когда делом помогчи силов нет. Айда по домам. Не об чем больше говорить. Всяк по-своему, по-старому маяться будем.

Встала и пошла.

Взмолился:

— Вира... Виринеюшка! Одна ты желанная...

— Не канючь! Чего надо тебе — нету у меня для тебя. Жалости моей не принимаешь. Чего же размусоливать?

Пошла к селу быстро и легко. Васька было за ней кинулся, потом обземь ударился, лег в свежую волнующую землю лицом и затих.

Вирка у околицы инженера встретила. Быстро кружил, в жарком нетерпенье вышагивал. Сказала ему сухо:

— Иди домой, Иван Павлович. Неохота мне сейчас с тобой миловаться. С Васькой растревожилась.

И холодными протрезвевшими глазами в лицо его поглядела.

— Вира... Но ты придешь? Ты обещала мне...

— Пообещала в дурной, нерассудливый час. Еще такой накатит — может, и приду. А все-таки не жди. Облюбуй себе другую какую. Не ходи за мной, мне в другой конец.

Дома рвал и метал. Деревенская баба, и так им вертит! Невозможно, противно, унизительно! К черту, к черту ее!

Сел на коня, верхом в участок к образованным своим знакомым поскакал. Но и со свояченицей начальника участка, и с учительницей, молодой горожанкой, не развеселился. Сумрачен был, и сердце томилось нежной, тоскливой любовью к Вирке.

А Васька долго за селом лежал. Темнеть начало. Холодком проняла еще не распаленная, выстывающая к вечеру апрельская земля. Но встать трудно. На теле — как путы. Сердце будто в обруче тесном. Тяжело дышать и немило глядеть на божий свет. Подняться заставил густой хриплый пьяный голос:

— Это што за п-падаль валяется? А?.. Живой? А я думал...

— Это я, дядя Савелий... Отдыхал.

— «Я... я»! Вижу, что ты... Повитухин, что ль, отродыш? Ыгым... узнал. Выродила молодца ведьма ласковая. Ну, что стоишь? Проваливай.

Потом, вспомнив, крикнул отходившему Ваське:

— Кержачку твою с инженером видал... Вздуть за тебя хотел. Не за тебя, а за барина того. Не то вздую — убью-у! Не ее, а барина. Вальяжный больно, а блудник. Мужик с тоски грешит, а эти с сытости. Н-не люблю! Убью-у!..

Васька вернулся, с тоской сказал:

— Дядя Савелий, дядя! Избей, ей-пра, избей когда-нибудь! Грех от них и обида. Большая обида! Я бы сам избил, да хворый я. Силы нет у меня в руках. Эх, что ж ты сегодня не полу-

чил? Средь бела дня прохлаждаются всем людям напоказ. Э-эх!!

— Взгомозился как! Чужой силой отбиваться охочи. Ну и подлец человек пошел! Чего раскорячился? Уходи! Неохота мне тебя бить! Неохота... Тебя ногтем надо давить... Ну? Могу и побить! Убить могу! А, бежишь, испугался!.. Тоже крепко за землю держишься! А я не держусь, она меня держит... Убью. На этого руки зудят!! Энтих бить буду! Не желаю их тут!.. Девок наших портят... Убью!

Василий бежал заплетающимися, слабыми ногами. Одним прыжком мог догнать его Магара. Но громко сплюнул и пошел в другую сторону.

Через неделю ночью возвращался инженер верхом с участка. Было уж близко село, и он ехал шагом. Поводья в руках чуть держал в тоскливой рассеянности. Не хотелось возвращаться в большую, пустую и скучную комнату свою при конторе. С утра сегодня томило его совершенно новое ощущение тоски. Не думал о Виринее, ни о ком, ни о чем определенном. А просто ощущал почти физически груз какой-то на себе. От этого груза нескладная тоска. До жути.

«Заболел я, что ли? Или с ума схожу... А-ах, дышать трудно...»

Объезжал работы. Десятники дивились непривычной его рассеянности и вялому, сгасшему взгляду. Дома один сидеть не мог. В гостях не отпустило томительное ощущенье. Гнал быстро всю дорогу, домой спешил. А подъезжать к селу стал, назад повернуть захотелось. Размяк как-то весь, опустился.

Вдруг лошадь взметнулась на дыбы. Инженер вылетел из седла; на ноги встал быстро и легко. Лошадь неслась в сторону от дороги.

— Стой! Тпру-у!

Хотел кинуться догонять. Но вздрогнул сильно всем телом, сам — и остановился. Огромный лохматоголовый мужик вырос перед ним. Будто внезапно родился из темноты.

— Раскатываешь? Разгуливаешься? Сукин сын, сволочь! Для разгулки здесь поселен? Штобы девок портить, баб хороводить, сюда прислан? А?

Услышав хриплый, страшный, но живой человеческий голос, инженер взбодрился:

— Убери руки, негодяй! Лошадь испугал. Прочь с дороги! Что тебе надо от меня?

И торопливо вынул из кармана черный, короткий, но крепкий револьвер.

— А ну вдарь... Пошибче вдарь! Стреляй! Я те кулаком дам острастку! Учуешь, каково легко убить Савелья Астафьева Магару. Ну?

— Пусти... Пусти-и руку, пьяный черт! Ну-у?

Выстрелил в воздух, но в тот же миг зашатался от удара в

висок тяжелым кулаком. Покачнулся, взмахнул руками, заплясала темнота перед глазами. Но на ногах выстоял. Револьвер из рук выпустил.

— А, мерзавец! Драться вздумал?

Вцепился одной рукой в бороду Магары, рванул с силой, вырвал вторую руку и с яростью стал отбиваться от ударов. Старался дотянуться до земли, чтобы поднять револьвер. Но Магара придавил его и свалил совсем на землю.

— С-сильный... ч-черт! Отъелся на хороших харчах. А вот... вот... Еще получи! Отбиваться? Н-нет... от Магары не больно отобьешься. Что сердце, что рука... н-на! Получи... У меня чижолые! А н-ну... р-раз!

Рукояткой схваченного с невероятной быстротой с земли револьвера Магара ударил с силой в затылок инженера. Тот дернулся в живом последнем вздроге, молниеносно и остро ощутил запах земли и какой-то близкой ароматной травы, без мысли, ощущеньем, ярко увидел или вспомнил что-то, о чем надо крикнуть, что надо выдохнуть. Но не крикнул и не дохнул. Остался лежать на дороге недвижный, невидящий, неживой. Опустошенный мешок человечий.

— А, готов! Убил... Еще убью-у! Не с того, што хилой тот просил... Д-да...

Крепко и крупно шагая от трупа, бормотал глухо невнятные слова. Не то каялся, не то торжествовал и грозил. Но шагах в десяти вдруг остановился, застонал, швырнул с силой в сторону револьвер и бросился бежать. В степь, дальше от села. Бежал быстро, но зорко видя все вокруг и слушая темноту напряженным ухом. Как убегают от неволи или от смерти.

VII

В свой срок залегла зима. Деревня завернулась в снега, в короткие буранные или морозные дни, в долгие ночи с томительным тяжелым сном в закупоренных избах.

Порядок зимней жизни мужичьей был прежний. Только мало свадеб играли.

По ночам, когда на высокой горе за селом, в степи за горой, на реке и в лесах творилось холодное торжество сиянья белых снегов и тишины, деревенская улица по-прежнему нарушала это торжество буйством гармоники, песен, женских криков и вдохновенно-яростной брани. Но совсем мало осталось на улице холостежи. Кружили на ней в невеселом разгуле бородатые семейные люди в годах и прибывшие на побывку солдаты.

Было больше драк, лихого свиста, бабьего визгу, но рано затихала гулянка, и девки возвращались домой нерадостные. Гульба не тревожила спящих в домах. Только в школе на выезде пугливо вскакивала с постели новая учительница, молоденькая горожанка. Осматривала болты ставень, крючок у двери и плакала. Да Мокеиха в своей избе ругалась, вздыхала и молилась. Скорбь и боль отшибали у нее сон. Опять одна зимовала. В острог взяли

Ваську, хоть в день убийства инженера и всю ту ночь разбитый хворью Васька лежал. Оправдаться легко было, но сам Василий в перепуге запутался. На Магару хотел подозренье высказать, а вышло, что сам Васька на убийство Магару подговорил. И чем больше допросов, тем хуже. Совсем запутался. В поклепе на Магару стало начальство сомневаться. Так и умер Васька в остроге завиненным.

Акгыровцы про Магару и верили и не верили. Но никто не хотел, чтоб его поймали. Тогда снова начнется канитель. Акгыровских и так замаяли допросами. Теперь затихло дело. У инженера родных, видно, нет. Никто, кроме начальства, разыскивать убийцу не старается. Как умер Васька, ничего не стало слышно ни про следствие, ни про суд. Только охрану на постройке усилили. Инженеры стали тоже опасаться. Зря в поздний час остерегались раскатывать.

Вирку скоро обелили. Из города прислали как беспаспортную под здешний надзор на родину. А теперь, слышно, и документы есть у нее. Родня, понятно, к себе ее не приняла. Да она и сама не охотилась. На постройке работать стала. Зимой постройка на многих участках остановилась. Но около Акгыровки гору пробивали, туннель проводили. В бараках с беженцами Вирка теперь живет. Шибко гулять начала. Каждый праздник пьяная и буйно веселая. Между бараками за деревней своя улица. На ней пляшет, песни поет и с мужиками разгульными, и с рабочими гуляет. Господ, на диво всем, не допускает к себе, хоть многие из них любопытствовать стали. Сам земский приезжал в кухарки нанимать. Она к нему и разговаривать было не пошла. Силком притащили. Поглядела на него с усмешкой, пригладила растрепавшиеся волосы и сказала:

— Ты — начальник, тебе сила дадена. Только не на меня. На меня, барин ласковый, теперь управы нет никакой, потому что мне уж все не страшно. Не пойду к тебе. Не застращаешь, не желаю.

Это при троих мужиках да при урядника. У земского краска в лицо пятнами кинулась. Сам себя в расстройстве за светлую пуговицу дернул.

— Что за околесицу несешь? Я и не думал грозить или звать насильно. Мне кухарка опытная нужна, вот и указали на тебя. Прошу прекратить глупые эти... возгласы. Не хочешь наниматься, не надо! Я думал, ты нуждаешься в работе.

— Работы на наш горб хватит. Вашему брату из-за работников за столь верст колесить не надо. Под боком найдутся, на слушок сами издаля спину свою притащут. Не ходит ведь хлеб за брюхом, сказывают. А я тебе не на работу, а на усладу...

— Пошла вон, дура! Такая дерзкая, скверная баба! Ты у меня смотри!..

Отозвалась от дверей. Не зло, а так — будто сама с собой говорила в раздумье:

— То-то, говорю, смотреть нечего. Ни тюрьмы, ни сумы, самой смерти теперь не боюсь. А тебя ославлю не по-хорошему. За-

ступников себе, коль захочу, найду. Видно, медовую больно мать меня выродила: и городские начальники липнут. Не топочи, ухожу!..

В большом расстройстве уехал. Думали: конец Вирке. Сошло. Начальник и тот вязаться с ней побоялся. Или забыл. Слышно, докторицу молодую в больнице облюбовал, с ней утешился. А Вирку для услады в прислуги нанимать еще один барин приезжал. Из дальнего участка, над многими инженерами главный. Строгий, с сединкой, господин настоящий, чистей всех здешних господ одетый. Руки держит так, будто замарать о других людей боится, и голову высоко несет. А к Вирке ласково, с усмешкой в усах, подсыпался. Вирка сразу его не отшибла. Спросила:

— А сколь жалованья положишь?

— Я, право, не знаю... Скажите, какую сумму вы считали бы достаточной? Готовить вы умеете и вообще... моим требованиям, кажется, удовлетворяете. Я люблю хороший стол и аккуратную, чистенькую, здоровую прислугу.

— Это уж как есть. Видала господ-то, — чую, что вам надо.

— Ну вот. Очень рад. Я не скуп. Вам согласен платить двадцать рублей ежемесячно. Ну, разумеется, на всем готовом. Только предварительно я вас попрошу сходить к врачу, нет ли у вас чесотки или еще какой инфекции...

— А семейство ваше сколько человек?

— Я один, без семьи на постройке. Вам не будет тяжело.

— Какая уж там тяжесть, одна сладость выходит. А прежней-то своей стряпке сколько платили?

— У меня повар военнопленный. Да вы не беспокойтесь: я говорю, что не скуп. Ему платил десять, а...

— Мне, стало, за бабью мою плоть десятку прибавки. Эх ты, лафа бабам! Ну, я гляжу, у черного народу совесть потвердей господской. Жидка она у господ, са-авсем жидка...

— То есть позвольте... Я не совсем вас понимаю... Как?

— Из ученых ученый, а непонятливый. Семейство у него есть, а бабу-гулену не для блуда, а для святости жить в свой дом зовет! Нашинскому, из черного народа, совесть не дозволит про эдако дело голосом даже таким договариваться. Вот с того и мутит меня от вас. Эх вы, господа! И в пакости — чисто в святости. Это только низкий народ грешит, а вы и в грехе спасаетесь. Я те разумытую харю твою разделаю! Навек отметины останутся! Я те приголублю, старый хрен! Не кричать? Эй, бабы, айдате в эту горницу! Скорее айдате, поглядеть, как господа... Не бежи, растрясешься, навоняешь! Шкодить охота, дак ты так и сказывай, а не сиди с хорошим лицом, чисто хорошей жизни старатель.

Господин после рассказывал, как он от сумасшедшей спасался. С придыханием, сразу теряя важеватую манеру свою:

— Это удивительно! Положительно буйное сумасшествие! И притом эротомания... Удивительно — в простой среде такая изощренная... эротомания.

В деревню Вирка не ходила. И деревенские от нее сторони-

лись. Баба такая, что лучше подальше от нее. Еще в какой-нибудь суд да следствие втянет. При встречах без разговоров и приветствий обходили. Только Анисья одна, бабенка отчаянная, раз из-за нестерпимого любопытства к Вирке в бараки в праздник прибежала.

В недлинные два ряда вытянуты бараки, похожие на кирпичные сараи. Маленькие слепые окна на самой земле. Теперь снегом чуть не наглухо забиты. Отрывать приходится, чтоб не сидеть и днем в темноте. Скаты у крыш крутые и острореберные, как у скворечниц. Рухлядишка домашняя прямо на воле за бараками валяется. Дворов нет. А поодаль недостроенный высокий дом для будущего полустанка.

Пустыми, без окон еще, глазницами своими на норы человечьи пялится, крыльцом без дверей щерится. Около него на бревнах сбились кучкой мужики-беженцы, а поодаль — бабы. На солнце в нынешний теплый день из щелей своих повылезли. Анисью оглядели прищуренными от яркого снега глазами. Между баб живой говорок пробежал:

— Здравствуйте-ко, бабыньки! И где тут Вирка нашинская живет?

Молодая беженка, с головой, как колесо, от чудной нездешней повязки, из платка остренькое лицо выставила и засмеялась:

— За бараками, с той стороны пошукай. Где пляс да гулянка, там и живет.

Но Анисья зоркими глазами уже видала далеко впереди Вирку. У барака стояла. Когда Анисья подошла, не услышала сразу. В сугробы, в степь смотрела. Лицо у ней было суровое. Бороздинка меж бровей резко обозначилась. Будто искала глазами чего-то в сугробах тех. Не нашла и шибко оттого растревожилась. Шубенка на ней была старая и платчишко на голове потертый, замазанный. Анисье неласковым ответила голосом:

— А-а, здравствуй, коль не шутишь. Чего пришла?

— Ишь ты, как заспесивилась! Поглядеть пришла, как живешь в развеселом-то житье. Чего башку воротишь? Я к тебе с хорошим словом, как бывалыча, а ты рыло в сторону. Другие-то бабы плюются, как кто заикнется про тебя, а я...

— А у тебя слюней мало! Жалеешь? Чего ты, Аниська, прибежала ко мне? Поглядеть да потом языком чесать? Ну, гляди. Не впервой видишь. Какая была, такая и осталась.

— Нет, не такая. Поплоше и злее. Зря ты так-то со мной! Видно, девка, не сладко тебе и тут. Чтой-то ты обряду-то себе хоть не справишь? И в бедном житье ране почистей ходила.

— А кому обряда-то моя нужна? Да не больно много капиталу у меня, чтоб наряжаться. На харч достает, и то ладно.

— Вот, Вирка, с богом-то спорить как! Охальничаешь перед ним, не молишься, не каешься, он и забижает тебя. Нету тебе долюшки, так катает тебя по разным местам. Э-эх, горькая твоя жизнь, баба! Право, горькая. Я позавидовать было шла, а теперь гляжу — плохо живешь.

— А ты больно хорошо? Все под богом плохо живут, Анисья. Каждого своя ржа ест. И который говорит, что хорошо живет, только топырится для веселости, об жизни об своей думку подальше загоняет, штоб не точила. Вот как ты.

— Чего это я плохо? Слава богу, в достатке и в своем угле. Без слезы, без хворьбы, знамо, живой не живет. Разве, может, господа, а наш брат не живет. Ну-к што ж? Я хорошо живу.

— И господа на таких же дрожжах, как мы, всходят. От бабьей да от мужичьей плоти. И у них печонка человечья тревожливая. Плачут и хворают. Как не плакать и не хворать? Только продовольствия себе много нахватили, дак в сытом житье живут. Плакать-то плачут, да только от зряшного. Нам бы сейчас на их кус, дак мы бы не плакали.

— А что, Вирка, вот с того я и думаю: будто ты от роду и не дурочка, а по-дурьи все делаешь. Про господ вот... Ведь как сказать, слух у нас в деревне есть, что ты на гульбу охотлива. Дак, по крайности, гуляла бы с умом, достаток бы наживала. Вот и пожила бы в господском житье. Вот из Романовки Мотька-то в город подалась, в хорошем заведении живет, дак у ей платья шелковые, кольцо золотое. Приезжала на роздых, хвасталась. Да и здешние-то, которые около инженеров кормятся, погляди. Што тебе обувка, што одежа — завидки берут глядеть! А ты... Посмотришь, и прямо жалко. Ей-пра, жалко. Все одно, коль на то дело пошла, дак, по крайности, с пользой бы. Господа-то к тебе как льнут.

— А ты што же со своим австрийцем без пользы спишь? Тоже взяла бы да наживала на этом деле.

— Ат сравняла! У меня дом, хозяйство не порушены, а на улке петь — пою и плясать — пляшу, а на гумно лежать с разными не хожу. Астриец што ж! Грех мой один. А так я венчанная мужу жена, детям мать и дому хозяйка. И всяк скажет: пакостлива бабенка, а шлюхой не назовет.

— Зовут. Я слышала, да ты и сама слыхала.

— Дак то со зла когда, а все одно мир меня за мужнину жену почитает, кличет по мужу, и я вровень с другими бабами иду. Не то есть грех, не то нет, — еще бабушка надвое гадала. Никто меня за ноги не держал. А если я тебе сама што болтала, дак, может, так, для веселости задуривала. Поди-ка докажи! А твое дело другое: все напоказ. И с Васькой, и с инженером с этим, и теперь. Не хочешь, да видишь. Одна такая во всей деревне, как бельмо на глазу. А на славу на такую шла, на страм перед людьми, дак уж за чего-нибудь, а не дарма. А деньги, да одежу, да домашность заведешь, дак и при твоей жизни другим глазом мы на тебя глянем. За спиной скажем потаскуха, а в глаза — Авимовна. Нет! Нет, Вирка, зря ты на меня косоротишься. Я тебе для твоего же добра советы даю. Другая так с тобой говорить не будет, а у меня сердце ласковое. Я никому зла не желаю.

— Ну а у меня, Анисья, на эдакую ласку сердце неохотливое.

Не жалей и не советуй. Иди-ка, баба, домой, гуляй себе по-своему, а меня не замай.

— Нет, не будет тебе доли. Ох не будет! Больно уж занозиста. Высоко себя несешь, а все в дерьме хлюпаешься. Стой, стой!.. Еще на словечко одно.

— Еще не все выболтала? Много их у тебя. Такой же дешевый товар, как и ласка твоя. Чего тебе надо?

— Чего ты от господ шибко отбиваешься? Вот я никак не смекну. Желанного одного и середь мужиков у тебя нет. Ай по Ваське мозглявому после время сохнуть зачала, ай тот барин чем шибко изобидел, а?

Вирка скривила губы, глянула в любопытные Анисьины глаза и крикнула злым высоким голосом:

— Уходи, трепалка долгоязыкая! Не тебе на духу буду выкладывать, кого жалею, с чего пропадаю. Ну, повертывайся! И дорогу ко мне забудь. Был час, когда и ты мне мила была, а сейчас никто не мил. Сдохли бы вы всей Акгыровкой, я бы возрадовалась. Черт меня привязал к вам!

Круто повернулась и быстро в барак ушла. Целый день в углу своем на тряпье ничком пролежала. Баба-беженка, по бараку сожительница, долго на нее глядела. Потом спросила удивленно:

— Когда же ты, красавица, напиться-то успела? Я и не видела, а?

Не дождалась ответа, сплюнула и из барака ушла. Все разбрелись, одна Вирка осталась да трое ребят. Назябшись на улице, на печку забрались, там шумели. Когда Вирка поднялась, старшая из троих, восьмилетняя Грунька, спросила:

— Отрезвела, тетенька? Гулять сейчас пойдешь? Мамка сказывала — кузнец около барака вьется, все тебя нюхает. А мне чудно! Чего же это он нюхает? Ходит да нюхает!

И засмеялась звонким детским смехом.

Вирка вздохнула и сказала устало, врастяжку слова:

— Ты не слушай, Грунька, чего большие бабы болтают. Не пересказывай мне. Мала еще, чтоб ихними пакостными словами мараться. Ну-к, подвиньтесь, я с вами на печке посижу погреюсь. Понастроили нашему брату хоромы, со всех щелей дует, а от солнышка в земь запрятали.

Грунька подперла щеку рукой и сказала по-взрослому, по-бабьи подхваченные сегодня на лету слова:

— А на улке-то тепло, солнышко нынче уж на весну, веселое...

И другим, живым, своим голосом спросила:

— А чего ты нынче не гуляешь? Ох, и чудно ты песни прошлый праздник играла. Пья-а-ная!..

Опять хохотом веселым залилась. И оба мальчишки, поменьше, вместе с ней. У Вирки тоска по лицу темным облаком, а глаза большие стали и нежные. Погладила осторожно пегую девчонкину голову. Самый маленький мальчишка в дреме детской, внезапно сморившей, к плечу ее привалился, передохнул и ров-

но задышал. Вирка, боясь шевельнуться, чтоб не стряхнуть доверчиво припавшего к ней ребенка, тихо сказала:

— Грунь, про «Золотую зыбочку» сказку слыхала?

— Ну-к, Вирка, тетенька... Ну-к, скажи.

И мальчишка постарше поближе придвинулся. У Вирки от горькой нежности сердце захолонуло. Ласкала детей несытым любовным взглядом и певучим, хорошим голосом сказку рассказывала:

— ...и скучно ей стало и запечалилась, тишком слезу лила, тишком тую слезу рукавом смахивала, и вот спрашивает ее...

В эту ночь Вирка гулять на улицу совсем не вышла. Трезвая и сумрачная, рано спать легла. Но долго на тряпье своем ворочалась.

VIII

Еще холодом бело и твердо дышали в степи снега. И в деревне, и в бараках за деревней еще глухи были навалы сугробов перед окнами.

Но дольше и горячей солнце в землю вглядывалось. И с теплой стороны ветер жаждущий стал налетать. Пил снега. Еще не опали, но раздрябли они. Веселей засуматошились воробьи. Меньше лежала, нетерпеливо двигалась в стойлах и слышней свой голос давала скотина. Охотней на волю из жилья выходил человек. Глаза человечьи к нему чаще тянулись. В набухшей облачной серости искали легкую синь.

В праздник сретенья тепел и весел день на землю сошел. Даже отдыхать после раннего обеда мало кто залег. Все на улицу выбрались. Но еще до полдня прокатила по Акгыровке пара тощих от частого разгона земских лошадей. Колокольчик прозвякал. Около сборни замолк. Народ на улице затревожился. Староста, кряхтя, с завалинки поднялся.

— Не то начальник, не то из земства рассказчик. Сгонять, поди, опять в сборную народ надо. Эх ты, зачастили, прямо роздыху не дают.

И, сердито стряхнув с тулупа налипший снег, неохотно к сборне пошел. А через малое время мальчишки под окнами забегали. Весело в стекла постукивали и звонко выкликали:

— Дядя Силантий, на сходку-у!..

— Тетка Матрена, посылай мужиков в школу на сход. И сама иди! Баб тоже оповестить наказывали!

— На сход, в школу-у...

— Айдате в школу! Из городу начальник высказывать буде-ет!..

Даже к Мокеихе востроглазый, развеселый в рваной мамкиной кофте заглянул:

— Баушка-а! Не спишь? Айда на сход, я всякую бабу зову. Велели, дак чего не звать! И старух зову-у.

— Напугал, окаянный! Базлает дуром. Нешто опять наехал кто?

— А ну да... Чать, про войну-у высказывать будет. Може, с картинками. Сыпь, баушка, в школу скорей.

— Вот сейчас так и посыпала, дурак ты пучеглазый. Нужны мне твои картинки да пустобрехи городские. Закрой дверь, не выстуживай! Я вот те дам подзатыльника горячего. Нужен ты мне с оповещеньем с твоим.

Но оделась и пошла. И все с ворчаньем, будто нехотя, но в школу шли. Много народу набилось. Дело праздничное, можно поглазеть и послушать. Кержаки пришли. Из бараков гольтепа в школу набилась. Виринея протолкалась молча к окну, в лица встречных не вглядывалась.

Топтались плотной толпой, ругали приезжего из земства, в старостиной избе замешкавшегося. Но ругань вялая выходила, без горячности. Привыкать стали уже к беспокойству наездов господ из города. В начале войны только по волостным селам ездили. А теперь стараются — и в такие деревни, как Акгыровка, наезжали уж не раз.

Только старик Федот настойчивей всех шамкал горькую укоризну:

— Сколь теперь начальников развелось! Беда! И все разного сорту, не подладишь никак. Ране-то знали станового да земского. У них с мужиком разговор хоть крутой, да недолгий. А теперь из этого из земству больно разговорчивый начальник пошел... И на всякое дело особый свой. Агроном там, скажем, скотий дохтур, бабы ездиют, воспу ляпают... А мужик все вози, всех катай, ублажай... Што ни дале, то чудней. К чему делу какой над мужиком поставлен — и не разберешь. Теперь из книжки читать, про войну сказывать — опять отдельные начальники. Не вздохнешь, не охнешь без начальнику. Должно, от войны все образованные начальниками сделались.

И, покачав головой, на батожок свой потверже оперся. В тягучую старческую думу об изжитом, оттого уже больше нетревожливом, погрузился. Старые глаза тихо живут. Притушенные усталостью, новых видений не ищут. Дурное и хорошее, их взгляду видеть в жизни положенное, уж отглядели. В бестрепетной тусклости успокоились. Но сердце до конца, пока совсем не заледенеет в жилах кровь, тревожится. От новых забот и себя, и всех вокруг оберечь хочет. Оттого, когда пришел и стал громко высказывать худощавый приезжий с вихрастым чубочком над озабоченным лбом, Федот ухом слышал его слова, но думал о своем и часто тяжело вздыхал. Проще раньше жизнь в округе шла. Жили здесь от городских людей, от крупных начальников, от царя — далеко. Горами, логами, буерками, речушками без мостов, лесами низкорослыми, но густыми и верстами степными, лукавыми от них отгорожены. Лихую трясучку летних дорог, внезапную ярость буранов на зимняках только становой с земским нечастыми наездами осиливали. Оттого разномастный, разноязыкий народ жил здесь под начальством мелким. Под урядником, старшиной и писарем волостным. Правда, от мелкостей свое оно было старательно лютым. И даже беспечальные баш-

киры твердо запомнили сроки, когда надо в волость «темную» (взятку) везти. Хворая глазами мордва научилась издали писаря узнавать. Длиннобородый важеватый кержак и тот по часу нужному сдавал. Табачное зелье, для староверского нюху неспособное, в своем поселке на въезжей волостному начальству разрешал. Только взглядом, в угол сердито отведенным, отмечал обиду сердца своего. Но без этого нельзя. Начальство над мужиком ставится не для услады, а для надсады. Но та надсада, как старенький разношенный хомут, уже привычной была. А теперь, как царь на войну разохотился, во все стороны рукой достал, мужиков на свое дело собрал, еще невиданная колгота пошла. А для той колготы и начальников много понаставили. Сходами замаяли. Докучают шибче станового. Тот дал в ухо, получил за старанье свое приношенье какое из мужицких запасов и дальше ускакал. Дело свято. В голове позвенит, или зубу недосчитаешься. Что ж! Зато сразу отмаялся. А на этих и расход идет, и еще подолгу гомозят. Вот такие, как сейчас, все ездят, воевать уговаривают. Ишь вон нажаривает: Сербия да Бельгия. Своей докуки не скачаешь, а он про чужую зудит. Слово к слову ладно прикладывает. Ох-ох-ох, господи батюшко! Народу разного много ты, владыко, расплодил, а земли, видно, мало помастрячил. Все дерутся. Друг от дружки, один царь от другого, под свою руку землю отнять норовит. И мор на людей случается. На Федотовой памяти три больших навалки в могилы было, а все земли не хватает. И на войнах мужичья поубивали много. Считать коль только по своей волости, кто убит, кто от раненья преставился, кто без вести, в храбрых не сосчитанный, кончился, — длинно поминанье выйдет. А этот чубастенький разливается, как раз про храбрость русскую солдатью выкладывает. Ох, храбры, храбры, а, поди, храбриться тоже надоело! Смиловался бы царь-батюшко, как ни то подладил бы там за замиренье. Нет, не высказывает, не слыхать про мир!

И как бы в ответ на стариковы думы злой женский голос лектора прервал:

— Это нам уж сколь раз размазывали, про германский-то про плен. И картиночки казали, как он лих. А чего же, как из плену наш народ вызволять — ничем-ничего?

Лектор, перебитый на дрожащей душевной ноте, смолк и растерянно взглянул на толпу. Но быстро оправился и снова задушевным голосом отозвался:

— Позвольте, я сейчас... Кто-то мне вопрос задал? Я сейчас отвечу. Вот видите, братцы, сейчас меня женщина спросила... Спросила с сердечной болью! Женщина, жена и мать, разумеется, несет на себе тяжесть нашей священной войны. Но когда война необходима для защиты...

Слушатели задвигались. Виркин вопрос разбередил. Прошел в школе не то общий сердитый вздох, не то гул от переговоров. Федот ближе к лектору подался. Ласково речь его перебил:

— Бабенка-то энта глупая в час слово-то сказала, ваше благородье! Бывает так. То-то, мол, бывает. Сдуру ляпнет малолеток

али баба, а оно в час и нужным то глупое слово выйдет. К тому я, к тому, не гневайтесь, ваше скородье. Охотятся мужики узнать: про замиренье не слыхать ли чего? Слуху нет ли в городу?

И смятенным разноголосьем надвинулась на лектора толпа:

— Может, раздышку хуть какую объявят?

— У мене старшего, Митьку-то, убили, и сичас опять в письме: Васька шибко подстрелен. Чижало дело-то обертывается.

— Слышь-ка, как называть-то, не знаю, скажи-ко, голубь, игде хлопотать? Способье-то задержали в волости, а мужик-от отшибленный у меня. На войне то есть завалило его! Руками-ногами не владает.

Худая, желтолицая баба с огромным страшным животом на лектора надвинулась. Настойчиво и тоскливо спрашивала:

— Как приходил на побывку, адрест прописал: действующая армия, двести седьмого полку... А Гришка конопатый овтудова сейчас: нет моего-то... Где искать? Во все розыски писала. Игде теперь искать? А?

Загудели тревожным, озабоченным гулом. Уж отдельных вопросов не мог лектор слухом уловить. В беспорядке врывались отрывочные слова:

— ...мир!

— ...нащет способья!

— ...ерманский город, не сказать мне, как его...

— ...посылку в плен надписать...

— ...сухари Ваньке посылали, не получил...

Ни о победах, ни о пораженьях, ни о ходе войны, ни о численности армии, ни о мощи ее не расспрашивали. Говорили о малом. Каждый о своем. Разбивали расспросами армию на Митриев, Иванов, Васильев. А большое целое, как чужое, совсем умом не охватывали. Это дело начальников и царя: война, армия, победы, отступленья. А у них — Ванькина смерть, Петрухины раны и скорей бы конец войне. Это свое, кровное, что отдано ими для войны и счет которому в отдельности ведут они. Лектор растерялся. В городе совсем другое настроенье. Там понимают, что необходимо войну довести до победного конца. А здесь туго галдят: мир, мир, считают изъяны только своей рубахи. Черт понес в это село! Предупреждали, что мордва... и вообще дикари. Вытер платком вспотевшее красное лицо и смущенно начал просить:

— Подождите, братцы... Постойте, я не могу сразу всем ответить. Вся страна стонет под тяжестью войны, но...

Не знал, как закончить сход, как к выходу пробраться.

В самое ухо ему звенящий Анисьин голос:

— Эх, кабы цари один на один дрались! Кто осилит, под того и мы. Нам все одно, мы не супротивимся.

Испугался. Вот до каких заявлений дело дошло. Втяпался в историю. За такой сход по головке не погладят.

— Погодите... Прошу вас! Староста!.. Где староста? Надо успокоить сход!

Но вместо старосты на подмогу рослый плечистый Анисим Кожемятов протолкался. Зыкнул:

— Потише, старики! Чего разбазлались! Диво бы — одни бабы, а то и мужичье без всякого порядку налезает. Дайте господину про дело рассказ кончить.

Привычная сдавать пред властным окриком, сдала и сейчас мужичья толпа.

— Постойте, тише! Не напирайте!

— Чего ты орешь над самым над ухом?

— А ну постой! Тише! Погоди!

— Да я разве что? Спросить у знающего человека хотела...

— Уж извиняйте, ваше благородье, коль что не так. Мы народ темный.

И в сникающем ропоте сгас шум искренних и страстных расспросов и заявлений.

Анисим Кожемятов, поглаживая полу праздничного своего пиджака, наставительно закончил:

— Как посчитать, дак всякому война-то не в сладость. А ничего не поделаешь, надо натужиться да одолеть врага. Нечего надоедать: когда мир да скоро ль отвоюют? Когда будет конец — объявят. Мужик для того и родится, чтоб землю пахать да на войне воевать. Богу надо молиться, на армию жертвовать, а зря галдеть совсем нехорошо.

И, приободренный им, лектор уже в покорной тишине закончил:

— Велики страданья наших солдат, но неустрашим геройский дух армии. И наша победа близка.

Когда распрощался, ушел, народ снова загалдел в школе и около школы на улице. Вирка сердито говорила на ходу беженкам из бараков:

— Намолол за три мельницы, да все не про нашинску нужду. Да еще про наше дело и не спрашивай! Ух, и зло меня забрало. Сгрести бы его тут да намять бока. Пущай хоть не под пулей, а под кулаками бы хуть помаялся. Небось сам в солдатах-то не был, в окопах не лежал.

Короткий мужской смех сзади всех четырех баб разом оглянуться заставил. Светлоусый, с бритым подбородком высокий мужик в солдатской одежде шел и смеялся. Спросил Вирку с незлой насмешкой:

— А ты лежала в окопах? Почем знаешь, может, там сладко лежать-то?

— Для таких, как ты, сладко, коль сам тоже не лежал. Рожа-то гладкая! Видимо, в городу в каких-нибудь сапожных аль в услуженье спасался. Чего-то и харю-то твою противную впервое вижу. Видно, не из нашей деревни. Пошел своей дорогой! Чего в наш разговор влезаешь?

— Уж очень ты спесива да задорлива! Да только без толку. Я на тебя еще в школе глядел, как ты шумела. А чего шуметь зря? Не мозгляк этот говорливый дело делает.

— А не он, дак пущай и не вередит. Чего ездиют, народ тревожат, над мужиком изгиляются? Эх, была бы моя воля...

— Ты бы сама царевать стала. А? Чьего ты роду-то, я тоже что-то не признаю. Эти бабы-то, видать, не нашинские, а ты ровно здешняя, а не припомню тебя.

— Вот привязался, липучий черт! Иди своей дорогой! Да за мной, гляди, не вяжись. Я эдаких вальяжных не люблю. Другие солдаты на войне маются, а вот эдакие на теплых местах спасаются. Тьфу! Ноги бы тебе переломать с разговорщиком с этим вместе.

Солдат засмеялся и в переулок свернул. А Вирка всю дорогу до бараков ругала его и лектора. Беженки, понурясь, необычно молчаливо шли. Их своя забота долила: скоро ли отправка на родину начнется?

Вечером тот солдат к баракам приходил. Вирка с кузнецом акгыровским, плохой славы мужиком, плясала и обнималась. Он поглядел и ушел. А Вирке сразу скучно сделалось. Оттолкнула кузнеца:

— А ну тебя, рыжий черт! Надоел... Одно, лапает! Жена хромая, не совладает с тобой, а следовало бы морду твою пучеглазую хорошенько набить. Чего к другим бабам вяжешься?

Тот еще больше глаза выпучил:

— Да ты же, Вирка, сама с охотой...

— А была охота, да пропала. Много вас, старателей, под легкий-то под подол. Не вяжись больше ко мне, красторожий! Другую игральщицу себе ищи.

Двинула под самые зубы кулаком, из объятий высвободилась и ушла с улицы. А в бараке у них, несмотря на поздний час, Анисья Вирку дожидалась. Глаза у ней были наплаканы, и лицо вытянулось:

— А я было за тобой на улку идти собиралась. Да сердце у меня не хочет сейчас на веселье глядеть, ну, замешкалась, подождала...

Вирка взглянула неприветливо и неласково спросила:

— Чего это ты сегодня расхлюпалась? Аль сударик побил?

— Не говори ты сейчас мне про него, не трави ты моего сердечушка! Ох, Вирка, горе-то у меня какое! Мужик, шибко пораненный, в городу в больнице лежит. За ним приехать наказал.

— В каком городу! Откуда ты узнала?

— А Павел Суслов вернулся нынче, наказ передал. Вместе, говорит, с им в лазарете в Москве их лечили. Павла вылечили, и ничем-ничего не видать, что больно ранетый был, а мой-то Силантий чуть дышит, сказывает. Отпустили домой — все одно помирать! Пашку-то из города довезли, а моего на отдельной на подводе надо. Приезжать мне за им велел. Ох, головушка моя, ох, сердечушко в лютой тоске! Дождалась, домолилась! Може, только глаза закрыть и доведется мне...

Перешибло слова рыданьем. Но Анисья быстро слезы вытерла, заглотнула плач и снова заговорила торопливо и сбивчиво:

— Завтра чуть свет выезжать надо, а на кого спокину избу и хозяйство? Ребятишек-то куды ни то на время порастыкаю! И корова одна хворая, и за шараборой доглядеть надо. К тебе, Вирка, с докукой: айда подомовничай. Работа-то на дороге у тебя, я слыхала, поденная.

— И вовсе никакой нет. Из бараку-то гонют. Теперь на работу мало народу требуется, да и то мужиков, а баб не хотят. Слыхать, не будут нонешний год дорогу-то достраивать. Силов из-за войны не хватает.

— Да то и я слыхала! Так, сразу-то, не сказала, а знала, что тебе податься некуда.

— В чайную на участок прислуживать зовут...

— Ну, уж ты, для-ради Христа мне уважь. Дурная ты, а на хозяйство сметливая. А ведь, как сказать, и в горе, а все одно по хозяйству забота свербит. Подомовничай!

— Мужики охальничать будут. Кабы окна из-за меня тебе не повышибали.

— Да я соседям всем поклонюсь, приглядят. Главное дело — корова хворая, а у тебя к скоту рука способная. Кузнеца-то своего уж как ни то ублажи, расстарайся. Аль кто там еще у тебя? Приластись хорошень, попроси: они заступятся.

Вирка усмехнулась:

— Да ладно уж, не учи! Сама отобью, сумею! Ладно, приду завтре на свету, коль уж дело такое.

— Да ты нынче айда со мной. С тем шла. Айда, ластынька, шибко сердце у меня горе жмет. К Павлухе забегем, еще ладом расспрошу, как к мужику-то в городе доступиться. Айда, собирайся скорей.

— А какие мои сборы? Добро не укладать, сундуков не запирать. Что мое, все на мне. Эй, Ульяна, слышь ты, я на деревню ухожу. Завтра на участок не пойду с тобой.

Шибко шли. Анисья на ходу плакала, слезы вытирала, вздыхала горестно и по хозяйству своему деловито распоряженья Вирке давала.

За два дома от своей избы Анисья в чужой двор свернула.

— Я сейчас у Павла поспрошаю. А ты иди в мою избу. Ребятишки-то одни. Не знай спят, не знай кричат. Астрийца-то ноне я со своего двора прогнала.

Вирка проводила ее взглядом и вспомнила. Так тот солдат Павел Суслов и есть! Мало и давно видала его, вот сразу-то и не припомнила. Царскую службу отбывал, а тут война. Четыре года службы да войны уж три без малого. Семь лет в своей деревне не был. Ну да, он же и есть. Баба у него летом померла. Ребятишки одни, слыхала, в избе отца дожидались. Вон что! Здешний, и с бедного двора, а несет себя высоко как. С неожиданной злостью подумала:

«А от войны, видать, все одно в спокое хоронился. Уж не знай, где это он раненый был. Шибко вальяжный».

IX

Неделя к концу доходила. Анисья из города все не возвращалась. Виринея и во дворе и в избе одна убиралась. К вечеру сильно уставала. Тяжелели ноги, и ныла спина. Но засыпала с горькой усладой: хоть чужим детям матерью эти дни была, хоть в чужом хозяйстве без хозяйки справляла. Первые ночи, правда, парни около двора охальничали. Одно окно камнем разбили. Но на вторую ночь Павел Суслов вступился. Не за Вирку, а за Анисью.

— Мужик на войне маялся, теперь помирает, а вы его хозяйство, сволочи, зорите. На сход вызову, старики в волости вас проучат! Чего? Меня послушают! Ты, конопатый, тут песни орал да с девками занимался, а мы с Силантьем каждый день встречали: не последний ли? Не сметь у двора его похабничать! Надо вам эту бабу — ловите на улице, а тут не страмите. Других солдат подговорю, и без стариков проучат вас за Силантия.

Парни, отругиваясь длинными матерными ругательствами, от избы Анисьиной ушли. Больше по ночам не тревожили. А кузнеца Вирка сама отвадила. Он ночь у избы Анисьиной пошумел, а наутро она в кузницу к нему пришла. При людях не постыдилась, голосом громким и твердым сказала:

— Я, Нефед, гулящая. Каждый хороший человек может меня страмить всяким словом, где ни попадусь. В глаза в мои бесстыжие плевать и смехом похабным бесчестить. Хорошему я всякую обиду спущу, перетерплю, еще поклонюсь да отойду. Только не видать хороших-то! Все больше пакостники, блудники да злыдни. Дак нечего и от меня хорошего ждать. Пока охота была блудить с тобой, блудила. А сейчас на дух не надо тебя. И ты меня не замай! Горло зубами перегрызу, морду ногтями изнахрачу. Смерти не побоюсь, а тебя от себя отважу. Отвяжись лучше добром! С топором сплю, и топор рука подымет, вот тебе слово мое. Я бесстрашная. Пущай все вот тут будут свидетелями. Как пообещалась, так и сделаю.

Глаза у ней стали ярко-золотыми, жаркими. А лицо и губы побелели. Кузнец было радостно ощерился, как ее увидел, а теперь попятился. Сроду слуху не бывало, чтобы баба такие слова при людях мужику без опаски говорила! Чтоб стращала так мужика. В большом и сильном теле у Нефеда пряталась робкая душа. Куражилась только над слабыми, а от грозного напора сжималась. Сплюнул и сказал сумрачно:

— А на кой ты мне нужна!.. Без стыду сама притащилась ко мне среди бела дня. Убирайся, покуда цела!

— Я уберусь, только слово мое помни.

— Уходи, тебе говорят! Лезет сама на всякого мужика! Спьяну, может, и был какой грех с тобой, дак я об этом и думать забыл. Н-ну, проваливай!

Вирка тряхнула головой и ушла. Мужики загалдели:

— Воротить ее, стерву!

— Избить хорошень, чтоб не грозила. Па-аскудница!

— По старому обычаю как с такими ране поступались: избить до остатнего дыханья, заголить подол да на кладбище привязать к кресту. Пускай сдохнет в своей срамоте.

— Ну и выродили себе отродье кержаки со старой-то молитвой!

— Эдакой стервы во всей волости днем с огнем ищи, больше не найдешь.

Но Виркино бесстрашие такое, когда даже цепкости за самую жизнь нет в человеке, невольно смиряло. Обезоруживало мужиков смешанным чувством боязни и восхищенья. Никто догонять ее не пошел. Никто больше в Анисьиной избе ее не потревожил. На улице ночами Вирка больше не показывалась.

С Павлом встретилась на речке. Из проруби воду несла, а он к той проруби шел. Посмотрела равнодушно в его лицо и мимо было прошла.

— Стой-ко, спросить я тебя хочу.

Вирка приостановилась и спросила равнодушно и неспешно:

— Ну? Чего надо?

В эти дни отдыха от тяжелого хмеля, от ругани и шума барака, от радости труда, который считала своим, Вирка о мужиках не думала. И про Павла совсем забыла. Оттого и отозвалась без злобы, без привета и без вызова.

— Анисья приедет, ты как? Опять назад в барак уйдешь?

— В бараке-то место у меня, видишь, не откуплено. Рассчитали с работы. Может, в участок, где господа есть, служить. Может, в город подамся. Запрет-то с меня снят теперь, и документ есть у меня. А тебе что?

— А ко мне не поохотишься жить прийти?

Вирка посмотрела прямо и пристально в его светлые, спокойные глаза.

— Хорошей бабы-то разве не найдешь? Жениться тебе надо. У тебя дети, свое хозяйство.

— Женюсь еще, коль пригляжу для себя. А хозяйство невелико. Лошадь и корова. У людей кормились без меня. За прокорм заплатил, пригнал. Вот и все хозяйство.

— Да и один с девчонкой управишься. Не такой достаток, чтоб работницу кормить.

— Без бабы нельзя. Женюсь, тогда и без работницы обойдусь.

— Девчонка у тебя большенька. Поди, уж двенадцатый год аль боле? С ней управишься. Эдакая уже вполне схозяйствует.

— К тетке в город отправлю ее. Учить хочу. Два парнишки малолетних со мной только останутся.

— Ишь ты, тороватый какой! Денег, видать, много нажил? Девчонку учить! Уж хуть бы мальчишку, а с девчонки какой толк! Учи не учи, все одно под мужа пойдет, не сама голова.

— А уж это я по своему разуму. Как хочу, так и поставлю. Ты про себя говори. Неохота, что ль, ко мне? Так трепаться-то лучше?

Вирка сердито сдвинула брови.

— Не больно зарюсь на нежирный-то твой кусок. Поди-ко, я

баба бывалая. Знаю, что жить в избу к себе не на одну денную работу зовешь. И ночью, чать, ублажать себя заставишь. Ну я и гулять — гуляю, когда захочу, а за кусок аль за подарки — на это дело меня не укупишь. Не пойду. Ищи другую.

Поправила коромысло на плечах и пошла.

— Погоди!

— Ну чего еще?

Павел помедлил, поглядел на нее и сказал просто, хорошим голосом:

— Зря ты, баба, все назло себе делаешь. Где лучше — не надо: я, мол, возьму да в самое худо нырну. Слыхал я все про тебя. Говорить много неохота мне, а вот: ты работящая, не вовсе истаскалась еще. Живи и работай по своему природному делу. Даром кормить не стану, я не купец, не барин. А за работу накормлю. Тем, что и себе поесть добуду. Насчет приставанья, ночного дела, — не зарекаюсь. Я молодой еще, ты молодая, рядом жить будем, как, чать, не распалиться? Но только говорю тебе: не снасильничаю. Не захочешь — не надо. Только уж, это тоже не совру, с другими мужиками, пока в моей избе живешь, тоже чтоб греха не было. Живи тогда сухо, спасайся. Для себя неволить не буду.

— Своя пакость не пахнет, чужая смердит.

— А уж это так. На другое я не согласен. Не стерпишь — уйдешь, не привязанная. А все хоть отдохнешь. И мне без бабы никак нельзя. С детями ты ласковая, я видал. Ты срыву эдак не отказывайся. Подумай нонче, а завтра скажешь.

Вирка мотнула головой. Потом тихо сказала:

— Люди смеяться над тобой будут. Много тут шумели про меня.

— А с того, что сама ты того боле шумишь. Поживешь тишком, да и люди к тебе потише будут. Я вот гляжу да думаю, что и об грехе своем ты больше шумишь, чем грешишь. Много трепалась-то?

— Нет. С беженцем с одним, так на людях только со зла, а к себе не допущала. А с кузнецом вот правда. Только много и охальничала: пьяная с мужиками озоровала. Да ты что меня, чисто поп на исповеди? Тьфу! И я-то расслюнявилась... Убирайся от меня, кобель ласковый! За тем же за делом ко мне, как и все, а с присловьем с каким! Тьфу! Тьфу! Тьфу! Провались, окаянный, хуже всех стервецов ты стервец!

Шибко крутым подъемом от речки шла. Тяжести полных ведер не чуяла. Сердце колотилось в груди, и редкие у Вирки слезы глаза застлали.

И ночью плакала.

Анисья вернулась домой с побледневшим румянцем и непривычно тихая. Лошадь во дворе распрягла сама, покупки в избу внесла. Вирку про хозяйство расспросила. И только тогда села на скамью у стола и подозвала детей. Стала их обнимать, гладить и голосить с положенным причитаньем:

— А и деточки-сиротинушки, да и на кого же спокинул вас

родитель ваш, светик ясный Силантий Пахомович! Ой-й-ой-ошеньки, не ждала, не гадала, отколь и когда напала на сердечушко темна ночь. Голуб белый, желанный, соколик мой, дорогой супруг Силантий Пахомович! Ходят ноженьки мои, глядят глазыньки, а до тебя не дойдут, не увидят тебя боле, не приспокоятся. Ушел от супруги от своей, ушел от родимых малых детушек, ушел — и не будет назад. Залег в сыру землю-матушку, во чужом во далеком месте и на погосте не на нашинском. Накрепко залег, принакрылся землей, призаперся крестом, — не встанет, не взглянет, не покричит боле, не приластится. Отходили его резвы ноженьки, отработали рученьки, отглядели ясны глазыньки. Ой, тошно мне, тошнехонько и не мило глядеть на божий свет. Закрутите и мене в саван смертный белы рученьки, призакройте глаза, положите с им в землю-матушку. Не березынька в поле одинешенька трясется-качается, ветру жалится, а супруга твоя, вдова горькая, оземь бьется бедной своей головушкой, кричит, выкликает тебя, соколика, а твово голоса не дождется, не выпросит. Замолчал навек, успокоился...

Долго голосила. В ярких цветистых словах, в заунывном вое, в обильных слезах растворила скорбь, всю печаль и заботы вдовьей жизни высказала. Бабы в избу набежали. Когда иссякли слезы и слова, Анисья подробно рассказала про смерть Силантьеву, про город, слухи про войну. Потом тесто для поминок ставить стала. Хлопотливо закружилась по избе.

Виринея во дворе поила скот. Подумала о смерти Силантьевой. Вздохнула:

«Каждого ждет час, и никто не знает когда. Может, завтре вот я...»

Вдруг необычайно отчетливо, будто по-новому услышала мычанье коровы, живую возню свиньи рядом в хлевушке, ощутила запах навоза и снега и свое живое, горячее тело. Черным, холодным крылом в мозгу вдруг мысль: как же, как же это? Сразу застынут жилы, остановится кровь и уйдет все живое из глаз? Будет мычать корова, будет ворошиться свинья, в свой час согреет всех солнышко, а она, Вирка, будет лежать в земле...

Сильный страх встряхнул дрожью все тело. Бросила ведро и на свет, во двор быстро выбежала. Дышала так жадно, будто правда от смерти сейчас высвободилась. И до конца дня ощущала ясно и радостно крепкое тело свое. Думала ночью:

«И скот, и люди, и трава — все на земле на смерть родится, ну те хоть думой не маются. А человек обо всем думает, из-за всего старается, чтоб крепко да надолго. И короток живой час у людей, а мы еще сами себя тревожим, неволим, сердечушко свое травим».

Утром рано постучала в окно Павловой избы.

X

Павел вошел в избу как хмельной. На лице улыбка растерянная и глаза как пьяные. Вирка удивилась. Месяц доживала о

бок с ним, ни разу пьяным не видала. И от людей слышала: непьющий.

— Ты что, Павел? Выпил, што ли, у кого?

— Староста из волости вести такие привез, что все мужики, кто слыхал, чисто пьяные. Царя отменили!..

— Отмени-или? А как же? Другой, што ль, какой?

— Вовсе отменили, совсем без царя живем.

Вирка опустилась на скамью:

— Ровно на шутки ты, Павел, не охоч...

— Да никакие не шутки. Пакет староста из волости привез. За учительницей послали, сейчас на сходе вычитывать будет! Никакого нет царя! Один отрекся, другой отказался, а глядеть — посшибали их всех. Завтра в город поеду, все хорошенько разузнаю...

И вдруг добавил, будто невольно в радости открылся:

— Я-то знал... Ждали мы этого. Там, в городе, еще унюхали. Ну, здесь с двоими тишком разговаривали. А слушай, Вирка, мужики-то не испугались. Право, я диву дался! Нисколько не испугались, сдивились только: как же это, царя осилили?

— Да у нас глухо, все одно под кем жить, а по другим деревням, поди, воют и боятся. Ты нашему народу, вот мне хоть, лучше не про царя скажи, а становой как? Останется? Нашинское-то начальство прежнее будет?

— Да и то впереде! Где им теперь стоять! Впереде и стоят.

— Вре-ешь?! Ну, вот это диво! Павел, это как же? Ну-к, где платок-то мой? На сходе-то когда вычитывать станут?

Народу в школу столько набралось, как никогда еще не бывало. Стояли на окнах, в сенях, у школы густой толпой.

Молоденькая белесая учительница слабым и дрожащим от волненья голосом читала:

— «...признали мы за благо отречься от престола государства Российского...»

В толпу доносились неясно только обрывки слов. Мужики задвигались. Один крикнул:

— Не слыхать! Не разбираем ничего. Мущине отдай!

И в толпе подхватили:

— Пускай мущина грамотный какой прочитает!

— Ну, знамо дело! Какой у бабы голос! Только визгать может. А ятно, громко где ей выговорить!

— Да кабы еще деревенская. А у этой «ти-ти»...

— Городской жидкий голосишко!

— Айда, который у нас грамотный?

— Солдатов, солдатов вперед! Где солдаты? Они разберут!..

— Да и то впереде! Где им теперь стоять! Впереде и стоят.

— Пущай Пашка Суслов. Он шибко грамотный.

— Павел! Павел! Игде Суслов-то?

— Айда вычитай. Ну, от этого услышим, глотка широкая.

Павел, приподняв плечи, со строгим лицом, зычно и отчетливо стал читать запоздавшие в Акгыровку манифесты и газе-

ты. Долго читал. Все время напряженная тишина стояла в классе. Плотной молчаливой стеной больше часу стояли мужики и бабы. В такой тишине в церкви никогда не стояли. Расходились тоже необычно тихо, с приглушенным разговором. Только молодой безбровый солдат с девичьим лицом перебегал от одной кучки людей к другой и захлебывающимся голосом говорил:

— Названье «нижний чин» отменяется. Теперь почетное звание — солдат! Нижний чин — нельзя! Какой тебе нижний? А хто верхний? Нету больше нижнего! Эх-х, я в Романовку съездию. Эн-тот, Ковыршина Алексей Петровича сын, в прапорщики вышел, в офицеры. Вместе на побывку в одном вагоне ехали. Я ему говорю: «Степа, дай закурить». А он мне: «Я тебе не Степа, а офицер теперь, а ты — нижний чин, дисциплины не знаешь!..» При всем при вагоне я как скраснел тогда! Нарочно съездию. А ну, скажи, мол, я теперь хто? Нижний чин... твою мать, на-ко, мол, выкуси! Был нижний чин, да весь кончился.

В эту ночь Павел с Виркой долго не спали. У них была общая постель. Тогда, как пришла жить к нему, спросил он ее, как спать укладываться собиралась:

— Ну, как ты? Хозяйствовать только пришла аль совсем, как к своему мужику?

Вирка помедлила ответом. Потом просто и тихо сказала:

— А ничего. Поживем вместе и поспим вместе. Только нехорошо как-то перед Анюткой. Большая уж она.

— Она уж спит.

— Все одно нехорошо. Я вот девчонкой в первый раз как мать с отцом заприметила, с чего-то совестно и туго так дышать мне стало. А я совсем чужая, и слух про меня нехороший. Обидно ей за отца будет. Первые-то обиды живучи. Погоди, приобыкнет малость ко мне.

Но на ласку Виркину Анютка не поддавалась. Враждебными глазами за ней следила. На вопросы Виркины или совсем не отвечала, или бранью отзывалась. Когда увозил ее в город отец, она повернулась на дровнях и посмотрела на провожавшую их Вирку. Таким недетским, ненавидящим взглядом посмотрела, что у Вирки долго сердце щемило. И Анюткину детскую злобу как самое больное, как кару за грех своей жизни в сердце приняла. Пятилетний Семка и трехлеток Панька скоро привыкли цепляться за ее юбку, как раньше за мать цеплялись. Она их холила на диво другим бабам. Анисья при встречах смеялась:

— Мы и то толкуем, чтоб все вдовцы не женились, а гулену неродящую в матери детям наймали. Старательные попадают!

Издевались над Виркой недолго. Словами зря не сорил Павел, но слова знал веские. Оборвал одну, другую бабу — и притихли. У Вирки взгляд спокойней стал. Но как-то точно сблекла она в тихости. Говорила мало и часто подолгу задумывалась. С чего сердце в человеке такое несытое живет? Что ни подай, редкий-редкий раз взрадуется. А то все не то, все недохватка, горчит чем-то радость. Павел спокоен, на работу неленив. Боль-

шой грамотности человек. Оттого хоть беден, а люди не помыкают им. Побаиваются. И Вирку жалеет. В ту первую ночь, как Анютка уехала, с ним спать Вирка легла. Он так ласково с ней обошелся, что Вирка сдивилась. Даже Васька не смог так бережно и как-то чудно с нехорошим по-хорошему подойти. Словами Павел не нежил. Только и сказал тогда с горячим вздохом: «Милка ты моя!» А все же как-то, как с женой, прошеной, моленой, к первому к нему в постель легшей, а не как с гуленой, залапанной. Вирка и обрадовалась, и смутилась как-то. Смущенье радость съело. И с того самого дня — как виноватая, будто чужую обряду надела тайком на себя. Увидят — со стыдом, с поношеньем сдерут. От этого между Павлом и Виркой все будто что-то стоит. Обозлилась раз, взяла напилась, как бывало. Пьяная ночью долго кричала:

— Чего ты себя перед всеми как царь носишь? Думаешь, я не вижу. Думаешь, больно я уж обрадела, что при себе держишь? Противна мне харя твоя зазнаистая, повадка вся твоя тихая. Уйду завтра! Глядеть на тебя не хочу.

Он спокойно расстегнул ремень и погрозил ей:

— Замолчи, а то выдеру как собаку. Глядеть на пьяных баб не могу, блевать охота! Ложись на печку и больше не верещи. Отрезвеешь, тогда поговорим. Может, и сам выгоню.

Голоса не повысил, но сурово и отчетливо сказал. Глаза встретились. Светлые его глаза потемнели. Но не разгорелись жаром, как у Вирки, а будто отвердели, без блеска сделались. И Вирка первая опустила свои. Наутро долго маялась, собиралась уйти, но не ушла. А Павел, как обычно, говорил с ней, о чем дело говорить выходило. И ночью в первый раз на плече у мужика Вирка плакала:

— Я и сама не знаю, как мне с тобой жить... Вот когда так, как сейчас, согласна ноги твои мыть да воду эту пить. А когда тошно мне с тобой, скушно, и убежала бы я от тебя, только бы не видеть.

Он отозвался тихо:

— Не мудри да не дури. Живи и живи. Работу справляй, детей моих обихаживай и об себе старайся. Ну, спать я хочу. Хватит разговаривать-то! Сроду с бабами так не валандался. Спи!

Так и жили. Будто дружно, а не вплотную. Долгих разговоров не разговаривали. А ночью и вовсе. На поцелуи горяч и ласков, а на слова скуп. Но сегодня, лежа рядом, долго проговорили. И Павел больше, чем Вирка. Про город, про царей нехорошее, что узнал в городе, рассказывал. Про всю жизнь. Отчего трудный век человечий для бедного, для низкого на земле и совсем лих. О мужиках говорили. Вирка слушала его слова, как песню на близком, родном, но все же не на своем языке. Звуком, напевом трогает, а слова не все поймешь. Оттого еще слушать и слова понять охота. Но днем опять мало с ней разговаривал. Потом в город поехал и целых две недели проездил. Прохарчился в городе. Пришлось овцу, которую было завели, продать. Вирка сердилась, но ему сказать не посмела. Не жена — на

срок взятая хозяйка! Пусть как хочет. Опять друг от друга будто подальше подались.

XI

До самой весны суматошился по-новому народ. Сходы стали «митингами» называть, а мир «товарищами», а то «граждане». Слова новые по новости звонки выходили, как звякали: инструкции, резолюции. Учредительное собрание. Сперва охотно собирались, с горячности шумели. Потом уставать мужики стали. Выборы да съезды, а земля к посеву готовиться велит. Мало-помалу отставать от сходов начали. Да на деле, кроме выборов на всякие должности, ничего не переменилось. Товары в лавке на участке еще вздорожали. Еще меньше стало в продаже нужного для мужика. Гвоздей во всей округе не достать, и дорога соль. Земля как была, в одних руках густо, в других маловато, а то и совсем пусто, так и осталась, а от колготы на сходах голова трещит. Старик Федот, постукивая батожком, сказал на одном сходе:

— Чего мы каждый праздник, чисто обедню, сходы собираем? И в будни почасту гомозимся на собранья на эти. Телеги ладить надо. Земля-то уж повылезла из-под снегу. У правильного мужика об земле на сердце-то зудит, а мы то да се, да епутатов выбираем. Солдатье в деревню навалило, а про мир не слыхать. Кабы опять не угнали перед самой пахотой. Айда слухайте, старики, мой совет: понавыбирали мы тут всяких комитетов. Пущай этот за старосту-то прежнего Пашка Суслов один на все отписывает. А насчет солдат старается, чтобы опять не забрали. И епутатов всяких на съезды сам назначает из зряшных из каких. Кому об земле да об хозяйстве заботы нет. А дельные-то руками и ногами отбиваются!

И взвалили все на Павла. Целыми днями в школе был. Господ из города еще больше наезжать стало, но сходы собирались жидкие. Только солдаты на короткий час замиренья требовать к разъяснителям из города, которых «ораторами» звать стали, приходили дружно. Но до конца разъяснений не дослушивали. Беженцы в бараках и Нижней Акгыровки беднота без сходу и без уговору каждый праздничный день у кузницы собирались. Галдели долго, бестолково и глухо о земле, о самосильных жителях с большим хозяйством, о том, что в других местах хоть у помещиков землю бедняки отобрали. А тут ничем-ничего! Земского начальника хутор — и тот трогать не велят. Охрану прислали. На Павла Суслова косо глядеть стали, хоть вровень с ними достаток у него. А побогаче люди, кержаки, с почетом, с зазывом к нему заходить начали. Он похудел, потемнел, домой возвращался злым. С Виркой сквозь зубы разговаривал, и к ребятам неласков стал. В одно воскресенье очень рано поднялся, собрал мальчишек и велел на сход скликать:

— Не отставайте до тех пор, пока не пойдут. Павел, мол, нужное дело выскажет.

И когда собралось хоть не полно, а порядочно народу, громким решительным голосом объявил:

— Вот вам, мир честной, товарищи граждане, все бумаги, разъясненья, положенья всякие. Вот и сельский писарь нашинский с ними, как и до революции был и при мне состоял, остается при деле. А меня увольте. Нет моего хотенья на это дело.

И сколько ни галдели, ни просили, твердо на своем выстоял:

— У нас с солдатами другие мысли.

Старый кержак крякнул и громко спросил:

— С ружьем землю отбивать будете?

— А это уж там поглядим, только я всем здешним не коновод. Поближе которые мне, к тем подамся.

Кержак зло отозвался:

— Какая ни есть суматоха, а за порядком следят. У кузни гляди не нагалдите себе чего на шею. Слыхал я. От войны согласники твои здесь хоронятся. Знаю, многим срок отпуску кончился, а которы и совсем без отпуску.

Солдаты загалдели:

— А ты над нами доглядчиком?

— Сам, старый хрыч, подайся на войну, коль охота больно.

— Мы проливали кровь! Хватит с нас!

— Коль навредишь — гляди, мы тоже острастку найдем.

Долго шумели. А потом все солдатье сразу ушло. На место Павла Суслова кержаки своего поставили. Павел со светлым лицом домой вернулся. Ласково Вирку по спине хлопнул:

— Разделался с одним мирским делом — за другое примусь.

Виринея засмеялась:

— Не терпит печонка! Шуметь охота. А я как глупым разумом гляжу, да думаю — какая то свобода? И войну не кончают, и земли не дают, и богатеи пузом нашего брата все зашибают. Уж трясти, дак до корню трясти. А раздельника-то своего, дядю Антипа, встрела, дак не удержала слово: готовься, мол, дядя. Добро забирать к тебе придем. Равнять так равнять.

— Ну? Он чего?

— Выругался нехорошо, а глазами — как волк. А тронуть не посмел. Тут, я гляжу, хоть больно перемены жизни у нас не видать, а все время не то. Ране бы сгреб дак, гляди, и душу вытряхнул бы. А теперь шибко от меня подался.

Оба засмеялись. Павел ласково, по-новому как-то Вирке в глаза заглянул. Сказал:

— А ты мне, пожалуй что, не только по хозяйству, а и в других делах хорошей помощницей будешь.

Все чаще наезжали из города учителя, агрономы и даже ученые барыни высказывать про Учредительное собрание и про всякие партии. Книжечки, листики раздавали. Мужики к Павлу с теми книжками заходили.

— Ни хрена не поймешь! Ну-к, гляди, как тут про землю обозначено.

Павел горячо за дело взялся. В партию большевиков стал народ приманивать. Порядочную кучу сбил. Солдаты почти все.

даже из богатых дворов мужичьих. С постройки народ гуртом. А мужики акгыровские бедного состояния разбились. Которые за Павлом, которые в школе у учительницы в социал-революционеров записались. Тоже много вышло, больше даже, чем большевиков. У Кожемятова состоятельный народ собирался, к господской партии тянул. Кадетами называли. Споры большие между народом пошли. До большой драки даже дело дошло один раз. Социал-революционеры с большевиками у кузницы подрались. С уханьем, с тяжелой кулачной надсадой бились. Троих в лежку уложили. Но отдышались, ни один не помер. А раззадорила на ту драку Виринея. Отход от Павла мужиков, которые раньше около него сбивались, приняла как личную Павлу обиду. Вгорячах прибежала в школу, когда там кое-кто из них был. И с большой страстью, сильным голосом стыдить начала:

— Куды лезете? Воевать не надоело? Солдаты чуть передохнули, а сколь накалечено! Вояку-то главного, Николашку, сдвинули куда следует, а вы дуром в тот же тугой хомут, только с другой шлеей. Э-эх, мало вас нужда, видать, забирала! За землю держитесь? А кто на земле хозяевать будет, коль война не скончится? Кто войну кончать хочет? Большевики, только они одни и стараются. А вы... до победного конца! Гляди, дадут вам конец. Расшеперились, а сами на смерть лезете.

За больное зацепила, но оттого еще больше разгневались. К ученым бабам, мужикам, про общественные дела разъясняющим, примыкать уж стали. Но чтоб своя деревенская, да еще с зазорной жизнью недалеко за плечами, учить пришла...

— Ах ты стерва... Чего еще разбирать-то могешь?

— У большевиков все общее. Бабы, сказывают, общие будут, дак вот и охотится по прежней закваске!

— Чего с ней долго растабаривать! Сгребай, поучи!

Трое наскочили бить. В ярости с необычайной силой от троих мужиков отбилась. Царапалась, кусалась. Хоть с разбитым в кровь ртом, с подбитым глазом, с ноющими боками, но живая и некалеченая вырвалась. А мужики, раззадорившись, к кузнице пошли. Там и произошла жаркая схватка.

Павел ругал Виринею, плевался, а потом смеяться начал:

— Вот дак оратор! Шибко ладошами били... Только по ораторской по морде. Все-ем собра-анием...

— Не хайли! А то я хоть и подбитая, а и на тебя кинусь! Что ж, что баба, у меня тоже в голове-то теперь не только об домашности дума. И сердце кипит. Дураки-то какие, ах! За войну с другими...

Долго по деревне Вирку бабы дразнили, как она мужиков учить ходила. Анисья даже плюнула с сердцем при встрече:

— Думала я все-таки, што толк в тебе есть, не вовсе дурная. А теперь гляжу: порченая. Совсем порченая. Не то, дак это, а никак не живет в лад с правильными людьми.

Виринея засмеялась:

— Что били меня, это, правда, зазорно! Вспомню, краска лицо жгет. А все одно: за что били, то еще попомните. За прав-

ду били, за жалость к нашему мужичьему положению. У меня сердце распальчивое, но тут я не шибко долго гневалась. Не от ума били, а от темности от нашей. Вот погоди, венчаться на красной горке думаешь, мужика к себе в дом берешь. А не осилят большевики, опять и другого на войну сдашь.

— Не каркай, ведьма! Не стращай! Солдаты все приходят домой. Один за одним разбегутся, и без твоих горлопанов дело исделается. А то поровну хочут. От одних отца с матерью ровны-то не родятся. А которы получшай живут, поболе работали. Тьфу! Заплевать бы тебе все глаза твои бесстыжие. Смеется, пялится... И куды лезет. И мужики-то поумней ни про какие партии слушать не хочут. Так, пустельга озорная занимается. А тут баба влезла. Наше вам.

И на ходу все плевала в Виркину сторону. Но что Вирка ведьма — сама уверилась. Вскорости после разговоров с Виринеей новую полицию из городу прислали. Солдат в волость сгонять, чтоб назад в армию отправить. Полиция-то ни с чем тайком ночью обратно выбралась. А все же волненье пошло.

Пришел час, земля к себе мужиков затребовала. Сгасли в Акгыровке споры и разговоры. В жильном мужичьем труде про всякие перемены забыли. И малоземельные и батраки на чужом поле по-старому со всем соком, со всей силой в землю ушли. Брошенным без засева малый его надел только у Павла остался. На крестьянский съезд в уездный город согласился. От волости послали. И до самой осенней уборки жизнь в Акгыровке старым порядком шла. А осенью взбаламутились снова. Про выборы в Учредительное собранье шибко загалдели. Павел надолго в волостное село перебрался. Совсем отшибся от хозяйства, и лошадь продали. Последний запас хлеба доедать стали. Вирка по людям работать опять ходила: ребят надо было кормить. Хоть корили ее, но на работу брали. Коль хорошо для хозяйства старается, и сатану наймешь в жаркую пору. Павел опять в выборочные пошел. Листки принимать для Учредительного того собранья в окружную комиссию. И это новое слово уж почти все в деревне узнали.

Поржавели листья у деревьев, стала стынуть земля. Солнце ласково тужилось, давало тепло, но уж чуялось, что не то оно, как летом. Смирное, без жаркости. И в воздухе печаль. Снимали хлеба. В осенней стрижке своей печальными стали поля. Павел из волости в Акгыровку приехал, листки с номерами привез. Много номеров, всех и не упомнишь, даже башкирский русским дали. В волость в назначенный день везти, в ящик складывать. Сначала шумели мужики, что не будут ли лики отвозить мытариться. Но опять суматоха за сердце забирала. Акгыровка на арендованной у башкир земле. Оттого и под названьем нерусским, под башкирской шапкой, ходила деревня. «Ак-гыр» — белая лошадь. Белолошадковкой надо бы звать. Аренда кончалась. Башкиры грозили землю отобрать, меж собой делить. И деревню русскую обещали совсем уничтожить. Жатву с горем и с боем снимали. И про войну, и про землю, мол, решит Учредительное

собранье. Оттого, как близко время ко дню выборов подошло, затревожились. Стали списки разбирать, какой к чему. Один только можно опустить — выбирать надо. Бабы к Вирке забегали, чтоб разъяснила, какой листок опускать:

— Уж скажи, касатка! Как ни то помоги! Сперва было ровно совестно. Куды бабам лезть? А теперь мужики сами заставляют, а што к чему — не рассказывают.

— Вирка, какой из этих листков на конец войны? Ну-ка расскажи!

— Слышь-ка, мужик велел мне перьвый опускать. Мы, мол, с хорошим достатком, наш номер перьвый. А я к тебе тайком: сын у меня еще не вернулся. Ты мне скажи, какой большаковский-то. Я его тишком суну.

— Пятый, тетка. Суй пятый. Против вашего брата он, а все одно — суй. На конец войны он.

— А пускай против, там разберемся. Сынок-то хошь вернулся. У отцов сердце твердое, а мать как замается, дак не то листка — ножа вострого не побоится. Пущай что хочут делают, только бы живой воротился.

Бабы горились, что цифирь разбирать не умели.

— Какой он тут пятый, разве упомнишь с непривычки. Другие-то изорвать бы, мужик ругается. Он за третий. Ну-к, Вирка, капни маслицем, который пятый. Я его и положу.

— Павел сказывал, выкидывать будут меченые-то.

— А небось не выкидают. Много ль грамотных? Все пометят. А ты легонько, чтоб сгоряча не увидали. Вот игде-нибудь в уголочку.

И Вирка капала. Помечала малой отметиной.

Ясный, ведреный, весь прозолоченный день выдался, когда подводы из Акгыровки в волость двинулись. Длинной цепью по дороге телеги. В них мужики и бабы в праздничных полушалках. Детные с грудными на руках.

Волость — деревянный дом с высоким крылечком, на выезде села, почти в поле, окружен подводами был. Как табор цыганский, шумливый и пестрый. Крыльцо серело солдатскими шинелями.

В большой горнице, где на стенах висели пустые рамы от портретов царя и царицы, большая пальная икона и новые приказы, стоял длинный стол. Сбоку около него деревянный, крашеный, из города присланный ящик. За столом, с деревянными от напряженья и важными лицами, сидела комиссия. Посредине председатель, учитель волостного села. У него тик, и прыгала левая бровь. Но разговаривал он внушительно. Все время делал указания, как подходить, опускать. Лишние расспросы обрывал:

— Раньше надо было на собранье хорошенько слушать.

Павел, красный и потный, но с уверенным и спокойным взглядом, у самого ящика сидел. На улице и на крыльце стоял шум

разговоров, восклицаний и смеха. А в горнице, где ящик, стояла тишина. Нарушали ее только подходившие к урне. Мужики подходили поспешным шагом, супили брови, опускали листок в молчанье. Бабы со сконфуженным смешком, с присловьем. Сначала молились в угол на икону, потом уж оглядывали ящик и дрогнувшей рукой долго толкали листок в отверстие. Почти каждая спрашивала:

— Куды класть-то? В этот в самый? А как класть-то?

Разбитная, смешливая солдатка опустила листок и, сверкнув смеющимися глазами, сказала:

— Баба и та в счет пошла. А ну, бабы, не подгадь, клади за пятый!

Учитель сердито крикнул:

— Агитация у ящика запрещена. Опустила и уходи.

— Чегой-то? Ты больно-то не ори, отошло ваше время орать-то. Пятый самый правильный.

Крепкотелую, но слепую старуху ввели под руки две молодые бабы. Она, шаря кругом невидящими, неподвижными тускло-синими глазами, спросила:

— Где икона-то? Чтой-то сбилась я в углах с перепугу-то.

Перекрестилась истово и громко, торжественно сказала:

— Помоги, господи, не в зло, а в добро. Допусти постараться в дело!

Поклонилась поясным поклоном и позвала:

— Ну-к, Марька, веди, где тут ящик-то? Куды совать, направь руку-то мою.

Председатель завозился на стуле и крикнул:

— Нельзя, нельзя! По закону лишена права голосовать. Слепые не допускаются...

Старуха властно оборвала.

— А ты что за человек и какой такой закон? Бог обидел, и люди обидеть хочут? Я листок за десять верст пешком несла... И я сыновей для войны родила, и я над землей тружилась, а мне нельзя! Кажи, Марька, куды опускать. Не может он не допускать меня!

— Но я не имею права. В законе ясно сказано...

И за столом, и в дверях, даже за открытым окном на улице начался шум:

— Пусть опускает! Для бедного народу будто бы стараетесь, а она из бедных бедная.

— Правда, пешком шла. Лошади не достали нигде, а на чужую подводу некуда.

— Сами семьями приехали. Чать, не виновата, что ослепла!

— Опускай, баушка, не слушай! Теперь слабода, а они все с издевкой.

— Опускай, опускай! Покажи ей щелку-то! Эй, востроносая, покажи, говорю!

— Энтот там расселся, посередке-то! И вытряхнуть недолго, коль бедным запрет делает.

Суслов привстал и громко утвердил:

— Опускай, баушка! Всякому закону по делу да по нужде должно быть послабленье. Не старые времена. Теперь для человека легкости хотят, а не обиды.

Председатель развел руками, еще сильней задергал бровью и смирился:

— Ну, опускай, только чтоб мне в ответе не быть.

Старуха опустила листок и опять помолилась:

— Господи, помоги.

Бабы увели ее.

В горницу ворвался косоглазый мальчишка в черном бешмете, в порыжевшей тюбетейке на бритой голове и с длинным кнутом в руках. Прямо к столу кинулся.

— Тебе чего, малайка? Куда лезешь?

— Башкирский листка номер втарой айда давай. Отбирай мужикам. Ваша ни нада, наша ни хватаит. Ваша вота.

Вынул из-за пазухи кипку смятых листков и бросил на стол:

— Айда атбырай, пыжалыста, скарей, наша волость ждут. Вирхом скакал, шибко лошадь гнал!

Председатель выругался и замахал руками. Писарь сбоку на стуле сидел. Быстро встал, достал со шкафа пачку листков и сунул башкиренку:

— Дуй!

Тот блеснул косыми глазами, взял листки и убежал из горницы.

Учитель вздохнул, потер лоб и покачал головой. Народ подходил. На улице шум все сильней становился. Солдаты смотрели в окна с улицы и громко определяли:

— Этот краснорожий номер первый. Эй, Павел садани его от ящика.

Злой мужичий голос с улицы крикнул:

— А за пятый — самая прохвостня! Конокрад битый нашинский пятый номер понес, я видал.

— Прошу без агитации. Где милиционер?

Солдат, стоявший у ящика, громко и наставительно объявил:

— Когда мы на фронте выбирали, дак у нас так-то было поставлено...

Председатель завопил:

— Послушайте, товарищ, уходите от ящика! Вы не имеете права второй раз голосовать. Чертова окраина! Выбираем не в один день с другими, а с запозданием, вот и... Я вам говорю, вы не имеете права! Я сообщу — все выборы пропадут. Опротестуют.

— А тебя кто тянет сообщать?

— Да ведь я же обязан!

— А ты для нашего брата старайся, а не против нас! Мы кровь проливали, да не смей в своей волости.

И потянулся к ящику. Но Суслов удержал его за рукав:

— Не скандаль, нельзя. Еще правда всем навредишь.

— Так и ты против солдат?

— Говорю, не скандаль. Уходи!

Тот сплюнул, но Павла послушался, скомкал листок и бросил его на пол.

А у стола новая заминка. Кривоногий, встрепанный мужичонка совал председателю штук шесть листков.

— Который тут третий? А? Я заспешил да спутал. Ровно отдельно клал, а на же, поди, сбился. Ну-к покажи.

— Да понимаете вы, тайное, тайное! Нельзя показывать.

— А какие тут тайности! Все знают. Я сперва-то за пятый хотел, да на третий меня сбили. А какой лучше-то?

Председатель безнадежно схватился обеими руками за голову:

— Совершенно невозможно! Разъясняли, все деревни изъездили. Да что же теперь делать?

Суслов засмеялся, встал, взял мужичонку за плечи и вывел его из горницы. Дальше гладко дело шло. Только шум с улицы мешал.

Вдруг опять зычный голос на улице шум покрыл:

— Макрушкин со своего хутора целу подводу с первым номером привез. На тройке приехали. Не пущай его!

Но толпа привычно расступилась перед Макрушкиным. Он, сверля встречных черными острыми глазками, сладким голоском теноровым отшучивался:

— А кто видал, что первый? Я второй привез. За башкир, они — народ покладливый. Они мне больше русских по душе. От них, можно сказать, жить начал. Я за башкир. Второй, второй номер.

Угрюмый длинный солдат зло оборвал его:

— От их награбастал землю-то под хутор, обжулил! Знаем, мертвые под приговором о продаже-то подписаны.

И кривоногий мужичонка поддержал:

— Погоди, дай срок, все начистоту выведем, а землю-то для трудящего подай. У тебя отберем... Пятнадцать работников, на-ко.

Но Макрушкин, не смущаясь, пробирался вперед с длинным хвостом приехавших с ним на двух тройках и поодиночке на пяти подводах. Ответил опять шутливо:

— А я к башкирам подамся, в их веру. Теперь свобода вероисповеданья. А они еще землицы мне удружат. На наш век простачков еще хватит. К башкирам, к башкирам я...

Два дня тянулись выборы. Во всей округе разгорелись страсти. В день подсчета солдаты тесным кругом сдавили стол с комиссией. Щупали листки глазами, орали, ругались. Но подсчет все-таки удалось закончить. Ящик провожали конные доброхотцы разного настроения. Все опасались, чтоб подвоха не вышло.

С тех выборов разгорячился народ. И каждый день все больше будоражливым приходил. В Акгыровке загалдели те,

кто раньше голосу не подавал. Беднота, с постройки рабочие. Требовали землю и мир. Павел Суслов их коноводом стал. В конце зимы, когда большевистское начальство над всей страной власть взяло, и он главным в волости утвердился. Колгота по разноплеменному уезду большая шла. Вирка говорила Павлу:

— Не сносить тебе головы. На такую линию вышел. Нет, чую, не сносить.

— Что ж, на печку забиться да закрыться юбкой твоей?

— А я бы тогда тебе сама мышьяк в пирог запекла. Коли взялся — выстаивай. Уж такое дело твое. Только так, сердцем я скучлива когда, дак опасаюсь за тебя.

— А ты не опасайся. Детей моих береги. Теперь, видно, и стариться вместе станем. Привык я к тебе. И к первой жене, ни к одной бабе так не прилипал. Все одно — жена теперь ты, баба моя до старости, а там и до смерти. Одно только — родить тебе надо. Чего ты не тяжелеешь?

У Вирки сгасли глаза. Опустила голову, как виноватая. С тяжелым вздохом сказала:

— Неплодная, видно, я. Ваську-то винила, а знать, сама неплодная.

И долго сидела молча с поникшей головой.

Тревога в уезде все ширилась. Казаки в сторону от большевиков линию гнули. Соседей-башкир под свою руку сбили, обещаний им всяких надавали. На волость даже нападение было. Отбились. Но зимой война настоящая разгорелась. В сорока верстах от Акгыровки бои начались.

Павел Суслов с фронта один раз сумрачный приехал на день домой. Всю ночь с Виринеей тихо и долго говорили. Встала с постели она с пожелтевшим лицом, но с твердо сжатым ртом. Морщинка у губ обозначилась. И не пропала даже тогда, когда объявила среди дня тихонько и боязливо Павлу:

— Слышь, я затяжелела. Боялась верить, а выходит — правда.

Он посмотрел в большие тревожные глаза ее, в молящее лицо и усмехнулся:

— Ну, рожай! Отобьемся от казаков, на сынка порадоваться приеду. Ну-к, собери, чего кусать мне даешь. Ехать надо.

Уж выезжать собрался со двора, как вошел во двор совсем седой, но все еще лохматый и дюжий Магара. Вирка вскрикнула и побелела. Не пуглива была, но неожиданное появление Магары напомнило ей о прошлом. И сразу, как дурное предчувствие, в сердце ударило. А Магара прямо к Павлу.

— Айда забирай меня с собой. В силах я еще, постоять за правду хочу. Где вашинско-то войско?

Про Магару Павел слыхал и знал его. Усмехнулся.

— А тебе чего в нашем войске, божий старатель, делать? Айда зятя с добром, тобой нажитым, застаивай. Откуда ты?

— Из тюрьмы. Теперь вот выпустили.

Вирка дрогнувшим голосом спросила:

— За этого... за инженера отсиживал?

Магара даже не оглянулся на нее. От Павла воспаленных глаз не отрывал. Но ответил ей:

— За богохульство и кощунство сцапали. Еще до перевороту до этого. В церкви на икону плюнул и изругался. Святой там один нарисован, схожий с энтим, кто меня спервоначалу на молитву-то...

Добавил глухо:

— Замаялся я с богом. Теперь опять для него за правду стараться хочу. За бедный народ стоять пойду, за мужичий за весь род. Растревожили мужика, а ходу ему нет. Богатый и торговцы лезет, а бедному нет земли, чтоб в правильности... С вами постараться хочу. Для бога за вас пойду. Для бога грех принял, человека убил. Такое он на меня возложил, дак я и пойду для правого дела убивать.

Павел вздохнул.

— Мозга у тебя повреждена. Уж правда, что богом ушиблен. Ну что ж, айда. Долго с нами вряд ли пробудешь, а сейчас пока нужен. Дюже сражаться можешь. Сейчас тебе лошадь раздобуду.

И уехали они вместе с Магарой.

Убили Магару скоро. Дуром с гиком один на казачий разъезд кинулся. Как приезжал Павел в последний раз к Вирке на короткий час, то сказал про это, Вирка вздохнула:

— Знаешь, Павел, а много народу у нас в деревне по-разному повредилось. Сидели, сидели сидняком-то: видно, от просидней гнить начали. Кто вот ругается, какой страх и беспокойство пришли. А я думаю — час такой. Нельзя больше было мужикам по-старому.

Павел не ответил. Поднялся и собираться стал. Поцеловал детей. Вирка припала к нему и замерла. Он быстро, будто укусил, поцеловал ее, легонько отстранил и к двери пошел. Но у порога задержался. Не поворачивая головы, стоя спиной к ней, сказал:

— Себя блюди, шибко я к тебе привык. Не распутничай. Дите родишь, жалей, обихаживай. Я об нем что-то думаю. Жалко, не дождался, не поглядел.

И потом, повернув голову, усмехнулся невесело и нежно:

— Дело наше тоже справляй. Через тебя слух давать буду. Ну, ладно. Давай еще поцелуемся. Прощай.

Уехал. Она глядела ему вслед. И вдруг ярким, редким для слеповатых человечьих глаз светом будто осветилась перед ней вся ее жизнь с Павлом. В короткий миг вся перед глазами прошла, подлинно такая, какой она у них была и какой она еще не видела. Как жили вместе — часто сердилась, томилась недовольством каким-то, враждой к нему. Считала его желанным и даже привыкать стала. Но ни разу с таким захлебнувшимся болью и восторгом сердцем, как сейчас, когда смотрела ему вслед, не обняла его. А вот, когда он не слышит, и ей не догнать его, и, может быть, свидеться больше им не да-

но, — ощутила, как он дорог ей. Как один только может быть дорог одной.

— Павел... Пашенька...

Целый день как в чаду ходила. Терзалась: слов своих, вот тех, что сейчас сердце жгут, не высказала ему. Воротить бы его!.. Хоть бы на недолгий час... Сказать бы только ему!..

XII

Всю свою жаркую страсть и тоску по Павлу Вирка в заботы и хлопоты по его делу вложила. Акгыровка стояла в стороне. Казаки расправу чинить в ней еще не появлялись. Но властно наложили руку на всех Павловых пособников кержаки с горы — Кожемятов и еще пятеро богатеев. Ездили с возами в казачий лагерь, оттуда привозили приказы. Десять мужиков из акгыровской бедноты и восьмерых из бараков отвезли в город, в тюрьму. С десяток в волости пороли нещадно. Вирку тоже в волость таскали на допрос. Она отвечала сдержанно и покорно, чтоб Павла не подвести. Только глаза прятала:

— Ничего не знаю. Невенчаная ведь жена, так... полюбовница. Взял и уехал. Теперь, может, с другой тешится. Где — нету слуху. Я вот тяжелая, да еще двоих на меня кинул. Кабы знала где, сама бы хоть за себя наказала бы его. Не смолчала бы, выдала. Все одно он со мной жить не будет.

Вновь поставленный председатель волостной управы кулаком по столу стукнул:

— Врешь, потаскуха! Как провожала его, видали люди.

— Провожала, просила не бросать одну с детьми, без всякого припаса. А куда уехал, не сказал.

Три дня в холодной при волости отсидела. Потом опять пытали мужики. Уж не про Павла, а про пособников его и про то, кто к большевикам сейчас льнет. Вирка упорно отзывалась незнаньем, только все на обиду от Павла жаловалась, что с детьми без помощи всякой бросил ее. Помаяли и отпустили. Тяжелевший с каждой неделей Виркин живот не мешал ей в потайных углах со своими видеться, быстро ходить и еще работой себе пропитанье добывать. А тут еще Павел два наказа в тайности выполнить велел. Один: за десять верст в деревню письмо верному человеку отнести. Другой: мужика одного целую неделю прятать. Когда первый наказ передали ей, вздохнула она. Потом сказала худощавому старику в беженской одеже:

— Сама пойду. Кого пошлешь? Сноровку надо, а главное — чтоб без страху.

И ходила сама за десять верст будто бы в больницу. В том селе как раз больница была. Обратно чуть ноги тащила по неровной снежной дороге. Но дотащила и концы чисто схоронила.

Другое было трудней. Но все-таки уберегла в подполье. Даже соседские бабы ничего не унюхали. И чем больше старалась,

тем дороже становилась ей ее вторая, тайная, жизнь. Теперь с подлинной верой говорила своим при встрече:

— Хуть мы и пропадем, а тем помогать надо. Совсем задавили маломощных.

Видеться было трудно. В деревне каждый вздох слышен и каждая новая щепка на дворе заметна. Но вот пришел слух, что Павлов отряд к Акгыровке подвигается. Павел на словах с парнишкой безусым, но строгоглазым передал:

— Хорошо, кабы вы с затылку их нажгли. Какое-нибудь восстанье бы наладили.

Вирка с этой вестью пошла в бараки. Постройку давно забросили, но беженцы и бездомовые, работавшие раньше на дороге, в бараках жить остались. Шибко шла, но чутко ушами и глазами за дорогой следила. Никого не встретив, дошла. В большом бараке жило трое одиноких мужиков и четверо семейных. И все были одного, большевистского, толку. Оттого Вирка без опаски вошла. Но разговор не сразу начала:

— Здравствуйте-ка! Тетка Дарья дома, что ль?

Дарья от печки отозвалась:

— Здесь, дома. Ты чего, Вирка?

— Да вот к тебе, пощупай-ка ты меня... В повивалках ходишь, знаешь. Что-то больно одышка замаяла. Скоро ль разрожусь?

Дарья усмехнулась:

— И щупать нечего. Так видать — не боле недели носить. Да ты говори дело-то. Тут никого чужих нет. Сейчас мужиков со двора позову.

Когда собрались, Вирка дрогнувшим голосом сказала:

— Ну, мужики, зачинать драку надо.

И, откашлявшись, уж спокойно и ровным голосом рассказала, что Павел передал.

Мужики не сразу отозвались. Долго раздумчиво молчали. Первый, белесый и хлипкий, Васька Дергунцов заговорил:

— Нет, товарищи, нам это дело не сделать. Напуган сейчас народ, не подобьешь. Мается, а молчит.

И другой, с седоватыми, коротко и неровно стриженными волосами, подтвердил:

— И думать нечего! Как блох переловят.

— Подождать надо. Может, как совсем близко наши к деревне уж подойдут, тогда. А сейчас никак нельзя.

Вирка поднялась. Глядя хмуро, исподлобья, спросила:

— Это и весь сказ?

— А дак чего же?

— Больше ничего нельзя.

— Дело не выйдет...

— У наших там войско. Пусть уж стараются как-нибудь к нам пробраться, тогда подмогнем. А сейчас ничего не сделаешь.

— Ах вы, собаки! Мне ли, бабе, да еще какой — дурной бабе, учить вас али там корить? А вот приходится. Словами

только блудили, а как до дела час дошел, дак слюни пускаете! Нельзя так, мужики! Нельзя, братцы вы мои, товарищи! Какая жизнь-то у вас, долго еще протянете? Кто говорил: стоять до последнего? До чего жидка в страхе душа у человека. Сволочи вы! Не хотите, не надо. Еще людей наберу. Мне не поверят, жизни своей поверят, что нельзя боле ждать.

Глаза у ней жгли и молили, а голосом твердым говорила:

— Придет час, вернутся наши. Тогда опять к ним лицом, а не задницей повернетесь? Ну, дак ладно, я одна, баба, вот в тягости, одна пойду дело заводить. Охота дале в голоде да в побоях жить — живите. Вот этот кобелишко-то хилой тявкал: сердце чешется против кержацкого насильничанья. А теперь еще казаков ждать будут! Все одно не помилуют, хуть вы им ноги все излижите! Давно косо глядят, чуют, какая дума-то у вас. Наши подходить станут, все одно с вами расправятся. Ну ладно, нечего мне с вами, видно, и разговаривать.

Пошла было к двери. Но мужики опять загалдели. Ругали Вирку, спорили, а все же порешили сделать, как Павел указывал.

Вирка со светлым лицом уходила. Будто на большую радость спешила идти, а не на трудное дело. Седоватый стриженый сказал ей со смехом:

— Ты, баба, выходит, у нас и за командира, и за попа полкового. Ишь ты, начесала сколь. Целу проповедь высказала!

А командир чуть домой дошел. По дороге схватки начались. Но все же сама за бабкой Козлихой зашла:

— Айда скорей! Рожать, видно, я наладилась.

В избе у себя Вирка долго не хотела лечь. Ходила по избе, крепко стискивала зубы.

Козлиха прикрикнула на нее:

— Чего ты молчком? Кричи, кричи! Легче будет. Первый раз эдаку каменную бабу вижу. Без крику рожать собирается.

Вирка улыбнулась коротко и тускло. И опять, сморщившись, сказала прерывисто:

— Пускай с радостью-то на све-ет выходит. Шибко долго я его ждала... Не хочу кричать, хочу в легкости родить его.

И крикнула только раз. Коротко, сильно. Будто не от боли, а от восторга. И тогда несказанная легкость усладила тело, услышала на диво звонкий крик рожденного.

— Ишь ты, какого горластого выродила. Да большой.

— Отцу поглянется. Ты чего? Не сомлела?

— Не-ет. Покажь... Сыно-ок!

— Откуда узнала? Ишь ты, дошлая. Ну-к пущай полежит, потружусь около тебя.

Недолго Вирка на сына радовалась. Через пять дней, когда ждала от своих извещенья, как у них там наладилось, ночью в дверь тревожно и тихо кто-то застучал. Вирка к двери, спросила шепотом:

— Кто?

Бабий напуганный голос сказал:

— Открой скореича, впусти.

Но в избу Дарья не вошла, из сеней тихо спросила:

— Козлиха-то у тебя?

— Тут, сегодня пришла, заночевала. А что?

— Где она?

— На печке спит.

— Буди скорей, пущай возьмет ребенка, а сама айда беги немедля. Через огороды, туды, к речке, а там тебя Парфен ждет.

— Дак ты что? Ребенка-то я как?..

— Ребенка! А коль саму прикончут? Павлу надо успеть слушок подать, а то втяпается. Да собирайся ты, буди Козлиху. Чего стоишь?

— Да чего ты сразу.

— Казаки приехали, у Кожемятова сейчас. Кожемятов батрачишка-то с им ездил. Слыхал, что пронюхали. Анисим дознался про наше дело. С доносом в станицу ездил. Ну, только называл, что тебя да мово мужика. Мой-то схоронился, айда беги. Ой, кабы меня тут не застали. Дак огородом-то... Огородом к реке.

И нырнула в темноту. Вирка взяла ребенка из зыбки:

— Баушка, баушка... На-кось.

— Ну чего ты взгомозилась? На печку его? Ко мне? Ну, давай.

Сильно вздрогнула, будто от тела оторвали теплый живой сверток, и подала старухе. С лицом настороженным, без слез, без вздохов быстро накинула платок и полушубок и выбежала из избы.

— Вирка-а! Вирк, ты куда? Что это, осподи, попритчилось, что ли, ей что?..

Поняла только, когда в дверь, оставленную после Вирки без запора, ввалились казаки и мужики. Поняла, поглядела спокойно и стала унимать заплаканного мальчишку:

— Ну-у, ну-у, распелся, на ночь глядя. Ш-ш-ш!

— Ты, старая хрычовка, где баба?

— Убегла куда-то. Я не спрашивала. Мне на што? Думала, скоро вернется. Мне чего? За ей не побегу, не молодая.

Рыжеусый казак шашкой пригрозил:

— Сказывай, а то не удержишь башку на плечах!

— Она и то плохо держится. А чего я скажу? Убегла, слова не сказала. Хуть кишки выпусти — чего я скажу боле? Не налезай на дите-то, злыдень. Задавишь неповинную душеньку.

Анисим Кожемятов сказал чернявому офицеру:

— Ничего теперь, ваше благородие, не добьешься. Она правды старухе-то не скажет. Следить за избой надо.

А седой, худощавый и строгий, похожий на святителя с иконы старого письма, Антип-кержак сказал:

— Пущай ребенок с бабкой тут остаются. Сама придет. Молоко ее к дитю приведет.

На том и порешили. Караульщики во дворе в хлевушках запрятались. Днем искали, не нашли. Три ночи караулили.

На четвертую, уж за полночь, в самый глухой и темный час, насторожился под навесом рыжеусый кержак и шею вытянул. С огорода темная женская фигура двигалась. Дыханье, как охотник, видя зверя, затаил. И Вирка шла легкой, строжкой поступью зверя. Как волчица к волчонку своему, пробиралась. Будто след нюхала, выгнув шею и влекомая своим запахом, — запах крови, из ее жил взятый, — шла кормить или выручить детеныша своего.

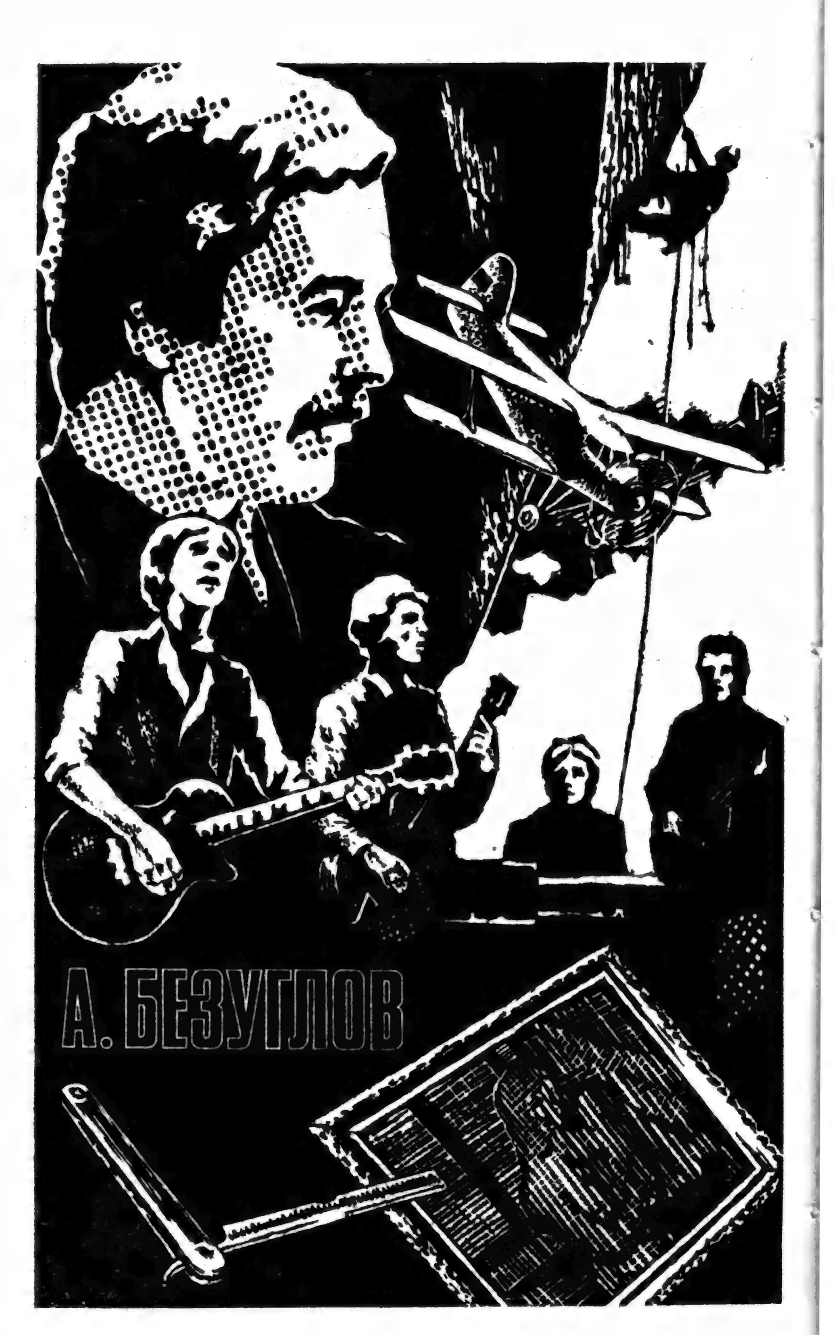
У самый двери в сенцы была, когда крикнул резко рыжеусый другим, укрывшимся темнотой:

— Имай! Держи ее! А-а, поймал! Беги, Сычев, зови его благородье!

Вирка закричала пронзительным, долгим криком и забилась в дюжих руках приземистого казака.

— Стой!.. Стой!.. Увертливая какая! А, ты кусаться, стерьва! Стой!..

Вирка рванулась, высвободила руку и с большой силой ударила казака в переносицу. Выгнулась всем телом, ударила ногой его в пах. Казак взвыл от боли и выпустил ее. Но подоспел рыжеусый, скрутил ей руки за спиной. Она билась, качала казака во все стороны. Он неловко повернулся, зацепил ногой за ступеньку крыльца и упал. Падая, увлек за собой Вирку. Она закричала еще раз резко, пронзительно и смолкла. Затылком ударилась об острую железную скобу для отскребанья грязи, вбитую на доске около крыльца. И тогда же из избы донесся живой и требовательный плач ребенка. Виркины глаза встрепенулись в последнем трепетанье и погасли.


А. БЕЗУГЛОВ


СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПО
ОСОБО
ВАЖНЫМ
ДЕЛАМ
ПОВЕСТЬ

Я всегда завидовал спортивным болельщикам. Завидовал глубоко и обреченно.

У них могущественные покровители. О них особая забота. Посмотрите, какие огромные строят для них стадионы, разом вмещающие население приличного города (а то и государства, например Монте-Карло), какие Дворцы спорта.

Иногда мне думается, что телевидение изобретено специально для них. Не верите — изучите программу телевидения. Редкий день обходится без футбольного или хоккейного матча или там водного поло, борьбы самбо, поднятия штанги... А то выпадет на какое-нибудь число несколько матчей сразу.

Зависть моя оттого не утихает, что у меня тоже есть страсть. И болеет ею не так уж мало людей. В том легко убедиться: попробуйте достать билет в Большой театр, когда партию Жизели исполняет Бессмертнова, а в «Спартаке» танцуют Максимова и Васильев.

Но что может сравниться с ощущением, когда ты, сжимая в руках драгоценный клочок простой бумаги, проходишь сквозь строй неудачников в ворота твоего храма! И становишься, как правило, свидетелем единственного, неповторимого! Я уже не говорю о самой обстановке: торжественное ожидание чуда, непередаваемое волнение присутствия.

Вот почему я просто не мог не послушать Кибкало в «Женитьбе Фигаро», не имел права.

В Центральной театральной кассе билетов, разумеется, не было.

Я попытал счастья в кассах Большого театра. С таким же успехом.

И вот пришлось встать засветло, взять такси (метро еще не открылось) и подъехать к кассам Большого театра. Водитель, узнав, куда везет столь раннего пассажира, посмотрел на меня подозрительно. А когда увидел толпу таких же «ненормальных», как я, сочувственно покачал головой.

Потом — волнения: будут ли билеты? Билеты были, только на спектакль, который состоится через три недели. Но и это считалось удачей...

В день спектакля я был «при параде» с самого утра. Потому что за шестьдесят минут, разделявшие окончание работы и начало спектакля, немыслимо слетать от Кузнецкого моста, где моя служба (Прокуратура РСФСР), до Бабушкина — места моего жительства — и обратно в центр. Благо от моего учреждения до Большого театра десять минут ходу. Все шло по расписанию.

В четыре позвонила Надя, справилась, не отменяется ли поход.

Надя работала рядом. Дом моделей. Мое первое (очень хотелось бы, чтобы и последнее) «случайное» знакомство. В ресторане ЦДРИ. Сколько раз мы передавали друг другу дежурное обеденное меню, прежде чем я решился заговорить о чем-либо, не имеющем касательства к бульону с пирожком и бифштексу.

У нее, оказалось, тоже было желание свести более близкое знакомство. Но почему-то оно шло по линии, которую я долго не мог взять в толк. Моя собеседница все время сбивалась на разговор о том, что какое-то СМУ постоянно роет траншею возле их дома и портит телефонный кабель.

Я намекнул, что простое человеческое общение лучше телефонного. Она же твердила о своем: о кабеле, о СМУ... Объяснилось все неожиданно: Надя принимала меня за работника связи. Да, были времена, когда прокурорская братия носила погоны. Теперь же наш удел — скромные звездочки в петлицах.

Узнав мою настоящую профессию, она заметно зауважала меня. А я обрадовался тому, что Надя не манекенщица. Право же, конструктор-модельер с фигурой манекенщицы — это действует на мужское воображение. Свободное от семейных забот. Правда, впоследствии выяснилось, что начинала она с манекенщицы. Что же, я тоже начинал совсем не со следователя...

В тот день я подтвердил Наде, что уговор в силе. А это значит, что, отпросившись у своего начальства (Агнессы Петровны, с которой мне довелось уже познакомиться по телефону), она поедет домой переодеться. Чтобы успеть к нашей встрече у крайней колонны слева.

В пять часов мне позвонили из больницы. Отоларинголог, который меня лечил, сказал, что в отделении завтра освобождается место. Мне следовало бы обрадоваться. Что я и высказал по телефону. А когда положил трубку, почувствовал неприятный

холодок. Какая может быть радость от того, что тебе полезут скальпелем в горло? Б-р-р!

Что ж, видимо, пора дать решительный бой...

В четверть шестого заглянула в мой кабинет Фаиночка. Миниатюрное существо со вздернутым носиком и каштановыми кудряшками. Секретарша зампрокурора республики.

Фаиночка работала совсем недавно. Срезалась на вступительных экзаменах в заочный юридический институт, но юриспруденция, как говорится, прикипела к сердцу, и она пошла служить в прокуратуру.

На ней было простенькое платьице. И все в ней было естественно и человечно, слова и поведение. Глядя на нее, я с грустью думал: неужели и она когда-нибудь совьет себе кокон вежливо-холодной секретарской учтивости?

— Игорь Андреевич, Иван Васильевич просил, чтобы вы зашли к нему в конце работы.

Мой телефон частенько занят. И если я нужен начальству, она не ленится подняться на два этажа.

Смущается, краснеет, но приходит. Правда, в буфете (если у меня нет времени на поход в ЦДРИ) никогда не сядет за мой столик. Прекрасный повод для шуток. Его с удовольствием используют некоторые мои коллеги. И вгоняют девушку в краску.

— А сейчас Иван Васильевич занят? — спросил я.

— Его просто-напросто нет. В Совмине. Вы его все-таки дождитесь. Просил...

— Уж эти просьбы, — сказал я. — Паче приказания.

Фаиночка сморщила носик: рада, мол, помочь, но нечем. Перед тем как она захлопнула дверь, я попросил:

— Как только объявится, позвоните?

— Обязательно, Игорь Андреевич.

Ее кудрявая голова исчезла.

Значит, завтра к двенадцати — в больницу. С узелком. Всякие там кулечки, электрическая бритва, зубная щетка... Собираюсь лечь уже второй год, а тут сразу — завтра. За полдня надо успеть переделать массу дел. Позвонить в прачечную, чтобы белье не привозили. Непременно внести взнос за кооператив. И так уже задолжал за два месяца. По работе, слава богу, ничего срочного. Неделя ничего не решает. Правда, я слышал, что после операции некоторое время разговаривать не разрешается. А сколько? Надо было узнать. Немой следователь — что за следователь...

Незадолго до шести я не вытерпел и, не дожидаясь звонка Фаиночки, спустился в приемную к заму.

Ивана Васильевича еще не было. Секретарша смутилась. Словно в отсутствии начальства была виновата она.

Конечно, ровно в шесть я имел право, как и все, покинуть службу. Де-юре. Но де-факто... Не знаю, отыщется ли такой человек, кто решится не уважить просьбу руководства. Впрочем, де-юре тоже не очень на моей стороне. День у меня ненормиро-

ванный... С мрачным видом я устроился в кресле возле Фаиночкиного стола.

Девушка продолжала бойко стучать на машинке, изредка бросая на меня извинительные взгляды. Наверное, по молодости она считала себя обязанной уходить вместе с шефом. Или по его разрешению.

А может быть, она сегодня осталась из-за меня, чтобы мне было не так скучно в приемной?..

В четверть седьмого мне стало тоскливо.

Звонить Наде бессмысленно — в пути.

При всем моем уважении к Ивану Васильевичу в эти минуты я про себя не очень лестно о нем отзывался.

На всякий случай сбегал наверх, к себе. Может быть, Надя все-таки позвонит. Но аппарат молчал.

Тогда я спустился в приемную (опять же бегом), чтобы не упустить ни одной секунды.

Но зампрокурора все не было. Я снова пошел к себе. Еще в коридоре услышал звонок и бросился к двери.

Это была не Надя. Звонил свидетель по делу, которое я заканчивал. Я постарался поскорее закруглиться, чтобы освободить линию.

Не успел я положить трубку, как опять раздался звонок.

— Игорь Андреевич, вы еще у себя?

Я узнал голос Агнессы Петровны.

— Да, сижу как на иголках.

— У вас сегодня приятный вечер, я знаю. Но не больше двух минут...

Знаю я ее две минуты. Поэтому говорю:

— Агнесса Петровна, дорогая, простите, ради бога, вызвали к начальству. Я вам позвоню сам, завтра. Дело спешное?

— Что вы! Пожалуйста. Успеется и завтра. Желаю хорошо провести вечер...

Я вздыхаю. Кладу трубку. Бреду по опустевшему зданию к Фаиночке.

Без двадцати семь меня охватило отчаяние. И не потому, что я до сих пор еще не подводил моего очаровательного конструктора-модельера (хотя бы в последнюю минуту, но ухитрялся уведомить, что занят). Мне было жалко ее, стройную и одинокую, сиротливо стоящую у нашей колонны. И еще что-то во мне шевелится вроде ревности. Ведь у театра сейчас много мужчин. Молодых и модных. Но главное, я срывал Наде вечер. Что она подумает, если я не приду? И вот решаюсь...

— Фаиночка, сделайте мне одно одолжение.

Машинка замолчала. Я никогда ни о чем не просил девушку.

— А смогу?

— Отлично справитесь. Сходите за меня в Большой театр...

Конечно, с моей стороны это было предательством. Я разрушал нашу дружбу самым варварским способом. И ее мечты, быть может...

Протягиваю ей два билета.

Надевая пальтишко, которое явно куплено в «Детском мире», потому что такие размеры вряд ли продают в магазинах для взрослых, она, пряча от меня глаза, спросила:

— Как я найду... этого человека?

Боже мой! Вот действительно деликатная душа. Я чувствовал себя инквизитором.

— Крайняя колонна слева. Надежда Максимовна. Стройная. Блондинка.

Фаиночка едва слышно повторила:

— Стройная, блондинка...

— Сестра... — соврал я отчаянно. И от этого у меня стало скверно на душе. Ее каблучки затихли в конце коридора. В мыслях я шагал с ней вниз, по улице, у ЦУМа завернул к театру. Вот и я. Она не удивилась моему опозданию — такая у меня работа. Потом бегом (Надя ходит быстро, угнаться за ней трудно) направились в гардероб. Затем — по овальным коридорам.

Вот и ложа в третьем ярусе бельэтажа. Погасли люстры, медленно и торжественно. Сладостная минута тишины, натянутой, как струна. И вот — мир взрывается божественным фортиссимо увертюры. Распахнулся занавес и...

— А, это вы, Чикуров. — Иван Васильевич остановился посреди приемной и некоторое время рассматривал меня, что-то соображая.

Он открыл дверь кабинета, прошел первый. Я — следом.

Улетучился бог весть куда Моцарт. Я стоял у стола зампрокурора.

— Садитесь. — Иван Васильевич устало опустился на свое место. Он все еще озабоченно морщил лоб.

Меня насторожило обращение на «вы». В устах зампрокурора оно звучало только тогда, когда он был не очень доволен подчиненным. Я смотрел на его волосы, переложенные с одной стороны плеши на другую так аккуратно, будто бы каждый волосок точно знал свое место, и думал, в чем же я мог провиниться. Но вдруг последовало неожиданно:

— Так что у тебя?

«Ты» означало расположение.

— Не у меня, а у вас, — ответил я успокоенный.

— Да, да, да, да... — Он вынул из сейфа голубую папку, дело. Я прикинул: листов сто, не больше. — Вот, ознакомься.

— Срочно?

— Спешить, как говорят, людей смешить. Завтра с утра и садись. На свежую голову. Не очень занят?

— Нет.

— Добро, — сказал он своим тихим голосом и слегка склонил голову в знак того, что разговор окончен.

Я попрощался. Вышел. Больше указаний не последовало. Иван Васильевич всегда говорил один раз.

Я совсем забыл сказать ему, что завтра меня ждет койка в

больнице. Вспомнил об этом лишь тогда, когда зашвырнул в свой сейф голубую папку. Так в нее и не заглянув.

За окном совсем сгустилась ранняя осенняя чернота. В стекле отражался мой наимоднейший парадный галстук, яркий, как бабочка-махаон. Подарок Нади.

Я понял, почему Иван Васильевич начал со мной так официально, на «вы». Он не любил, когда на работе появлялись одетыми не по форме. Хотя допускал, что вне стен прокуратуры каждый волен носить то, что пожелает. Был случай, когда он вогнал в слезы прежнюю секретаршу — она пришла на службу в коротеньком платье (было это еще в пору мини-юбок). Помня выговор начальства, девушка даже в нерабочее время отказалась от моды.

Каково же было удивление, когда Иван Васильевич, высмеивая молодящихся женщин, обряженных в коротенькие платьица, сказал:

— Гале, например, это идет, — секретаршу звали Галей. — А вот на некоторых это смешно.

Выходит, мой галстук его задел... Но знает ли он, как сам невольно наказал меня сегодня?

Когда я хочу успокоиться, я начинаю мыслить. Логически. Виноват ли, в сущности, Иван Васильевич? Его самого задержали. А те, кто задержал его, может быть, вынуждены были сделать это по каким-то обстоятельствам. А эти обстоятельства...

Я рассмеялся. Логика иногда тоже мало помогает. Факты побеждают. Главное, я никогда в жизни не увижу сегодняшний спектакль. Он не повторится. Обиднее всего, что я пропустил его из-за дела, которое вполне может ждать до завтра.

Вечер у меня закончился, как у влюбленного юнца.

В то время, пока Надя и Фаиночка наслаждались оперой, я добросовестно выстоял очередь в кафе, добросовестно съел ужин, закруглив холостяцкую посиделку чашечкой кофе.

А потом стоял в тени около входа в метро, стараясь не пропустить две женские фигуры: маленькую, почти девчоночью, Фаиночки и — чуть выше и стройнее — Нади.

Они промелькнули в толпе зрителей, выходивших из театра. Я шмыгнул за ними, ориентируясь на красную, пышную Надину голову. Появляться в обществе секретарши не смел: что, если Надя разоблачила уже мою ложь о нашем с ней мнимом родстве?

Вскочив в соседний вагон, я незаметно наблюдал за ними через стекло. Фаиночка сошла раньше. Надя осталась одна. Я отыскал ее блестящее пальто среди других, ярких и разнообразных, и двинулся вслед.

Догнал при выходе из метро. Взял под руку.

— Довольно смело! — сказал странный низкий голос. Но рука не отстранилась. На меня чуть насмешливо смотрела незнакомая блондинка.

Наверное, я извинялся. Во всяком случае, что-то долго бормотал. Потом мотался по площади, высматривая Надю.

Блондинок было много. Высоких. В этих проклятых блестящих пальто. Словно вся Москва помешалась на них. И, ругая в душе моду, уныло поплелся наконец к телефону-автомату напротив ее дома.

— Работаешь? — спросила Надя, ничуть не удивившись.

— Да, — соврал я, глядя на окно шестого этажа. — Понимаешь...

— Не извиняйся. Мы же договорились...

— Тебе понравилось?

— Я ожидала большего. Но, в общем, ничего... Игорь, — я почувствовал, что она улыбается, — эта девочка в тебя влюблена?

— Ну что ты! — убежденно сказал я. — Она молодая. В таком возрасте нравится каждый мало-мальски...

— Высокий мужчина? — договорила Надя. И весело рассмеялась. Мне показалось, что она ревнует.

— Глупости. Фаиночка — это сама кротость...

— Дорогой мой знаток человеческих душ, женское сердце — загадка.

— Не бóльшая, чем мужское, — парировал я. Мне ужасно хотелось прекратить этот разговор. — Надя, ты была в блестящем пальто?

— А что?

— Ничего. Я скучал по тебе и гадал, как ты одета.

— В нем. Следовательская интуиция?

— Просто я подумал: вся Москва носит такие пальто... А ты все-таки модельер...

— Над этим стоит поразмыслить, — полушутя сказала Надя. — Завтра позвонишь?

— Обязательно. Да, Надюша, мне хотят вырезать гланды...

— А это страшно? — я услышал в ее голосе неподдельную тревогу.

— Не знаю. Потом скажу.

— Звони. Непременно...

Назавтра утром раздался звонок. Я еще не успел снять плащ.

— Товарищ Чикуров?

— Да.

— Иван Васильевич просил вас, как только ознакомитесь с делом, зайти к нему.

— Хорошо, — сказал я.

Все. Моя ложь раскрылась, и Фаиночка вычеркнула меня из списка друзей. Мне стало смешно и грустно. В общем, досадно. А может, перемелется? И снова в моей двери будет появляться кудрявая курносая мордашка... Посмотрим. Кто-то из великих писателей сказал, что женщины не прощают. Кажется, Дюма.

Прежде чем засесть за изучение дела, подшитого в голубой папке, я позвонил в больницу. То, что я сегодня буду занят весь

день, — совершенно определенно. Доктор не удивился. История, повторяющаяся в который раз.

— Знаете, что вас ожидает? — спросил он со зловещим спокойствием.

— Знаю. Ревмокардит. — Это слово он вбил в меня надежно.

— В лучшем случае, — сказал врач торжествующе. — И больше ко мне не приходите...

— Приду.

В трубке посопели. Потом короткое:

— Когда?

— Завтра, возможно, через пару дней.

— Ох, Игорь Андреевич, Игорь Андреевич...

В голубой папке было сто девять листов. Дело о самоубийстве.

Два месяца назад в селе Крылатом Северозерского района Алтайского края покончила с собой воспитательница детского сада совхоза «Маяк» Ангелина Сергеевна Залесская, 1947 года рождения.

Старший следователь прокуратуры Алтайского края установил следующее.

«Вечером 8 июля к супругам Залесскому В. Г. и Залесской А. С. пришел в гости совхозный шофер С. Коломойцев и принес с собой бутылку водки. Коломойцев и Залесский, выпив бутылку, захотели еще. А. Залесская запретила им. Но Залесский накричал на нее и отправился с Коломойцевым домой к последнему, захватив по дороге в продмагазине еще бутылку водки. Они распили ее у Коломойцева дома. После этого они еще пили спирт, имеющийся у Коломойцева. Сколько выпили его, не помнят. Залесский был сильно выпивши и остался ночевать у Коломойцева, в доме гр. Матюшиной Е. Д., у которой последний снимал комнату. Наутро, 9 июля, проснувшись, Залесский и Коломойцев решили пойти к А. Залесской извиниться за вчерашнее поведение.

В начале десятого утра, зайдя в дом (Залесский открыл дверь своим ключом), они обнаружили в комнате на полу около кровати труп Залесской. Правая рука умершей лежала на постели. Возле нее находилась опасная бритва в раскрытом положении.

В области шеи Залесской имелась обширная рана (лист дела 4, 5, 6).

Залесский и Коломойцев выбежали на улицу и стали звать соседей. На их крики прибежали Р. Ифанова и Е. Рыбкин, живущие в соседних домах. Залесский просил вызвать «Скорую помощь». Но Рыбкин сказал, что «Скорую» вызывать поздно, надо звонить в милицию. Коломойцев побежал за участковым инспектором. Р. Ифанова обнаружила на столе в другой комнате предсмертное письмо Залесской, начинающееся словами: «Мой милый! Я любила тебя...» (лист дела 19, 20, 21).

Следователь райпрокуратуры и оперативная группа Северозерского районного отдела внутренних дел, вызванные участковым инспектором младшим лейтенантом милиции Линевым,

прибыли на место происшествия в двенадцать часов три минуты...»

Я дошел до фотографии места происшествия...

После осмотра трупа судмедэксперт дал заключение, что смерть Залесской наступила в период от 23 часов 8 июля до 02 часов 9 июля. При вскрытии это было подтверждено.

В заключении судмедэкспертизы указано также, что Залесская находилась на седьмом месяце беременности.

Данное место в деле подчеркнуто красным карандашом. Выходит, это были две смерти...

Предсмертное письмо. Три листа из ученической тетради в линейку. Ровный, округлый почерк, вряд ли изменившийся со школы.

«Мой милый! Я любила тебя так, как никого и никогда не любила. Ты же со дня нашей встречи держал свои чувства как бы на тормозе. Тогда я еще не понимала, что тебе трудно раскрыть свою душу и сердце до конца. Ты сомневался во мне, а я сомневалась в тебе. Ты иногда говорил, не знаю, шутя ли, что не женишься на мне. Но я все же верила, что мы будем вместе, потому что любила.

Испытания, выпавшие на долю нашего чувства, не убили его. Я убедилась, что ты любишь меня искренне, делаешь все, чтобы я была счастлива. И сознание этого не дает мне покоя ни днем, ни ночью... Я дрогнула в какой-то момент, который я презираю и проклинаю. Ты говорил, что только настоящее чувство выходит из всех жизненных коллизий незапятнанным и чистым. Я хотела верить, убеждала себя, что моя любовь такая и есть. Но то, что я сделала, не дает мне права приравнивать свои чувства к твоим. Если бы я даже и смогла перебороть себя, очиститься, постараться стать лучше, это невозможно. Все время рядом будет находиться напоминание о моем предательстве по отношению к тебе. Более того, как ни горько сознаваться, но и здесь, в Крылатом, я тоже перед тобой виновата. Не ищи виновных — я не смогла отвести беду сама, какие бы ни были обстоятельства. Не могу себе этого простить. Особенно сейчас, когда ты со мной и любишь до конца. Мне кажется, что тонкие, незримые нити нашего духовного родства, которое грело соединение двух людей, порваны. Порваны мной. Их теперь не связать. А если свяжешь, останутся грубые узлы, о которые каждый раз будет раниться сердце. Нельзя жить, обманывая себя, это погубит и чувства любимого человека. Ложь разъедает любовь. Без любви постылы все краски существования.

Прости меня, мой любимый, и прощай. Я не имею права пользоваться чужой красотой мира, чужой любовью, не сохранив свою в чистоте. Через судьбу не перепрыгнешь. Уходя из жизни, прошу только об одном: береги нашего сына, чтобы он не почувствовал никогда отсутствия матери. Аня Залесская».

Графическая экспертиза, проведенная научно-техническим отделом управления внутренних дел края, вынесла утверждение: письмо написано самой Залесской.

Посмертная судебно-психиатрическая экспертиза заключила, что умершая не страдала никакими психическими заболеваниями, обладала спокойным, уравновешенным характером. Патологических отклонений не наблюдалось. В обращении с людьми была общительна, весела.

В письме упоминался сын. Из показаний Залесского я узнал, что пятилетний Сергей находился у родителей Залесского, в Одессе.

Завершало дело постановление следователя о прекращении его за отсутствием состава преступления.

Папку я закрыл часа в три. Забыв обо всем, в том числе о том, что в тринадцать часов обычно обедаю с Надей. И что обещал позвонить Агнессе Петровне. Я набрал номер телефона Дома моделей.

Прежде всего Агнесса Петровна справилась о моем здоровье. Мы ни разу не видели друг друга, я не знаю, как она выглядит. И все же мне часто кажется, что это моя родственница. Я поздравляю ее с каждым праздником, я знаю, что на перемену погоды у нее ломит поясница, в свою очередь, я снабжаю ее сведениями, как позвонить на какой-нибудь вокзал или, например, где находится химчистка изделий из пера и пуха (знания, черпаемые из телефонного справочника на моем столе). Этой информацией мы обмениваемся за те минуты, которые необходимы Наде, чтобы дойти от своего рабочего места до кабинета начальника.

Агнесса Петровна сообщила:

— Нади нет. Уехала на демонстрацию.

— Какая демонстрация в сентябре? — удивился я.

— У нас этот праздник каждый день. Для кого-то праздник, а нам одни хлопоты... Демонстрация мод.

— Понятно. Забыл о специфике вашей работы. Но о нашем вчерашнем разговоре не забыл...

— Мне это приятно слышать. С вашей занятостью... Кстати, Надюша говорила о вчерашнем вечере. Я преклоняюсь перед людьми, которые отдают свои силы на благо других.

— Вы преувеличиваете.

— Напротив, преуменьшаю.

Я пробормотал какую-то благодарственную фразу. И, чтобы прекратить этот разговор, спросил:

— У вас ко мне, кажется, дело?

— Право, неловко отвлекать вас от работы, но у нас в коллективе трагедия. Надя не говорила?

— Нет. Ничего не говорила.

Агнесса Петровна тяжело вздохнула:

— Работает у нас прекрасная девушка. Леночка. Подождите, я занята. Это я не вам. Так представьте себе, ухаживал за ней паренек. Приятный мальчик. Инженер. Решили пожениться. Я считаю, очень хорошо. Но видите ли, он поставил нашей Леночке условие, чтобы после свадьбы она ушла из манекенщиц. Во-первых, что в этом плохого? Красивая работа. Неплохая зар-

плата. Да, раздевается при людях, но ведь не совсем, до купальника... Курортники платят бешеные деньги, чтобы раздеваться где-нибудь на пляже в Сочи или Гаграх... Во-вторых, дала слово — это еще ничего не значит. Ну, потянула бы, потом свыкся бы. Нет, она прямо на свадьбе ляпнула ему, что и не собирается бросать у нас работу. И что вы думаете? Он исчез прямо со свадебного банкета. Как сквозь землю провалился...

— М-да, — протянул я. — История.

— Я понимаю, для вас это, может быть, не очень интересно. У вас по-настоящему опасные преступники. Но положение Леночки ужасно. Штамп в паспорте, свадьба, а она на самом деле — незамужняя. Посоветуйте, Игорь Андреевич, куда позвонить, чтобы его найти?

Несмотря на комизм положения — обратиться с такой просьбой ко мне, — я понимал, что от Агнессы Петровны просто так отделаться не удастся. И решил ответить шуткой:

— Следует немедленно объявить всесоюзный розыск.

— С вашего разрешения, я сошлюсь на ваш авторитет, — сказала она вполне серьезно.

— Можете, — ответил я. Что мне оставалось делать? Объяснять — долго. Я и так опаздывал с докладом к начальству.

Перед тем как отправиться к Ивану Васильевичу, я еще раз перелистал дело.

Зампрокурора словно следил за мной по телемонитору. Его звонок раздался, как только я поднялся со стула.

— Прочел?

— Да.

— Зайди ко мне. С делом.

Фаиночка сосредоточенно оттачивала карандаш и, холодно взглянув на мою физиономию, на которой я попытался изобразить извинительную улыбку, молча показала на дверь.

Я вошел в кабинет.

— Давай устраивайся, потолкуем, — предложил Иван Васильевич.

«Ну, держись, Чикуров, — сказал я себе. — Сейчас будет вечер вопросов и ответов».

Начал он неожиданно:

— Мне кажется, я расстроил вчера твои планы? — Он посмотрел на мой галстук — однотонный, синий и, как сказала бы моя мать, подобедошный.

Это уже почти извинение. И на том спасибо.

— Ничего, служба...

Он кивнул. И своим негромким голосом спросил:

— Что можешь сказать?

— Все как будто правильно. Квалифицированные экспертизы. Оформлено грамотно. А если придираться...

— Например?

Я открыл папку:

— Вот постановление о судмедэкспертизе. «Могла ли Залес-

ская А. С. нанести себе смертельное ранение сама?..» Я бы так не поставил вопрос эксперту. Дано направление.

— Возможно, возможно... А в целом?

— Убедительно.

— Из документов тебе все ясно? — Он пристально посмотрел на меня. — Ты видишь живых людей по этим бумагам?

Я не догадывался, куда он клонит.

— Передо мной только документы. Выводы логичные.

Иван Васильевич усмехнулся:

— И в тебе, значит, сидит бумажная душа. А я думал — только в прокурорах... Говоришь, расследование тебя убедило?

— Иван Васильевич, вы мне дали ознакомиться с делом. Я его добросовестно прочел. Именно прочел. Если по-настоящему изучать его, наверное, что-нибудь меня и не убедит.

Иван Васильевич подумал.

— Может быть, ты и прав. Людей там не видно... — Он протянул мне бумагу: — Читай.

Документ был отпечатан на именном бланке депутата Верховного Совета РСФСР.

Директор совхоза «Маяк» Североозерского района Е. З. Мурзин обращался к прокурору республики с просьбой еще раз расследовать обстоятельства самоубийства Залесской А. С.

Письмо заканчивалось так: «Лично я да и многие работники совхоза не могут поверить в то, что Ангелина Сергеевна Залесская покончила с собой. Мы ее знали как веселую, жизнерадостную женщину, полную сил и молодого задора. Ее любил и уважал коллектив детского сада, где она работала воспитательницей, и оказал доверие, выбрав в органы народного контроля. Установление истины помогло бы снять пятно со всего коллектива работников совхоза, которые трудятся во имя Родины. Случай, происшедший с А. Залесской, бросает тень на идейно-воспитательную работу на нашем предприятии...»

— Ну и что? — спросил я, закончив читать. — Факты. Где они?

— Письмо Мурзина, вот уже факт.

— Это просто бумага. Людей я не знаю... — вырвалось у меня.

— Что ж, с ними познакомишься на месте... Ну а я как прокурор возьму на свою душу бумаги. Кстати, вот еще одна. — Он протянул мне документ, отпечатанный на нашем бланке. — Как говорится, кесарю — кесарево, а богу — богово...

Мое непосредственное руководство — заместитель начальника следственного управления отменял постановление о прекращении крылатовского дела. Расследовать его поручалось мне. Вверху стояло «Утверждаю» и загогулины подписи Ивана Васильевича. На прощание он посоветовал:

— Веди дело так, словно до тебя не было никакого расследования.

— Понятно.

Иван Васильевич поднял палец.

— Но, — сказал он, — и не забывай, что оно было...

Как только я переступил порог кабинета зампрокурора, тут же попал в канцелярскую машину. К концу дня мне был обеспечен билет на завтрашний самолет в Барнаул с пересадкой в Новосибирске, броня в барнаульской гостинице. Подразумевалось также внимание местных работников прокуратуры.

И, уже будучи не здесь, но еще и не там, я должен был решить один важный для себя вопрос: как распорядиться последним вечером перед отлетом?

Дело в том, что за полгода нашего знакомства с Надей мы еще не разлучались надолго. Служба моя непоседлива. Но по непонятным причинам судьба до сих пор щадила нас. Я не имел в последнее время продолжительных командировок. Роскошь, которую не мог себе позволить никто из моих коллег.

Мысли о необозримых расстояниях, что разделят меня с моим конструктором-модельером на бог весть какое время, поселила в душе неуютность.

Человечество кичится своими забавными игрушками — конструкциями, перемахивающими с одного места на другое с непостижимой скоростью, мгновенной передачей текста, звуков и изображения. Но оно не решило самой главной для меня сейчас проблемы: не научилось не разлучать людей, которым не надо разлучаться.

Я позвонил Наде.

— Надюша, — сказал я, когда она взяла трубку, — знаешь, я раздумал ложиться в больницу.

— Испугался?

— Нет.

— Уезжаешь? — Я вздохнул.

— Далеко?

— Очень.

— Где мы сегодня встретимся?

— Я не хочу безликие, чужие рестораны. Хочется посидеть в семейной обстановке...

— Игорь, у тебя заскорузлый, запущенный семейный комплекс... (Через ее голос прорвалась в телефонный разговор реплика Агнессы Петровны: «А что в этом плохого?»)

— Действительно, — подтвердил я.

— Что действительно?

— Что в этом плохого...

— На этот счет восточная мудрость гласит: холостяк ничего не знает, а семейный — молчит... (Замечание Агнессы Петровны: «Счастливые браки еще иногда попадаются. Все зависит от человека».)

— Надюша, заканчивая наш разговор «втроем», передай Агнессе Петровне, пусть отпустит тебя пораньше. Мне она не откажет.

...Мы направились в ресторан. Я выбрал ВДНХ. Там есть од-

но тихое, особенно в этом время года и дня, место. За прудами, возле павильона «Рыболовство».

В ресторане было тепло, но неуютно. За стеклянной стеной холодно поблескивала вода, окруженная темной, тяжелой зеленью, и напоминала о сырости и пустоте осенней непогоды.

— Игорь, ты мне сегодня не нравишься, — сказала Надя.

— Не могу разделить твоего искреннего веселья по случаю моего отъезда, — мрачно сказал я.

— Думай лучше о том, как мы снова встретимся. Давай придем опять сюда. Приятное заведение...

Я криво улыбнулся:

— Оно, наверное, будет закрыто на зиму...

— Это можно спросить у официанта.

— Надя, — сказал я, твердо и решительно посмотрев ей в глаза. — Пока меня не будет, разделайся со всеми своими старыми проблемами.

— Игорь, милый, ну почему ты любишь все усложнять?

— Вот те на! — протянул я. — Наоборот, я хочу добиться ясности и простоты...

— Неужели так трудно понять простую истину, что все сложно?

— Это чье изречение?

— Не помню. Кого-то из наших современников, кажется. И не волнуйся. Поверь, у нас все хорошо...

Ничего себе хорошо! В ее семейном положении какая-то путаница, а ей все нипочем. С мужем она не развелась, хотя фактически они не живут. Он — штурман на пассажирских международных авиалиниях. Когда-то по уши влюбился в молоденькую, красивую манекенщицу. Видимо, с годами первая страсть улеглась, и он завел интрижку со стюардессой. Что у них там в действительности произошло, я не знаю в подробностях. Надя особенно не распространялась на этот счет. Во всяком случае, она от него ушла. С сыном. Десятилетним Кешкой, которого я еще не видел ни разу.

Кешка. В нем, кажется, и было все дело. Из-за него муж Нади не дает развода. И каждый раз, когда я завожу об этом разговор, Надя старается от него уйти.

— А что думает по этому поводу Агнесса Петровна? — спросил я. — Мне кажется, ее симпатии ко мне сильнее, чем у некоторых...

— В принципе она считает, что ты отличная партия, — улыбнулась Надя. — Только удивляется, почему у тебя кооперативная квартира. Могли, говорит, дать и государственную.

— Много нас таких...

— Как это много? — искренне удивилась Надя.

— Ну, следователей...

— Но ты же по ОСОБО важным делам!

— Мне кажется, все дела важные. Дела — это люди.

— Но есть же громкие, нашумевшие преступления. Не обо всех же пишут в газетах.

— Это ничего не значит. Для каждого человека его несчастье — самое важное. Сопляк какой-нибудь совершил преступление. Так для его матери положение сына важнее всех несчастий на свете. Землетрясения в Южной Америке, катастрофа на железной дороге, да мало ли случается всякого на земле... Она ни о чем и ни о ком не думает в этот момент, кроме сына... Понимаешь, все относительно.

— Постой. — Надя все еще не могла мне поверить. — Есть еще, значит, такие, как ты?

Я от души рассмеялся:

— Нет, Надюша, ты меня время от времени просто убиваешь. Конечно! У нас в прокуратуре больше десятка. В Прокуратуре Союза. Да еще в прокуратурах всех республик. И знаешь, как нас называют? Важняк... Ты разочарована?

— Наоборот. Это хорошо... Ты меня даже успокоил. — Она посмотрела на меня, как мне показалось, виновато. — Вокруг столько молоденьких...

— Не говори глупости, — сказал я строго. Но ее ревность была приятна мне.

Слабость у Нади прошла быстро. Она как-то встряхнулась. Две складочки, появившиеся на мгновение около губ, исчезли.

— Конечно, глупости.

Чтобы окончательно ее успокоить, я весело продекламировал:

— «Для девчонок в юбчонках есть в клешах парнишки с гитарами под мышкой...»

— А ты говоришь, что нам с тобой плохо... Да, кстати. Когда ты наконец познакомишься с Кешкой?

— Именно, кстати. Разговор самый подходящий перед моим отъездом...

— Ты же не навсегда.

— Нет, конечно. Я просто удивляюсь: сколько времени мы знакомы, а ты предлагаешь встретиться с Кешкой сейчас, когда я улетаю.

— Не сердись. А мой сын — интересное создание. Свои мысли, свой мир. Представляешь, главная забота сейчас — достать небольшого удава...

Я и раньше слышал, что Кешка увлекается животными. Жил у них сиамский кот Ерофеич, попугай Ахмед, ежик Пиф и еще какая-то живность. Но удав!

— И ты согласишься жить в квартире с удавом?

— Привыкнуть можно, — сказала Надя. — Если мальчику это нравится. Просто необходимо, понимаешь...

Я промолчал. Да, ради сына она готова на все что угодно. Выходит, мне тоже придется привыкнуть к удаву?.. Ну что ж, Надя этого стоила.

Сибирь для меня — понятие совершенно определенное. Тайга, холода. Соответственно я и подобрал гардероб. Пальто, теплые перчатки.

Барнаул уготовил мне первый сюрприз прямо в аэропорту. Многие ходили в костюмах.

Второй сюрприз преподнес... родной русский язык.

В гостинице меня ждала броня. Я заполнил карточку.

— Коечка у вас будет у окна, — сказала дежурная. — Но сейчас еще тепло, не дует...

— Спасибо, — машинально поблагодарил я.

— И соседи порядочные... Агроном, врач, правда, ветеринарный...

— Позвольте, мне должны были заказать номер.

— Я получила распоряжение от директора. Вот, читайте — «койко-место».

— Не койко-место, а место.

— Вот именно, место. А не номер.

У меня перед глазами всплыла телеграмма в прокуратуру края, которую я сам составлял: «Забронируйте место гостинице...»

Я оказался в дурацком положении. Сегодня воскресенье (Новосибирский аэропорт держал нас двое суток из-за непогоды). Звонить местному начальству домой неудобно. Испортишь первое впечатление. Подумают, столичный, раскапризничался... Бог с ним, перебьюсь.

— Вы забыли тут расписаться, — вернула мне бланк администратор.

— Где?

— Вот здесь. Что освободите место по первому требованию.

— Ну, милая, вы плохо знаете законы, — разозлился я. — Выселять человека из гостиницы можно только с санкции прокурора.

— А может, еще министра? — повысила она голос. — Откуда вы это выдумали?

— Учил в институте... Кстати, об этом и по телевизору передача была.

— Мало ли что там показывают...

Довод, в общем-то, неопровержимый: показывают много.

— Могу привести соответствующую статью Гражданского кодекса... — Я постарался вложить в эту фразу как можно больше металла.

Но мой железный аргумент был сметен одним ударом. Она отобрала заполненный листок:

— Тогда ждите до вечера... На общих основаниях.

Я поставил свою подпись под актом полной и безоговорочной капитуляции.

Но она нанесла мне еще один удар:

— У вас оружие есть?

— Нет. А что?

— Мало ли... Следователь все-таки. Смотрите, в номере держать его нельзя.

— А если бы было? — усмехнулся я. — Куда его денешь?

— Это не наше дело. Вы напираете на законы. Пожалуй-

ста. — Она достала из ящика свои инструкции. — Мы тоже грамотные... — И ткнула пальцем в то место, где действительно указывалось, что в номере находиться с оружием нельзя.

Я ничего не мог сказать. Хотя и вертелся на языке вопрос: как, например, обходятся работники милиции, военнослужащие, обязанные иметь при себе пистолет? Не сдашь же его в камеру хранения?

Но этот вопрос надо было задавать не ей, маленькому исполнителю, а тем, кто составил инструкцию.

Я подумал, что есть еще требования, выполнять которые практически невозможно.

Дежурная по этажу проводила меня в номер, и я свалился в постель, чтобы наверстать две ночи полусна в аэропорту. Наутро, в понедельник, я отправился в прокуратуру. Первый визит, разумеется, к прокурору края.

Он справился, когда я прибыл, как отдохнул. О недоразумении в гостинице я умолчал — в конце концов, только одна ночь. Вряд ли я задержусь в Барнауле.

— Крылатовское дело знаю в общих чертах, — сказал прокурор. — За всем не уследишь. Вам надо поговорить с замначальника следственного отдела Кукуевым. Он в курсе. А с человеком, хорошо знающим дело, увы, не встретитесь.

— Со следователем?

— С ним. Уволился. Поступил в аспирантуру.

Прокурор вызвал замначальника следственного отдела и представил меня. Мы отправились в его кабинет.

— Что это вы решили вернуться к самоубийству Залесской? — спросил Кукуев.

— Поступил сигнал. — Я рассказал о письме Мурзина.

— Если по каждому письму поднимать дела, никаких штатов не хватит, — покачал головой замначальника отдела и, спохватившись, добавил: — Впрочем, вам, наверху, виднее. Можете, наверное, позволить себе тратить время на одно дело. А у наших следователей в производстве по пять-десять одновременно...

— Знаю, — кивнул я. — Работал в прокуратуре области.

— Значит, бывали в нашей шкуре?

— Семь лет...

В его словах послышались доверительные нотки:

— Свой, выходит... Это хорошо. Должен понять. Скажем прямо, дело-то расследовано добросовестно. Парень теоретически подкован. Плохого, наверное, в аспирантуру не приняли бы, да еще в Ленинградский университет. Так я говорю или нет? — Я пожал плечами. — Аспирантура, она требует... — Он постучал пальцем по лбу.

— Требует, — согласился я.

— Вот именно. — Он посмотрел на меня долгим взглядом, вздохнул. Как бы согласился: хочешь не хочешь, от тебя, видим, не отвертеться.

Я его понял. И предложил мировую:

— Возможно, понадобится ваша помощь.

— Группу создавать не будем, — сказал он твердо. — Людей нет.

— И в управлении внутренних дел?

— Это ради бога. — Кукуев взялся за телефон.

— Одна только просьба. Кого-нибудь из тех, кто уже принимал участие в следствии... Все-таки в курсе дела.

Он кивнул:

— Ладно, организуем. Старший лейтенант Ищенко. Двадцать лет в угрозыске. Хороший работник. Пойдет?

Я прикинул в голове: лет сорок — сорок пять. Опытный, наверное. Во всяком случае, учить не придется.

— Пойдет. Из местных?

— Нет. Но вы на это не смотрите. Край знает как свои пять пальцев...

«Наверное, рыболов или охотник», — подумал я. Обычно именно они хорошо знают местность.

В УВД края ответили, что Ищенко в командировке.

— С чего думаете начать? — спросил замначальника следственного отдела.

— Поеду в совхоз.

— Правильно, — одобрил он, — езжайте. Работайте. Может, и мы у вас кое-чему поучимся. — В его последних словах промелькнула едва уловимая ирония. — А Ищенко догонит. Это мы обеспечим, — закончил он.

Уладив в Барнауле еще несколько дел, я вылетел в тот же день в Североозерск.

Кукуев сам проводил меня в аэропорт. Пожелал успеха. На этот раз без иронии. Хотя положение его, прямо скажем, было щекотливое. Дело согласился прекратить именно он. И если мое расследование опровергнет результаты предыдущего, неприятностей не оберешься.

Правда, наперед не угадаешь. Я тоже могу не найти ничего нового. Могу и ошибиться. Все мы люди, как говорится...

Человек, который придумал изречение «любое тайное станет явным», вряд ли имел отношение к следовательской работе. А если и имел, то был зарвавшийся оптимист или просто-напросто хвастун. Надо знать, как дорого дается каждый процент раскрываемости. Есть, остаются еще за скобками благополучных цифр неумолимые единицы... Папки, которые лежат в архиве с грифом: «Хранить до...»

Это значит, что кто-то из моих коллег потерпел неудачу. Преступник оказался хитрее, или ему здорово помогли обстоятельства...

Конечно, когда я летел в Североозерск на тихоходном Ан-2, у меня и в мыслях не было, так сказать, программировать на всякий случай возможную неудачу.

Собственно, я себе еще и не представлял людей, с которыми столкнусь во время расследования. Ведь через них, их поступки, поведение ищешь истину.

Но одно я чувствовал. И это не мистика и не шестое чувство. Я даже не знаю что. У меня пропадала уверенность в том, что следователь, занимавшийся раньше делом о самоубийстве в Крылатом, поставил все точки над «и». Мне вспомнился совет Ивана Васильевича: вести дело так, словно не было до меня никакого расследования. Но я и в самом деле не забывал о том, что оно было.

Выходило, что Залесская покончила с собой в результате угрызений совести или боязни разоблачения в измене. Не бог весть какая редкая причина. Вину во всем она брала на себя.

Но может быть, ее довели до самоубийства? Тогда это преступление. Тяжкое и сурово наказуемое. В принципе следователь шел по правильному пути. Он расследовал именно эту линию. Но, внимательно изучив все материалы, я чувствовал, что мой предшественник, возможно несознательно, доказывал версию, изложенную в предсмертном письме самой Залесской.

Мне самому случалось встречаться с подобными случаями: с первых шагов факты до того завораживают, что отделаться от их убедительности или непреложности стоит огромного труда. Помимо этого, увы, кое-где проступали следы спешки. Пусть едва-едва заметно. Я их видел...

Еще. Очевидцев происшествия не было. В таком случае проверка версии убийства, по-моему, обязательна. Как бы невероятно это ни выглядело... Любое невероятное может оказаться вполне вероятным, что нередко случается в нашей профессии, берущей начало чуть ли не в Древнем Риме... Еще Цицерон заявлял: «Даже честные граждане, не смущаясь, прибегают к подлогу».

Опять же — письмо директора совхоза Мурзина. Уверен, забот и хлопот у него, как говорится, полон рот. И если этот занятый человек, депутат Верховного Совета республики, берет на себя смелость и, что очень важно, ответственность обращаться к прокурору Российской Федерации с просьбой пересмотреть прекращенное дело, тут уж действительно стоит о чем задуматься.

И пишет он не только от своего имени. Видимо, общественность совхоза тоже хочет разобраться в этой трагической истории.

Ехать в совхоз с таким настроением, чтобы, подобно Цезарю, воскликнуть «пришел, увидел, победил», я не имел никаких оснований. В конце концов, если я докажу, что мой предшественник прав, моя миссия будет выполнена.

Но так, чтобы никто не мог задать такого вопроса, на который я бы не ответил...

Самолет опустился на зеленое поле. Аэропорт Североозерска — изба. Рядом — традиционная полосатая колбаса.

Меня встретил милицейский «газик». Часа полтора хорошей гонки по не совсем хорошей грунтовой дороге. Мимо бесконечных полей, разделенных ровными квадратами лесозащитных полос.

В Крылатое добираемся в сумерки.

Большое село посреди степи, продуваемое со всех сторон. Домики из кирпича. Кое-где деревянные, финские. Утопают в садах. Главная улица хорошо освещена. Как везде — центральная площадь, обрамленная двухэтажными домами. Одинокий пес поднялся с крыльца конторы совхоза, вяло шевеля хвостом.

Прощаюсь с водителем, чтобы попасть под опеку участкового инспектора.

Евгений Линев — молодой парень, с умным, внимательным лицом. Совершенно непохожим на те, которые канонизированы в фильмах.

Участковый проводил меня в дом для приезжих. Пристройка к зданию конторы. Сторож, Савелий Фомич, сам открыл чистенькую, теплую комнату с двумя койками.

— Вы будете жить один, товарищ следователь, — поспешил заверить Линев.

— Верно, — подтвердил сторож. — Вон там у нас санузел, умывальник. Рядом — кухонька. Газу, правда, в баллонах нету. Никак не сменяют...

— Ничего, обойдусь. Столовая есть?

— А как же! — ответил Савелий Фомич.

— Но сейчас поздно, закрыто. — Линев посмотрел на наручные часы.

— Это точно, — сказал сторож. — Деревня. С курями спать ложатся. А чаек у меня готов. На плиточке. С устатку не мешает, а?

— Не мешает, — сказал я. — Спасибо.

Участковый инспектор спросил:

— Я вам нужен, товарищ следователь?

— На сегодня нет. Благодарю за хлопоты...

Он пожал плечами:

— Какие там хлопоты. Служба. — И, откозыряв, ушел.

— К молодой жене. Секретарша директора, — подмигнул сторож. — Две недели, как свадьбу сыграли... За ради нее и напросился сюда из района.

— А прежний?

— Тю-тю. Подался далече... Перевели.

«Жаль, — подумал я. — Одним помощником, знающим село и его обитателей, меньше...»

Сторож, прежде чем сходить за чаем, почесал затылок:

— Не знаю, понравится ли вам моя заварка... С мятой. По-стариковски. Для суставов полезно.

— Понравится. Моя мать тоже любила заваривать с мятой.

— Могу и чистого. Индийский у меня.

— Давайте с мятой.

Савелий Фомич принес маленький чайничек с запаянным носиком. Поставил на стол.

— Стаканы в тумбочке. — Он собрался деликатно ретироваться.

— Присаживайтесь. Вдвоем веселее.

Он подумал, потоптался. Подсел к столу.

Я нарезал краковской колбасы (что делали бы без нее командированные?).

Старик от угощения отказался. Прихлебывал из стакана, макая в чай кусочек рафинада.

Говорить о деле я с ним не собирался. Но старику не терпелось выложить московскому следователю свои соображения.

— Да, — вздохнул сторож, — в старое время девки от любви на себя руки накладывали. Если парень на другую заглядывался. Теперь проще на все смотрят. Телевизор с толку сбивает. Что ни картина, обязательно самый главный герой в другую влюбляется. А жена, значица, ему нехороша. Или наоборот, бабе мужик ее не в милость. Так, ежели распущать, кажный куролесить захочет. Мало ли что, пригожих парней да девок вон сколько ходит. Недаром говорят: в чужую бабу черт меду положил. Но соблюдать себя надо. Грех — он всегда боком выйдет...

— Вы же сами говорили, что теперь проще.

— Кому проще, а кому... Конечно, если говорить о воспитательнице, не все у нее, наверное, тут было благополучно, — он повертел пальцем у виска. — Кто же в наше время себя до этого доводит? Совесть подешевела...

— Не угодило вам нынешнее поколение, — улыбнулся я. — Ох, не угодило.

— Мне-то что. Я свое пожил. Пусть сами разбираются. Нас все равно никто не слушает.

— А вы?

— Слушали. Попробуй я отцу слово поперек сказать. Снимет штаны и за милую душу поддаст горячих. Уважение было. Дети родителей почитали. Жены — мужьев. Батька мать мою не бил, но зато его слово — закон. С малолетства приучена.

— Тоже несладко. Горькая женская доля, — подзадорил я старика. — Рабство семейное, рабство общественное...

— Ишь, словечки понасочиняли, — усмехнулся он. — Да вы-то почем знаете? Думаете, бабы только хрячили? И веселиться не смели? Еще как! На масленицу, на иванов день, на троицу какие гулянки заводили! Работали, верно, работали до семи потов. С зари до зари. Но уж если гуляли — на всю железку. И пели и плясали... А нынче... Вона, насмотрелся в клубе. Подрыгаются друг подле дружки — и айда по домам. Какие раньше пляски были! Обчие и поодиночке. «Русская», «Камаринская». А кадриль! Хе-хе. Одно загляденье. Не только для девок. И замужние от души веселились. И не так заглядывались на сторону, как нынче. Всяк свое гнездо берег. А тем более от такого парня, как завклубом...

(Муж Залесской работал в Крылатом завклубом.)

— Интересный?

— Симпатичный. Артистом прозвали. Галстук такой надевал... Ну, махонький, поперек торчит...

— Бабочка?

— А шут его знает. В обчем, культурный, обходительный. Девки по углам шептались, вздыхали всё... И что ей еще надо было, не понимаю...

— Может, ей было плохо оттого, что другие вздыхали?

— Он — мужик. Ничего здесь особенного нету. Тем паче парней у нас не хватает. Главное, он на эти охи-вздохи не обращал внимания.

— Не удостаивал?

— Говорят, шуры-амуры не крутил.

— А она внешне как?

— Что теперича толковать? Нету человека... Приятная была. Вежливая. Городская, одним словом. Жалко...

Я невольно посмотрел на часы. Дед пожелал доброго сна. И ушел в свой закуток, в помещение совхозной конторы. Я остался один на один с тишиной.

Утром меня разбудил директор совхоза. Было рано. А в Москве сейчас глубокая ночь.

Он вошел прихрамывая. Крупное, почти квадратное тело, большая голова, бритая наголо, густые черные брови и такие же усы. Пиджак слегка помят на спине, наверное, от постоянного сидения на стуле и в машине. Брюки галифе заправлены в хромовые сапоги.

— Мурзин, Емельян Захарович, — представился он. — Прошу извинить. Забежал пораньше, а то, если понадоблюсь, не поймаете, в поле закачусь. Поверите, сплю три-четыре часа в сутки. Уборочная...

Я стоял посреди комнаты в трусах и майке и со сна не мог сообразить, что мне надевать в первую очередь.

— Ничего, я понимаю... — пробормотал я, берясь то за рубашку, то за брюки, то за пиджак.

— Так вы ко мне сейчас зайдете?

— Да-да, конечно.

...Несмотря на ранний час, в конторе было много народу, хлопали двери, стучала пишущая машинка, кто-то громко требовал по телефону ветеринарную лечебницу.

В кабинете Мурзина прохладно и чисто. Погода осенняя, но все окна настежь. На столе — алый вымпел «За первое место в соревнованиях по футболу Североозерского района Алтайского края».

— Устроились ничего? — спросил он, когда я сел.

— Нормально.

— Правда, у нас не такой комфорт, как в городе... Но думаю, наверстаем. Ванную соорудим, телевизор поставим. Хорошо, правда?

— Правда, — кивнул я.

— Значит, с жильем в порядке?

— Да, конечно.

— Ну, тогда приступим к делу.

— Я слушаю.

— Вы скажите, что вас интересует. Постараюсь ответить.

— Прежде всего: у вас должны быть основания, если вы написали письмо в прокуратуру... Какие?

Он хмыкнул, провел пятерней по гладкой голове — от затылка ко лбу и обратно.

— Трудный вопрос вы задали. Так сразу и не ответишь.

— Вас не удовлетворили результаты проведенного следствия?

Мурзин покачал головой:

— С одной стороны, сомневаться в вашей работе я как бы не имею права. Вы свое, я свое. Но если подумать, конь о четырех ногах и то спотыкается. Верно я говорю?

— Все мы люди, — развел я руками.

— Вот именно. Я тоже человек. Но и руководитель. Депутат к тому же. Ходят слухи в совхозе, что нечисто тут дело. Болтают даже, будто следователя подкупили... Который месяц пошел со дня смерти Залесской, а все успокоиться не могут. Судачить людям я запретить не могу, верно я говорю? — Я кивнул. — Ну, я скажу, что это все сплошная чепуха, выдумка, парторг скажет, Иванов, Петров, Сидоров. Так ведь не поверят. Надо им убедительно доказать, на фактах: воспитательница действительно покончила с собой или нет. И если да, то почему. Мало ли бывает ошибок. Одна комиссия приедет — вроде гладко, другая приедет — все наоборот, сплошные непорядки. Верно я говорю? — Я опять кивнул. — И еще. Руководитель совхоза кто? Я. А может быть, что-то проглядел, упустил? Может быть, человеку худо было, а мы прошли мимо, вовремя не поддержали. Видите, сколько аспектов в этом вопросе?

— Ну что ж, я вас понимаю...

— Погодите. Ну, несознательный элемент — это одно. Им, может, объясняешь, объясняешь, и все попусту. Вбили в голову. Но когда к вам приходят сознательные люди, коммунисты, комсомольцы, и говорят: не верим, что Залесская могла пойти на самоубийство. Я им должен ответить что-то конкретное. Верно я говорю?

— Вы можете сказать, кто именно приходил?

— Конечно. Заведующая детским садом, кандидат в члены КПСС, раз. — Он загнул палец. — Воспитательница того же детсада Завражная, два. Комсомолка. Между прочим, ближайшая подруга Залесской. Мамаши приходят, чьи дети воспитывались у Залесской. Да-да, приходят. Среди них хорошие, честные работницы. Это не какие-нибудь бабки с завалинок. Я одной говорю, что органы следствия свою работу знают, не доверять им мы не имеем права. Другой...

В дверь заглянула секретарша. Ей-богу, прямо девчонка из седьмого-восьмого класса. Вот ради кого Женя Линев осел в совхозе. Да и сам участковый выглядел очень молодо.

— Емельян Захарыч, район, — виновато произнесла она.

Мурзин сказал мне «извините» и схватил трубку одного из трех телефонов.

— Да, слушаю. Какое утро? Я уже скоро обедать собираюсь. Это вы там только что встали... Идет нормально. Надо спра-

виться у Ильина. Он даст самый точный процент, до сотых включительно. — Мурзин некоторое время поддакивал в трубку, изредка поглаживая бритую макушку. Про себя я уже назвал его Котовским. — А нельзя без меня? Если вам все равно, пошлю Ильина. Будь здоров.

Он с треском опустил трубку и стал вертеть диск другого аппарата.

— Объясняю... Кто это? — спросил он по телефону. — Николай Гордеевич у вас не объявлялся? Куда уехал? — Директор нажал на рычаг и снова стал набирать номер. — Выходит, надо заново все поднять. Чтобы люди наконец успокоились. Верно я говорю? — Он махнул рукой: сейчас, мол, продолжим... — Николай Гордеевич, насилу тебя разыскал. Ты уж не в службу, а в дружбу, надо быть в районе к часу у второго секретаря. Я бы мог, да ты им выложишь все как на тарелочке. Не забудь про транспорт. Рогожин, анафема, опять будет клясться, что выслал двенадцать, а прибыли восемь. Сам проверял сегодня. И один шофер пьян в стельку. Кто его знает, со вчерашнего или уже с утра успел приложиться? Это подчеркни особо. Уже третий случай. Шенкелей этому Рогожину, шенкелей. Я заеду, не беспокойся. — Он закончил телефонный разговор. — Вы спросите почему? Много я видел. И войну прошел. Как бы худо ни было, а человек стремится прежде всего жить. Невмоготу, кажется, уж лучше сдохнуть, чем такая жизнь, а все-таки помирать не хочется. А тут... Или я чего-то не понимаю, или ненормальность какая-то. Да ведь с виду нормальная, жизнерадостная. Погубил себя, выходит, человек, похоронили, а виновных нет, верно я говорю?

— Что я могу вам сказать, Емельян Захарович?.. — Пока директор совхоза разыскивал этого неуловимого Ильина, у меня потерялась нить беседы. — В настоящее время я знаю не больше, чем следователь, который вел расследование до меня. От вас слышу только общие рассуждения, хотя они мне понятны. По-человечески, по-граждански...

— А что? Вы хотите, чтобы я указал виновного? Я его не знаю. Может, я виноват. Обидел чем-то ее. Не создал условий. Может, Иванов, Петров, Сидоров...

— Залесская обращалась к вам с какой-нибудь просьбой?

— С просьбой — нет. А когда ее выбрали в группу народного контроля, пришла. Говорит, не справится, мол. Я ей говорю: справишься, актив поможет. А кто ее знает, может, она кого обидела или ее... Верно я говорю?

— Постойте, она раскрыла какое-нибудь крупное хищение или злоупотребление?

— Что значит крупное? За это тянут к вам. Так, мелкие недостатки.

— И все-таки подробнее, пожалуйста.

— Я уж и не припомню всего.

— Выходит, у нее были враги?

— Не знаю. В этом как раз и следует разобраться...

В дверях появился заспанный, растрепанный человек.

— Звали, Емельян Захарыч?

— Звал, Еремеев, звал. — Мурзин поморщился. — Причесался бы для порядку. Стыдно...

— Ладно уж, мои вороные-пристяжные не обидются...

— Перед людьми стыдно. Вот что, если опять из Песковского пруда будешь воду возить, поставлю навоз чистить!

— Так звон какого кругаля давать...

— Надо будет, так и за двадцать верст ездить будешь! Это тебе не свиньи, а люди! Верно я говорю?

Мужчина провел рукой по взлохмаченной голове и медленно вышел из кабинета.

— Вот так работаем, — покачал головой директор совхоза. — Пока сам носом не ткнешь, не слушаются... Ну, какие еще у вас вопросы? Давайте уж все выяснять.

Я улыбнулся:

— Ну, сразу так, наверное, не получится.

— Ясное дело.

— Залесская упоминала в предсмертном письме о своей связи с кем-то. Может быть, это был кто-то из работников совхоза? У вас нет никаких предположений?

Мурзин посуровел:

— Хотел я и об этом. Прокурору не писал. Не по назначению, если так можно выразиться. Но вам сказать считаю нужным... Не везет нам с главными агрономами. Один не поладил с районным начальством. Уехал. Другой. Пащенко, покрутился немного, посчитал, условия для него не те. Перспективы, мол, нет. И был таков. О нем я не жалею, рад, что избавился. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Наконец, приехал Ильин. Николай Гордеевич. Не жалуюсь, работник хороший. Боюсь, и его выживут. Плюнет на все, уедет, тогда что?

— Почему?

— Болтают, что Залесская имела в виду именно его.

— Предположим, вдруг действительно он?

Мурзин ответил резко и категорически:

— Не верю!

— Тогда что ему бояться?

— Сплетни могут кого угодно довести. Верно я говорю? Зачем человеку ронять авторитет?

— Возможно. Я Ильина не знаю... А он давно у вас работает?

— Сейчас скажу. С марта. С ним посевную провели. Не знаю, что там другие, а я ему верю.

— Если не Ильин, как вы говорите, то значит — другой. У вас подозрений нет?

— Не-не-не. Тут, помимо наших, приезжие бывают, не уследишь. Летом студенты помогали строить. Из Томска. Коровник поставили. Не видели? Покажу. Чудо будет. Студенты — народ молодой, горячий. Еще механизаторы из других мест. Рабочих рук не хватает...

— Значит, местных, своих вы исключаете?

— Об этом я не говорю. Но если бы наш, пошли бы разговоры. Все знают друг друга...

— Вы же не доверяете сплетням...

Емельян Захарович усмехнулся:

— И то верно. Действительно. На чужой роток не накинешь платок. Короче, не знаю. Напраслину возводить не буду.

В конце нашей беседы Емельян Захарович поинтересовался:

— Вы где думаете свою резиденцию организовать? Понадобится небось помещение, чтоб с людьми говорить?

— Скорее всего в комнате милиции... — неопределенно сказал я.

— Зачем вам там тесниться? Могу предложить рядом, через две двери, кабинет главного зоотехника. Пустует.

— Так сказать, зоотехник устроился поближе к производству...

— Кадры — больной вопрос. — Он вдруг улыбнулся: — Как следователь, помогите подыскать специалиста.

— Кого я обычно ищу, вам не подойдет...

— Да, работа у вас не из веселых...

Мурзин стал поглядывать на часы.

— За один раз нельзя объять необъятное, — поднялся я. — Надеюсь, у нас еще будет время встретиться.

— У вас-то да. У меня оно на вес золота. Для меня самые подходящие часы или утром, часиков в пять, или вечером, где-то около двенадцати.

— Ночью?

— Мне ночью удобнее. Сами видели, все время отрывают. А нужна тихая, спокойная обстановка. Верно я говорю?

— Ладно, значит, еще встретимся, — сказал я. — Кстати, оформим нашу беседу.

— Как вам нужно. Я от своих слов не отказываюсь... Только, ради христа, не сейчас. Спешу.

Емельян Захарович распорядился, чтобы мне открыли кабинет главного зоотехника. Секретарша директора вытерла пыль. Принесла горшок с цветами.

— Вечером, после работы, придет уборщица и вымоет все основательно.

На небольшом письменном столе под стеклом — прошлогодний календарь. Со стены улыбается румяная девушка в белом халате и косынке. Из-под ее полной руки сердито смотрит бурая корова. «Соблюдай чистоту на рабочем месте!» — призывает плакат.

Но рассиживаться я не намеревался. Такое уж у меня правило: поначалу исходить все своими ногами, пощупать своими руками, увидеть своими глазами.

И, прихватив в качестве понятого Савелия Фомича, который с охотой взялся за это, отправился осмотреть место происшествия.

С закрытыми ставнями, с потеками по углам, дом производил впечатление заброшенности и беспризорности.

— Пустует? — спросил я у Савелия Фомича.

— Не идут. Суеверный народ, — покачал он головой.

— Богато живете...

— И домишко жидковат. Сборно-щелевой... Так прозвали их. Щитовой, значит. Поставили с десяток, когда совхоз создавали. Конечно, сразу с жильем туго было. Тут уж не глядели. Теперь обстраиваемся солидно.

— Нам бы еще одного понятого. Такой порядок.

Я огляделся. Улица была пуста. Только по разбитой дороге ехал грузовик. Я уже хотел остановить, чтобы попросить шофера быть понятым. Но вспомнил: уборка. И опустил руку. Савелий Фомич заметил мой жест. И сказал:

— Пенсионерка напротив проживает. Наверняка дома...

Пенсионерка, оказывается, уже с большим вниманием наблюдала за нами из своего окна. Быть понятой согласилась не сразу. Савелию Фомичу пришлось пустить в ход все свое красноречие. Особенно он напирал на то, что я — «следователь московский».

— А в Москву меня не потащут? — с опаской спросила старушка. — Вон мою сноху в Барнаул вызывали.

— Нет, бабушка, не вызовем, — успокоил я ее. — И вообще никуда ехать не придется.

— Ну, тогда еще можно. Поездов я боюсь, — призналась она. — Да и внучат не на кого оставить.

Я обошел дом. Понятые двигались сзади, соблюдая дистанцию в два-три шага.

Участок зарос репейником, дикими цветами. Они издавали острый, пряный аромат.

Желтые зонтики напомнили мне мой дом. Мать приносила целые охапки цветов, которые якобы отпугивали тараканов, мух и прочих насекомых. Разложенные под шкафом, кроватями, по углам комнаты, зонтики сохли, рассыпались в порошок. Их выметали, заменяли свежими. Потом я где-то вычитал, что растение это называется еще пижмой.

Прусаки не хотели признавать ее зловредного запаха и невозмутимо бегали по полу, не боясь ни света, ни людей. Повод для отца лишний раз подтрунить над матерью.

Когда мы подошли к крыльцу, мой взгляд выхватил среди травы, прокравшейся к самому фундаменту, несколько яркокрасных цветков. Нагнувшись, я разглядел кустик гвоздики, отчаянно боровшейся с повиликой. Если цветок не выручить, на следующий год его обязательно забьет сорняк.

— Покойница посадила, — вздохнула старушка. И я понял, что речь идет об Ане Залесской.

— Теперь внутри? — нетерпеливо спросил сторож.

— Нешто в доме темно... — неуверенно сказала старушка.

Я отворил ставни, едва державшиеся на петлях. В дом вошел последним.

Маленькая прихожая заканчивалась кухонькой. Две комнаты. Первая — побольше. Совершенно пустая.

Залесскую нашли во второй, служившей, видимо, спальней. Я ее знал по фотографиям в деле.

Здесь стояла одна только голая кровать. Допотопное сооружение со спинками, выкрашенными под дуб, со звонкой панцирной сеткой.

Рядом со спинкой, у стены, находилась тумбочка. На ней обычно лежала бритва, которой Залесский, по его показаниям, поправлял виски.

Окно из спальни выходило на задний двор.

Везде тонкий слой пыли.

Я осмотрел то место возле кровати, где была обнаружена Залесская.

Понятая негромко кашлянула:

— Крови не найдете, товарищ следователь. Я сама мыла на другой день, как Анну увезли...

— Да? — машинально сказал я, подымаясь.

— Все сама. Валерий Георгиевич попросил по-свойски, по-соседски. Я и простынку стирала, и наволочку...

— Еще что? — Я осекся: сейчас она только понятая.

— Пододеяльник...

— Хорошо, — остановил я ее.

Окна изнутри запирались не на шпингалеты, а на крючки. Широкие форточки.

В деле, которое я знаю почти наизусть, моим предшественником записано, что окна были закрыты, форточки — открыты. Лето...

В кухонном закутке имелся небольшой встроенный шкафчик без полок. В нем — запыленные бутылки. Иностранные, в магазине не принимают. Старая соломенная шляпа.

— Валерий иногда надевал, когда возился на участке, — прокомментировала старушка.

Еще имелось несколько истрепанных газет и журналов. «Сельская молодежь» полугодовой давности, «Иностранная литература», «Новый мир».

Я перелистал их. Из «Нового мира» выпала школьная тетрадь. Вернее, то, что от нее осталось, — обложка и двойной листок. Не та ли, из которой Залесская вырвала бумагу для последнего письма? А может быть, и другая.

Да, разжиться следователю, прямо скажем, нечем.

Тетрадку я на всякий случай забрал.

Замок входной двери обычный, врезной. Он закрывался с трудом. Савелию Фомичу пришлось попыхтеть над ним.

— Что значит заброшенная вещь, — вздохнул он. — Без руки хозяйской и железо чахнет.

Было непонятно, к чему это относилось: к безалаберности бывшего владельца, Залесского, или к заброшенности дома.

И все-таки в протокол осмотра места происшествия эту де-

таль я вставил. Теперь надо фиксировать каждую мелочь. Пригодится она или нет, никогда не угадаешь.

Покинув пустой, прямо скажем, мрачноватый домик, я отправился в детский сад.

Директор совхоза назвал имя Марии Завражной. Ближайшей подруги Залесской.

Ее показаний в деле не было. Все-таки странно вел дело следователь. Как можно было обойти такого человека? Наверняка ведь он знал об их отношениях с умершей...

Я зашел к заведующей детсадом, представился. И пока она ходила звать Завражную и улаживала вопрос, с кем на некоторое время оставить ее малышей, я быстренько прикидывал в голове план предстоящего разговора. Для меня знание собеседника, пусть даже мало-мальски пригодного для выяснения фактов и обстоятельств, — дело первостепенной важности.

Нет двух людей, которые бы совершенно идентично зафиксировали все детали одного и того же происшествия. Если даже они были непосредственными очевидцами события. Все зависит от психологии, человеческой фантазии и личной установки.

Мать моя любила приговаривать: всякая побаска хороша с прикраской. И вот эта самая прикраска присутствует везде непременно, хотим мы этого или нет. Это и настроение, и отношение к тому, о чем говоришь, и какие-то ассоциации, воспоминания, а то и просто неправда.

Самое удивительное, что искренние, правдивые люди бывают иной раз для меня труднее и мучительнее тех, кто врет и путает заведомо. Раз показавшееся может представиться им истиной. Они на ней настаивают. И как прорваться, как отшелушить дорогую «прибаску», если она как бы образ события?

У того, кто хочет скрыть истину, все придумано. И эта ложь в ходе соприкосновений с фактами и уликами обязательно терпит поражение.

Но ложность показаний, как бы они ни были продуманы и пригнаны преступником, входит в противоречие с реальными фактами, которые произошли в жизни...

Мария Завражная вошла несмело. Пристроилась на краешке стула. Молодая. Не больше двадцати. Красива по-деревенски. Крупные и в то же время мягкие черты лица. Челочка закрывала левый глаз, и девушка непрестанно ее поправляла. Почти все время ее рука, широкая, с нежными пальцами, была у лица.

— Машенька, — я невольно употребил ласкательное имя, — вы не волнуйтесь. Посидим, поговорим спокойно...

— Да, да, поговорим. А я не беспокоюсь.

— Вот и отлично. Как там без вас, детишки не набедокурят?

— Нет, они славные. Заведующая пока с ними.

— Трудно с малышами?

— Мне с ними хорошо... — Она почему-то все время старалась смотреть не на меня, а прямо перед собой.

— Что у вас, призвание к этой работе?

— Не знаю. Никто из родителей не жалуется как будто.

— А дети? — пошутил я.

— Они славные, — повторила Завражная.

— Вы специально учились?

— Сразу после школы пошла сюда.

— Понятно. И уже кое-какой навык, конечно, появился, профессионализм?

Завражная промолчала, пожав плечами.

— А как подруга ваша, Аня Залесская, быстро освоилась? — осторожно спросил я.

— Быстро. — Завражная вздохнула. — Дело несложное. Главное, хорошо относиться к людям. — Маша сделала на слове «людям» ударение.

Упоминание о Залесской не внесло в настроение девушки сколько-нибудь заметного изменения. Напряжение осталось. Но почему?

— Вы с Аней подружились быстро?

— Она славная была...

— Понимаете, Маша, меня интересуют малейшие детали ее поведения, настроения. Постарайтесь припомнить то, о чем я буду спрашивать.

Завражная нервно поправила челку.

— Как вы с ней сошлись? Легко, хорошо?

— Она славная...

Вот упрямая девка! Заладила одно и то же.

— У вас были общие интересы, разговоры? — спросил я, быстро подавив раздражение.

— Вот, детишками занимались... Ну и о жизни, само собой, говорили...

— И как же ей жизнь была, в тягость или в радость? — решил я попробовать напрямую.

— Всякое случалось. Как у всех.

— Были огорчения?

— Без этого не бывает.

— По какому случаю, не помните?

— Помню. Сережку своего как вспомнит, ну и... Сколько с чужими не возись, к своему еще сильнее тянет.

— Значит, по сыну тосковала?

— Очень.

— А почему его отправили к родителям мужа, не говорила?

— Почему же, говорила. Они, значит, когда с Валерием Георгиевичем сюда собрались, отправили сынишку на время туда, в Одессу. Не знали, какие условия, как обживутся...

— Ей нравилось здесь, в Крылатом?

— Говорила, что неплохо.

— А сына хотела забрать?

— Хотела. Все мечтала, как родит второго, так и Сережку заберет. Вместе, говорит, веселее.

— У нее был диплом агронома. Чем она объясняла, что пошла работать в садик, не по специальности?

— Валерий Георгиевич присоветовал. — Имя Залесского Маша произносила с уважением.

— Слушалась она его, выходит.

— Выходит.

— Вы не знаете, у них были ссоры?

— Может, и были.

— Она не говорила?

— В семье всякое бывает...

— А вы не заметили в ней ничего, перед тем как она...

Завражная грустно покачала головой:

— Обычная была.

— Припомните, пожалуйста, последний день, когда вы с ней виделись?

— В тот самый и виделись. Весь день. Вместе ушли с работы.

— Может, она вела себя необычно?

Девушка задумалась.

— Нет. Ничего такого не припомню. — Поправила челку и повторила: — Не помню.

— Как у нее сложились отношения с людьми, коллективом?

— Ладила. Не ругались.

— А с директором совхоза?

— Наверное, тоже.

— Маша, что вас толкнуло пойти к Захару Емельяновичу? — Девушка встрепенулась. — Ну, когда вы сказали ему, что не верите в самоубийство Залесской?

— Пошла... Пошла, конечно... Непонятно все это. Получается, что ни с того ни с сего... — Завражная говорила сбивчиво. — И Сережку жалко... Валерий Георгиевич очень тосковал. Оградку поставил и уехал... За один день все прахом... Вот и пошла...

— Может быть, у вас все-таки есть какие-то соображения, подозрения?

— Ни с того ни с сего получается... — повторила Завражная.

Да-а, вот и поговорил с ближайшей подругой Залесской. В голове мало что прояснилось, а в душе осадок. Ключа к девушке не подобрал. И удастся ли подобрать? Даже не знаешь, кого винить — себя или ее. А может быть, никого? Есть люди, показания которых стоят очень мало. Их внимание слабо фиксирует события, происходящие вокруг.

...Около двенадцати ночи ко мне зашел Мурзин. Он тяжело сел на стул и некоторое время растирал колено обеими пятернями.

— С утра ничего. А к вечеру прямо огнем жжет, — сказал он, как бы извиняясь. — Ну, давайте, что там надо подписывать.

Я дал ему протокол допроса. Емельян Захарович достал очки и стал читать медленно и внимательно запись беседы. Внизу каждой страницы ставил подпись — полностью фамилию. На лице — никаких эмоций. Словно газету просматривал. Кончив читать, ни слова не говоря, написал на последнем листке:

«Протокол мною прочитан. Показания с моих слов записаны правильно. Право делать замечания, подлежащие занесению в протокол, мне разъяснено. Е. Мурзин».

Я был озадачен его осведомленностью в нашей казуистике.

Директор совхоза снял очки, положил в футляр.

— Вот вы спрашивали, почему я написал письмо прокурору республики. Иной раз погубить человека — проще простого. Грубо обойтись. Забыть на какое-то мгновение, что перед тобой живая душа. Что, например, с одним моим другом произошло? Много мы вместе вынесли, хлебнули горя — на сотню бы хватило. И в войну тоже. Я получил пулю в правое легкое. Его засыпало. Контуженный, две недели лежал. Потом опять встретились в одной роте. До Праги дошли вместе... Мне что, я лихой кавалерист. А он на нервах держался. Голова — не чета многим теперешним профессорам. Но ничто не проходит даром. Сам иной раз удивляюсь, как это я после всего кручусь, дела какие-то делаю, радуюсь, кого-то ругаю, снимаю стружку, детей нарожал, внуков нянчу... А у него отложилось, — Емельян Захарович покрутил пальцами возле виска. — Душевное смятение. Тоска. Мне жена его писала. Тоже скажу вам, выстрадать столько и держаться настоящим героем... Короче, заболел человек. Она его с трудом уговорила пойти к врачу. Что в таких случаях делать надо? Поднять настроение, создать обстановку, послать на курорт, в санаторий, я не знаю, куда еще там. Посоветовать чем-то заняться. Лыжи, рыбалка, может быть, цветочки разводить. Ведь отвлечься можно чем угодно. Врач вместо всего этого говорит: «Мы вас можем поставить на учет, сообщим на работу, а они там уж пусть сами делают выводы». А он к тому времени опять был в зените славы. Нет, вы можете себе представить, как это подействовало на него? Выходит, врач не оставил ему надежды... Удивительно, где были люди, что трудились рядом? Я бы во все колокола звонил. Окружил бы его соответствующей обстановкой... Потом, когда его не стало — он наложил на себя руки, — возносили до небес. Кого, мол, потеряли, невозместимая утрата... Жаль, я обо всем узнал слишком поздно. Человека уже не было. Но все равно так дела не оставил. Написал в Минздрав... О враче...

— Ну и как отреагировали на ваше письмо?

— Врача от работы отстранили. Такого психиатра не только к больным, к нормальным людям нельзя на пушечный выстрел допускать. Видите, невнимание иной раз оборачивается трагедией... Нельзя быть равнодушным. Вот только получается у меня не очень весело: второй раз пишу, когда человека уже нет. — Он поднялся: — Я вам больше не нужен сегодня?

— Спасибо, что зашли. Не забыли...

— Таких вещей я не забываю.

Мы простились. Мурзин вышел, припадая на ногу сильнее обычного.

Признаться, судьба этого человека меня заинтересовала не на шутку. Хорошо бы разузнать о его жизни подробнее...

В женскую консультацию в Североозерске, где Залесская состояла на учете, я поехал рано утром. Перед отъездом я попросил участкового инспектора Линева разыскать Коломойцева, совхозного шофера, который был у Залесских дома за несколько часов до происшествия, чтобы назавтра с ним побеседовать. Круглые сутки шел хлеб. У всех сейчас горячая пора. Что говорить о шоферах...

Обследование Залесской проводила сама завконсультацией Мамбетова.

Врач перелистала историю болезни умершей и сказала:

— Теперь я вспоминаю пациентку совершенно отчетливо. Знаете, это профессиональная особенность. Для нас история болезни — лицо человека. Залесская переносила беременность нормально. Вы знаете, очень важно, если первый ребенок родился рано. Женскому организму материнство не вредит, а помогает. Если нет, конечно, патологических отклонений. Точно установлено: чем больше детей, тем меньшая вероятность заболевания раком.

— Как у Залесской было со здоровьем?

Мамбетова листала карточку и словно читала жизнь человека:

— В детстве развитие нормальное. Как у всех — корь, свинка, коклюш. Аппендицит вырезан в шестнадцать лет. Серьезных заболеваний не было. Первая беременность в двадцать — это нормально, даже хорошо. Протекала без отклонений. Родила в срок. Роды нормальные. Кормила сама до девяти месяцев. Дальше все в порядке. Ни одного аборта. Вторая беременность — в январе этого года. На втором месяце небольшой интоксикоз. Явление распространенное. — Завконсультацией закрыла историю болезни. — Сейчас бы она имела уже второго ребенка. Думаю, здорового... Какая трагическая нелепость... Оставить сироту, погубить себя и так и не появившуюся на свет еще одну жизнь...

— Хадиша Мамбетовна, когда к вам Залесская обращалась в последний раз?

— Это легко установить. Последнее посещение — 27 июня.

Я прикинул — меньше чем за две недели до смерти.

— По какому поводу?

— Очередное обследование. Да и приходило время думать о декретном отпуске.

— Как вы считаете, у нее все было нормально в смысле здоровья, настроения?

— По-моему, да. Беременность развивалась без отклонений. Все анализы в норме. Я еще удивилась, когда она спросила, нельзя ли сделать аборт...

— Что вы ответили ей на это?

— Ответила как врач. Во-первых, мы всегда убеждаем оставить ребенка, во-вторых, никакой врач не взялся бы сделать ей аборт. Разве что в самом крайнем случае. Это ведь почти созревший плод. Около семи месяцев. Недоношенные, семимесяч-

ные, и большинстве случаев теперь вполне нормально развиваются...

— Она настаивала?

— Настаивала. Но я ее попыталась отговорить. Впрочем, женщина она культурная, могла знать сама. Ну а потом...

— Вы как врач считаете в таком случае ее поведение нормальным?

— Она, в общем-то, производила впечатление уравновешенного, не угнетенного чем-либо человека. Но кто знает? То, что она говорила об аборте... У женщин в ее положении особенно чувствительная нервная система. И психические отклонения вполне возможны. У одних они протекают не ярко выраженно, у других могут принять опасный характер...

— Могла ли она покончить с собой в результате, как вы выразились, психических отклонений на почве беременности?

— Категорически исключать невозможно.

— Когда точно она забеременела?

Врач развела руками:

— Точно мы можем сказать, когда ребенок уже родится.

— А в период беременности?

— Возможна ошибка в две недели. В ту и другую сторону.

— Как по документам?

Мамбетова снова заглянула в карточку:

— Январь. Но возможно и декабрь...

Вопрос о сроке беременности я уточнял не просто так. В январе Залесских еще не было в Крылатом. Они жили далеко от этих мест, в городе Вышегодске Ярославской области.

В предсмертном письме меня давно уже занимало одно место: «Если бы я даже и смогла перебороть себя, очиститься, постараться стать лучше, это невозможно. Все время рядом будет находиться напоминание о моем предательстве по отношению к тебе...»

Что может служить напоминанием? Само воспоминание об измене. Это вариант вполне возможный. Судя по стилю письма, Залесская мыслила довольно образно.

Второе — какая-нибудь вещь. Но от вещи всегда можно избавиться.

Остается третье — человек. Скорее всего так и не родившийся ребенок. Может быть, Залесская считала, что отцом его является не муж, не Валерий Залесский? В таком случае проясняется ее просьба об аборте. Последняя возможность устранить фактор мучительного, раздвоенного существования. За две недели до рокового шага...

Но почему же тогда она не избавилась от беременности раньше, когда позволял срок?

Причин может быть много. Боязнь. Ей бы пришлось это делать впервые. Нравственные колебания. Сомнение — от Залесского или нет будущий ребенок. Наконец, обыкновенная человеческая нерешительность. Как можно дальше оттянуть решение больного вопроса...

Рано утром следующего дня я сидел в кабинете главного зоотехника. Приходилось подлаживаться под совхозный ритм.

Так же сурово глядела на меня буренка из-под руки доярки.

Секретарша Мурзина, зашедшая узнать, не нужно ли мне чего, спохватилась:

— Я же говорила, чтобы сняли это. — Она приставила к стене стул, чтобы убрать плакат.

— Оставьте, не мешает, — остановил я.

— Несолидно вроде бы... — сказала она нерешительно.

— Почему же? — Я улыбнулся. — Любое рабочее место надо содержать в чистоте.

Секретарша ушла, пожав плечами.

Коломойцев был вызван на восемь часов. Явился он в десять.

С первого взгляда этот парень производил странное впечатление. Шляпа с небольшими, загнутыми вверх полями, и при этом — замасленная куртка, штаны с пузырями на коленях, заправленные в сапоги. Сапоги же — шевро, надраенные до блеска. Как он сохраняет их в чистоте на разбитых, грязных дорогах? Я поинтересовался.

— Я же в машине, — ответил он, несколько озадаченный моим вопросом, и сказано это было таким тоном, будто ездил он на «Чайке» по вымытой, чистой Москве.

Длинные, спутанные волосы, чуть подкрашенные. И прямо-таки дворянские баки и усы — холеные и аккуратно подстриженные. Кисти рук тонкие, длинные, но загрубелые от баранки, черные от машинного масла. Во рту — погасшая трубка...

Во всем его облике, где соседствовали крайности, пожалуй, самым примечательным являлись глаза. Светло-голубые, при сильном освещении они светлели еще больше и казались прозрачными.

Во всяком случае, шофер совхоза «Маяк» выглядел необычно.

Я попросил его рассказать о том злополучном вечере, когда они выпивали в доме Залесских, а потом у него.

— Вы считаете, — спросил он, поглаживая бритый подбородок, — если бы мы не выпили, Аня не решилась бы на это?

— Меня интересуют подробности. Детали.

— Но я уже рассказывал...

— Повторите, пожалуйста, еще раз.

— Знаю, — усмехнулся он, пыхнув погасшей трубкой, — ловите на деталях.

Я пропустил его замечание мимо ушей.

— Изложите, пожалуйста, последовательно, как все происходило.

— Днем встретил возле клуба Валерия. Он сказал, заходи, посидим, мол. У меня, то есть у нас, и в мыслях не было напиваться.

— Но водку принесли ведь вы.

— А как же с пустыми руками? Что, духи нести или подарок? Не день рождения, а просто так...

— Хорошо, дальше.

— Ну, сели. Аня, помню, сготовила в тот день борщ и котлеты. Незаметно выпили всю бутылку. Под хорошую еду.

— Аня пила с вами?

— Кажется, рюмочку. От силы — две. Валерий упросил.

— Но ведь она была в положении все-таки...

— Рюмку-то! Валерий твердил, что если пить вино, то ребенок родится красивым...

— Ладно. Выпили. Маловато для настоящих мужчин...

Коломойцев улыбнулся:

— Вы сами подсказали нужную мысль.

— Нет, это ваши слова...

— Может быть, может быть. Я, честно признаться, инициативы не проявлял. В гостях же, а не у себя. Валерий хотел еще. Аня, естественно, против. А мне каково? Я их уважаю одинаково. Оба стоящие ребята. Поддержи одного — другой обидится. Сижу, не выступаю.

— Наверное, можно было послушаться беременную женщину, как вы считаете?

— Да, виноват, смалодушничал. Должны понимать: мужская солидарность... Короче, Валерий предложил пойти ко мне.

— Подождите, они сильно поругались?

— Что вы! Интеллигентные люди. Она говорит, пожалуйста, мол, идите, просто ей неприятно на это смотреть.

— Понятно. Ну а Залесский?

— Неужели вы думаете, что он грубил или хамил? Все тактично. Он выступил, что надо, мол, еще выпить, чтобы освободиться от стресса, очистить мозги. Я, говорит, тебя понимаю, пойми и ты меня. С тем и пошли... Я считаю, что так и должно быть среди современных людей. А?

— Много вы еще выпили?

Коломойцев болезненно поморщился. Напоминание о выпивке раздражало его.

— Понимаете, наверное, во всем виноват спирт.

— Вы хотите сказать, доза принятого спирта?

— Не-е-ет. Какой-то он был нечистый. С запахом. Может быть, в плохой посуде был. Валерий обычно держался. А тут — как обухом по голове. Отключились. Куда уж ему домой. Только травмировать Аню. И еще плохо ему стало.

Коломойцев говорил быстро, проглатывал окончания. К тому же шипящие он произносил с присвистом. И я иногда с трудом улавливал смысл.

— Вы говорите, что ему стало плохо? — переспросил я.

— Простите за натурализм. Рвало. Среди ночи.

— А вы как?

— Худо. На следующий день я его вылил к чертовой матери, — сказал он таким решительным тоном, что не оставалось никакого сомнения: спирт был вскоре допит до капли.

— Долго вы сидели?

— За полночь. — Он подумал. — Может быть, раньше, может быть, позже, знаете, как под этим делом...

— Не знаю.

Он усмехнулся. Пососал трубку.

— Ну да...

— Что «ну да»?

— Совсем, что ли, не потребляете?

— Нет.

— Теперь понятно, — сказал он загадочно.

— Что вам понятно?

— Вы все время выступаете насчет выпивки...

Я улыбнулся:

— Мне кажется, вас этот вопрос задевает...

— Ничего подобного. Выпиваю как все. Не больше других. В наше время без этого не обойтись.

— Вы так считаете?

— У людей теперь все чаще наступает стрессовое состояние. Чем его можно снять? Немного выпить... В США, например, ищут заменитель алкоголю. Проблема!

— Вы же шофер.

Коломойцев закинул ногу на ногу.

— Ну и что? Почему-то творческим работникам это разрешается. Им это необходимо для вдохновения. А простым смертным — запрет. Они не люди...

— Уверяю вас, когда человека забирают в вытрезвитель, не смотрят, простой он гражданин или известный артист, писатель, композитор...

Коломойцев решил меня поддеть:

— А если академик, тоже забирают?

— Положение для всех общее.

— Ну да, выступайте.

— Мне кажется, мы отвлеклись. Как вы этого ни хотите, вернемся к вашей выпивке. Итак, Залесский в ту ночь оставался у вас ночевать?

— Да.

— А кто ухаживал за ним, когда ему стало плохо?

— Наверное, Евдокия Дмитриевна, моя хозяйка. Я спал.

— Вы, значит, не помните, что с ним было?

— Откуда! Узнал только наутро.

— Вы спали и ничего не слышали?

— Не слышал. Проснулся только утром.

— Хорошо. Станислав, какие взаимоотношения были в семье Залесских?

— По-моему, они отлично умели жить вместе, хотя и любили друг друга...

Я посмотрел на него почти с удивлением. Откуда у молодого парня такая формулировка?

— На основании чего вы это заключаете?

— Я доверяю прежде всего своим чувствам.

— Видите ли, для протокола чувства — вещь в какой-то степени нематериальная...

— А мне кажется, это самое главное, — сказал он твердо.

— Хорошо. Давайте дальше. Вы, наверное, говорили с Залесским о жизни?

— Очень много.

— К примеру, как он относится к супружеской измене?

— Вы меня извините, но это мещанские разговоры.

— Понимаете, нам все-таки придется остановиться на данном вопросе... важном для следствия. Как он относился к этому?

— По-моему, широко, по-современному...

— Конкретнее. Говорил ли он вам о том, что подозревает жену? Его реакция на это?

— Нет, он не подозревал ее. Следовательно, какая может быть реакция? Помню, ее уже увезли в район, он сидел на крыльце и выступал: «Зачем она это сделала? Главное — жизнь. Все можно понять и простить. Зачем она это сделала...» Думаю, для него превыше всего было счастье Ани. Ну а если изменила, что ж, жизнь есть жизнь. Валерий, как мне кажется, понимал все это и мог простить. Он, повторяю, был большой души человек. Не копался в мелочах. Не захотел быть агрономом, бросил институт, захотел увидеть свет — пошел простым моряком на корабль, решил написать роман о целине — поехал за тысячи километров. И уж конечно, какая-то там измена его не перевернула бы.

— А роман он написал?

— Сказал, что собирает материал пока... А потом... До этого ли было?

Итак, Залесский тоже без пяти минут агроном. Сведение интересное. Новое. Надо бы ознакомиться с его автобиографией в отделе кадров.

— С Аней они познакомились в институте?

— Да, она училась курсом младше.

— Интересная собой?

— Хорошее, славянское лицо, что-то в ней было... Между прочим, у Ципова есть пленка. Можете посмотреть.

— Кто такой Ципов?

— Он сейчас вместо Валерия в клубе. И еще киномеханик. Залесский добился покупки киносъемочного аппарата. Любительского. Полезное дело задумал — кинохронику совхоза. При нем отсняли несколько мероприятий. На одной, кажется, есть Аня...

После допроса Коломойцева я пошел в совхозный клуб. Там было холодно и сыро. Пахло гуашью. Я прошел через коридор в зрительный зал. Никого. На окнах — темные шторы. Только одно, с поднятой гардиной, пропускало свет. Грубо зашитый посередине экран, на стенах транспаранты.

Откуда-то доносились приглушенные звуки гитары.

— Кто здесь есть?

Внезапно колыхнулся экран, казавшийся намертво вделанным в стену, и высунулась голова с залихватским огненно-рыжим чубом:

— Мы.

— Кто мы?

— Ципов. Проходите сюда, если есть дело.

За экраном — стена, за ней — маленькая комнатка, заклеенная афишами кинокартин. Особенно здесь благоволили к Чурсиной...

Как можно разместить на таком пространстве письменный стол, диван с лоснящимися валиками, шкаф и три стула — было непонятно.

Я смотрел на веснушчатого паренька — а Ципову было отпущено столько веснушек, что хватило бы с лихвой на дюжину парней, — и мне вспомнилась песенка из мультфильма «Рыжий, рыжий, конопатый...».

— Слушаю вас, — важно произнес завклубом. Мне едва удалось сдержать улыбку. Как это было сказано!

Я представился. Изложил цель моего прихода. Паренек спросил:

— Где будем просматривать? Вам, конечно, лучше, чтобы экран был побольше?

— Хотелось бы...

— Тогда в зале.

Мы перешли в зрительный зал. Ципов установил небольшой любительский проектор, достал кассеты.

— Какой камерой снимали?

— Шестнадцать миллиметров. «Киев». У меня готово. Можно начинать?

— Да, пожалуйста.

Он опустил штору и начал колдовать над аппаратурой.

— Это не «Колос», конечно, но тоже кино.

— А что такое «Колос»?

Ципов показал рукой на заднюю стенку клуба, где чернели окошечки кинопроекторов:

— Моя основная техника.

— Понятное дело. У меня к вам просьба: говорите, кто на экране. Я ведь никого не знаю.

— Будет сделано... Поехали.

Застрекотал моторчик, на белом полотне высветился прямоугольник, и на экране возникла летняя крылатовская улица. С качающимися от ветра тополями, с сонными домишками. Улица тоже качалась, дорога металась из стороны в сторону, будто оператора шатало, как пьяного.

Ципов смущенно кашлянул:

— Проба.

Наконец камера остановилась. Молоденькая девчонка, с косичками, в коротеньком платье, строила рожи в объектив. Я вопросительно посмотрел на паренька, чуть видневшегося в полуосвещенном зале.

— Одна тут, с почты... — Он еще больше смутился.

— Кто снимал?

— Я, — тихо сказал Ципов.

Потом на экране побежали блики, полосы, и вдруг явно обрисовались ряды голов.

— Собрание, — пояснил Ципов. — Здесь, в клубе, я снимал.

Люди вставали с мест, смотрели прямо в аппарат, кто-то улыбался, кто-то качал головой. Ребятишки подпрыгивали, показывали язык...

— Несознательная публика, — проворчал киномеханик. — Как дикари.

Камера перескочила на президиум. Во главе стола — Мурзин. Держался он просто. Наверное, привык к киносъемкам.

— Наш директор, Емельян Захарович, — произнес Ципов. — А это парторг Шульга и зампредседателя райисполкома Зайцев.

И парторг и зампредседателя держались напряженно.

Аппарат полоснул по лицам и остановился в центре зала.

— Валерий Георгиевич, — сказал киномеханик. И тихо добавил: — С Аней...

На них он держал камеру долго: начальство... Не знаю, чувствовали, видели ли они, что их снимают. Мне показалось, что нет.

Залесский, едва откинувшись на стуле, словно наблюдал исподтишка за женой. Она сосредоточенно смотрела на сцену, вся подавшись вперед.

Профиль Залесского выделялся ярко, рельефно. Неумелая подсветка. Черты лица его рассмотреть было трудно. Светлый силуэт. И скошенные на Аню, настороженные глаза... В ее длинных волосах играли блики.

Промелькнули, пролетели на экране головы, и в кадре уже трибуна.

— Главный агроном, — пояснил Ципов. — Ильин.

Беззвучно шевелились губы, ритмично двигались руки главного агронома. Совершенно плоское, неумело высвеченное лицо. Да, оператор явно делал первые шаги. Свет ставить он не умел.

Затем, как в сказочном фильме, Ильин превратился в Мурзина, тот — в парторга. И без всяких перебивок — опять Валерий Залесский и Аня. Он улыбался. Вернее, усмехался. Залесская нагнула голову...

Резко осветился экран. По берегу реки бежала девушка в купальнике. Та самая, что строила рожицы в начале пленки.

— Больше Ани нету, — глухо проговорил Ципов.

— Хорошо, — сказал я. Надо было прекратить его страдания. — Если можно, повторите зал.

Снова Залесский настороженно смотрел на жену, она — на главного агронома. И опять Валерий чему-то усмехался, а Аня прятала глаза.

Киномеханик остановил аппарат перед тем, как появиться девушке на пляже. Включил свет.

— Конечно, не монтировали? — спросил я.

— Нет. Как отсняли, так и не трогали.

— А когда было собрание?

— В мае. Посевная как раз шла...

...По дороге в правление совхоза я вновь и вновь вспоминал увиденное на экране. Жаль, конечно, что изображение без звука. Голос, интонация, вырвавшаяся реплика — все было бы яснее, о чем там говорил Ильин. И можно ли это восстановить?

Черт побери! Иди догадайся, что происходило в душе каждого из супругов. Может, он спросил ее о каком-нибудь пустяке? А может быть, нет.

Помню, как в передаче «Кинопанорамы» по телевизору показывали, что такое дубляж фильма с иностранного языка. Один отрывок — шутка. Из «Фантомаса». В эпизоде с комиссаром Жювом подложили под изображение и артикуляцию совершенно другой текст. Было абсолютно правдоподобно и от этого очень смешно.

Мне же теперь было совсем не до смеха. Несколько мгновений, запечатленных на пленке, что-то означали. Отношения между людьми. Если бы я мог их расшифровать!

И еще. Впервые я встречался с живым человеком на экране, зная трагический конец. Ощущение не из веселых...

— Вами одна женщина интересовалась, — встретил меня сторож.

— Где она?

— Сказывала, снова зайдет.

— По делу?

— Говорит, по личному.

— Хорошо. Я только зайду в номер, а потом буду в кабинете.

У меня со вчерашнего дня лежало в тумбочке письмо Наде. Надо было его отправить.

Не успел я зайти в свою комнату в доме для приезжих, как ко мне постучали.

Я открыл. Вошла женщина в коричневом болоньевом плаще, такой же косынке, с хозяйственной сумкой в руках.

— Здравствуйте, товарищ Чикуров.

— Здравствуйте, здравствуйте. — Я посмотрел на нее вопросительно. — У вас дело ко мне?

— Вот, прислали... Как говорится, в ваше распоряжение.

Уж этот Мурзин, помешанный на городском сервисе...

— У меня все в порядке. — Я оглядел комнату. — Чисто. С койкой, как видите, управляюсь сам.

Женщина невольно обвела комнату глазами:

— Значит, тут обосновались. Это хорошо. А столуетесь где?

— В чайной.

— Это не дело. — Она сняла болонью, повесила на вешалку у двери. — Какие будут указания?

— Спасибо, мне действительно ничего не надо.

Женщина пожала плечами:

— Странно, а меня сняли с задания. Полковник приказал: из Павлодара — прямо сюда. Двое суток добиралась...

Только теперь до меня дошло.

— Вы... Вы старший лейтенант Ищенко?

— Так точно, товарищ следователь.

Я рассмеялся:

— Ради бога, простите меня. Я, признаюсь, принял вас за... Тут, понимаете, Мурзин все меня заботой окружает... Давайте знакомиться. Игорь Андреевич.

— Серафима Карповна. — Она протянула руку. — Обознались, выходит?

— Обознался.

— Это, может, и хорошо, — сказала она. — Если свои не признают, то уж другие-прочие тем паче...

Да, для оперативной работы Ищенко подходила в самый раз. Обыкновенная гражданочка, каких много встретишь по стране — и в городе и в деревне...

Ждал такого бравого мужичка, а тут — тетечка... На секунду у меня промелькнула мысль: может быть, это финт Кукуева, замначальника следственного отдела прокуратуры края? Все-таки не какой-нибудь опытный мужчина, а всего-навсего женщина... Что ж, поживем — увидим.

— Без вас я как без рук. И уйма вопросов... Садитесь, пожалуйста, Серафима Карповна, потолкуем.

Она достала из хозяйственной сумки пачку «Беломора». Закурила.

— Прежде всего, как устроились? — спросил я.

— Вы не беспокойтесь, Игорь Андреевич, у меня здесь родственники. Считайте, как у себя дома...

— Хорошо. Вы с самого начала принимали участие в предварительном следствии?

— От и до.

— И не удивляетесь, почему я снова взялся за него?

Она просто ответила:

— Начальству виднее. С горки, как говорится...

— Оно, конечно, так. Но ведь внизу, под горкой... кое-что получше разглядеть можно.

— Можно. Но вот нужно ли, это не нашего ума дело.

— Вы так считаете?

— Конечно, могли бы покопаться основательнее. Проверочек провести побольше. А раз дело ясное, зачем тянуть? Других дел много.

Я заметил, что говорит она не очень решительно. И оспаривать действия моего предшественника не берется.

— Серафима Карповна, как получилось, что не допросили Марию Завражную? Ближайшая подруга умершей...

— Очень просто. Ее тут не было во время следствия.

— Как это? Она ведь в тот день была с Залесской на работе.

— Была. А через день в отпуск уходила. Супруг ее, тракторист с Поволжья, из-под Оренбурга. Он приезжал на посевную. Обженились, как говорится, в два счета. И выходит, повез молодую жену родным показать.

— Но ведь можно было послать отдельное требование?

— Можно, — вздохнула Ищенко. — А потом дело прекратили...

— Ну что ж, вопрос ясен. Может, и правильно. Говорил я с Завражной, но без толку. Странный человек. Все время куда-то нос воротит. Молчит. Боится, что ли...

— Просто вы ничего не знаете о ней.

— А что такое?

— Глаза у нее одного нет. Искусственный.

— Вы с ней виделись?

— Нет. По разговорам.

Да, товарищ Чикуров, тебе следует поставить в случае с Завражной двойку за наблюдательность. Но я не сдавался:

— Мало ли людей с увечьями. Свыкаются. У нас в институте был один слепой студент. Общительный, веселый человек. В красном уголке, в общежитии первым приходил к телевизору. Не пропускал ни одного нашумевшего спектакля...

— У кого как. Маша была, как говорится, первой девкой на деревне. И пела, и плясала, парни хороводом под ее окнами ходили. Не один синяк под глазом был из-за нее поставлен. А когда года два-три назад парнишечка за ней увивался, говорят, влюбилась девка по уши. На мотоцикле катал. И докатались, в овраг угодили. Ему ничего, а она глаза лишилась. Дело к свадьбе шло. Он, залетный, как она попала в больницу, лыжи навострил и был таков. Вышла Маша изуродованная, кавалеры подевались кто куда. Конечно, девчат вокруг много, и всё у них на месте. Надо же, угораздило лицо испортить. Пусть бы какая другая отметина, на руке там, на теле. А тут — самый главный вид. Молодые, они прежде всего на парад смотрят. Душа, можно сказать, на самом последнем месте... Вот и получилось, что от вчерашней павы отвернулись. Мало кто выдержит такое. Ушла в себя. А с Залесской быстро сошлась. Но все-таки Мария вышла замуж. Залесская в этом сыграла не последнюю роль. И вдруг — совершить самоубийство. Думаю, очень на Машу подействовало.

— Подействовало, конечно. Я с вами согласен. Но наверное, семья лечит...

— Кого лечит, а кого калечит. Говорят, правда, мужик у Маши спокойный. В обиду не дает. Она очень добрая на самом деле. Застенчивая.

— И все-таки мне нужно, чтобы Завражная была пооткровенней.

Серафима Карповна кивнула:

— Верно. Меж подругами редко бывают тайны.

— Что ж, попытаемся еще раз. Теперь, Серафима Карповна, вот о чем. Об Ильине.

— Главный агроном?

— Он. Вы что-нибудь знаете о нем?

Ищенко достала новую папиросу.

— И тогда, с прежним следователем, разговор о нем захо-

дил. Болтают по селу, что его с Залесской часто видели. Якобы даже в ресторане Североозерска.

— Ну и что?

— Так ведь как болтают: сам, мол, не видел, люди видели, мне сказывали. Как только начнешь уточнять — следов нет. Все в кусты.

— Можно было спросить у работников ресторана.

— Можно, конечно. Следователь был у секретаря райкома, товарища Червонного. Ильиным интересовался. Червонный его хорошо характеризовал. И после этого — все. Любые действия по отношению к главному агроному мы прекратили.

— И все-таки, Серафима Карповна, Ильиным мы займемся.

— Это задание?

— Да. Первое. Второе — Станислав Коломойцев.

Ищенко усмехнулась:

— Знаменитая личность.

— Вот как?

— О-о! До сих пор помнят.

— Расскажите.

— Самородок. Художник. При Залесском еще выставку в клубе организовали. В Барнаул хотели везти. Да это несчастье случилось. Залесский не успел, уехал. А гонору у парня теперь на весь век хватит...

— Я тоже это заметил. Так что постарайтесь выяснить, в каких он был взаимоотношениях с семьей Залесских. С Аней. — Серафима Карповна кивнула. — И еще. В июне — июле здесь были приезжие. Механизаторы, студенты. Хорошо бы поработать и в этом направлении...

— Много народу побывало. Много.

— Знаю, Серафима Карповна, объем работы большой. А с другой стороны — вдруг и обнаружим какую-нибудь сомнительную личность.

— Значит, не отрицаете убийство?

— Я ничего не отрицаю. И пока, увы, ничего не утверждаю...

Уходя, Ищенко решительно повторила:

— В столовой обедать не годится. Но мы это организуем.

Я попытался возразить. Насколько Серафима Карповна была осторожна в наших деловых отношениях, настолько здесь она проявляла завидное упорство.

Мне даже стало любопытно. Как это она устроит? И чем руководствуется? По мне, главное, чтобы оперативник знал свое дело. А с хозяйственными и прочими вопросами я управлялся всегда сам.

По уходе старшего лейтенанта я решил подвести кое-какие итоги. Сначала следовало определить круг людей, о которых мне надо было знать подробнее. Без этого к ним ключа не найдешь, свидетельство чему — история с Завражной. Пока не появились новые лица, уже знакомые должны быть у меня как на ладони.

Прежде всего, конечно, супруги Залесские. Почему они по-

явились в Крылатом? Оба с агрономическим образованием. Один становится завклубом, другая — воспитательницей в детском саду. Что их привлекло сюда? Длинный рубль? Сомнительно. Залесский получал в месяц девяносто рублей, а жена — семьдесят пять. Такую зарплату они могли иметь и в Вышегодске. Кстати, об этом городе я раньше не знал. Неудивительно. Уверен, что мало кто знает и Скопин — городок в Рязанской области. Для меня он знаменит тем, что я осчастливил его своим рождением...

Коломойцев показал, что Валерий Залесский приехал в Кулунду якобы для того, чтобы собрать материал и написать роман о целине.

Но пока он собрал только материал. Интересно, есть ли у него уже изданные книги? Я послал запрос в Книжную палату.

И все-таки почему Залесские оказались именно здесь, в Крылатом? Конечно, должны быть для этого причины. Мне пока они неизвестны...

Я иногда задумывался: а что, если какой-нибудь следователь, мой дотошный и занудливый коллега, стал бы разбираться в моей жизни? На чем бы он споткнулся? Во всяком случае, ломал бы голову?

Поработать бы ему пришлось изрядно. Встретиться кое с кем. И не все бы раскрылись. И сдается, кое-что осталось бы неясным.

Открывая дело Чикурова И. А., он узнал бы, что родился я на Рязанщине. Ну, школа, драмкружок, детский хор — все это есть в документах. Имеются грамоты. За участие в областном смотре. Затем — консерватория. Та-ак, сказал бы следователь, это уже интересно. По классу вокала. На третьем курсе гражданин Чикуров уходит из консерватории. По болезни. Профнепригодность.

Теперь я отношусь к этому спокойно. Тогда было худо. Это мягко выражаясь. Подвело горло, осложнение после гриппа. «Закон подлости»: бутерброд падает маслом вниз, единственная монета закатывается в единственную щель в полу... И еще русская пословица (ими я нашпигован благодаря словоохотливости родителей) — бодливой корове бог рог не дает...

А дальше мой коллега был бы поставлен в тупик. Почему Чикуров поступил на юрфак в МГУ? Первое — здание факультета тогда было рядом с консерваторией, по той же улице Герцена.

Чепуха, сказал бы следователь. В принципе — да. Право и вокал так же далеки друг от друга, как Кулундинская степь и ярославские леса. Хотя, говорят, профессор, который читал нам трудовое право, был когда-то главным режиссером Театра оперетты...

Может быть, юношеское увлечение Конан-Дойлем, Эдгаром По и Адамовым? Я бы ему сказал, что не так. Прочел этих авторов в зрелом возрасте (карточка в библиотеке консерватории).

«Шерше ля фам!»[1] — воскликнул бы следователь. И был бы близок к истине.

Но вот найти эту женщину... А если бы и нашел, она бы сказала, что никакого Чикурова И. А. не знает. Как это ни горько. Сейчас, правда, уже не горечь, а воспоминание о горечи. Хотя в Новосибирском аэропорту меня на некоторое время посетили грустные мысли.

О той женщине, тогда стройной девушке, никто не знал. Даже мои самые близкие друзья. По их мнению, у меня была скверная привычка замалчивать свои личные дела. А я простонапросто ревновал ее даже к родителям. Понимаю, качество не совсем лестное. Но что поделаешь? Натуру не изменишь.

Но если я все-таки решился бы давать показания, следователь узнал бы правду.

Два года я пропадал на лекциях по уголовному праву, криминалистике, судебной психиатрии и прочим дисциплинам, что читают будущим юристам. И не потому, что они меня увлекали. Мне хотелось почаще быть рядом со своим «предметом» (как говорит моя мать).

И когда врачи сказали, что петь я уже не буду, я смогу только подпевать, я недолго думая перебрался вниз по улице Герцена. Хотя меня оставляли в консерватории на дирижерско-хоровом факультете. Но мысль о том, что мне придется учить кого-то петь и не петь самому, совсем не грела. Представьте себе, всю жизнь оплакивать свою неудачу...

Чего бы мне очень не хотелось говорить следователю (он бы все равно теперь смог узнать, после моего признания), так это то, что девушка, ради которой я пошел по стопам Шерлока Холмса и Мегрэ, уехала по окончании университета в Новосибирск и вышла замуж за оперного певца.

Почему она все-таки избрала мужа-артиста, я не знаю. Он далеко не Карузо. Заурядные вокальные данные.

Остается только предположить, что она плохо разбирается в бельканто. Я не успел ее просветить.

Но вернемся к Залесскому.

Коломойцев утверждал, что он — человек широкой души. Честно говоря, определение расплывчатое. Иной раз равнодушие вполне сходит за великодушие.

Сколько приходится слышать о мужчинах, которым якобы безразлична женская верность... Я готов согласиться — такое возможно. Но думается, это ненормально. Вложив в человека душу, бог все-таки оставил в нем инстинкты далеких предков.

Правда, пословица гласит — не дай бог коня ленивого, а мужа ревнивого.

Уж эти мне пословицы! На один и тот же случай в народной мудрости всегда можно найти прямо противоположные суждения. Прекрасный для меня пример — шутливые перебранки

---

[1] «Ищите женщину!» *(франц.)*

моих родителей. Бывало, мать скажет о ком-нибудь: холостая воля — злая доля. Отец тут как тут: женишься раз, да наплачешься век. Но самый коронный диспут происходил тогда, когда отец осмеливался приложиться к рюмочке в непраздничный день. Эх, говорила мать, был Иван, стал болван, а все винцо виновато. Родитель мой спокойно отрубал: пьян да умен — два угодья в нем.

Вот и по поводу ревности есть еще другая мудрость: не ревнует, значит, не любит.

Не знаю, как кому, а мне это больше по душе.

«Игорь, здравствуй!» Эту фразу я перечитал раза три. Так неожиданно, так радостно было получить в Североозерске письмо от Нади. Знаменательно: ее первое послание ко мне.

На почтамте я читать не стал: много народу. И еле дождался, когда тронется автобус в Крылатое.

«В Москве похолодало. Прошел неожиданно дождь со снегом. Пришлось сшить Дикки теплую попонку. Он подхватил насморк, давала ему аспирин и антибиотики...» Дикки? Да, Кешкино увлечение. Доберман-пинчер. Собака Надиного сына, а прогуливали мы его с Надей. Месяц назад это было довольно занудливое существо. Не пропустит дерева, чтобы не задрать ногу. «Ездили устраивать его в школу дрессировки. Нам сказали, что он уже переросток. Посоветовали обратиться к частному собаководу...» Черт знает что! Называется письмо к любимому человеку. «У нас на днях был дедушка. Славный старик. Полковник в отставке...» Никакого дедушки у Нади я не знал. Насколько помнится, из всех родственников у нее только мать, сын да брат... Выходит, подпольный дедушка. «Он сказал, что Дикки самый крупный из всех братьев и сестер...» Значит, это дедушка Дикки. На каком языке они изъяснялись? Полковник в отставке. Вроде бы человеческий дедушка-то. «Дикки его узнал, и, поверишь, даже слезы текли...» Нет, скорее собачий дедушка. «Дедушка обещал мне и Дикки навещать нас каждый месяц...» Определенно — собачий. Дальше шла информация о жизни других животных. «Наш попка Ахмед уже говорит девять слов. Особенно ему удается имя мамы: Варвара Григорьевна. Она смеется до слез и прощает Кешке беспорядок в доме. Пиф ходит вялый. В природе ежи на зиму впадают в спячку, вот он и готовится. Набрал в свой ящик разных бумаг, запасся яблоками, сухарями и конфетными обертками, но мы потихоньку все убрали. Ты бы видел, как Пиф обиделся. Фыркал, бегал по всей квартире. Умора. Кот-котофеич наш Ерофеич стал совершенно неузнаваем. Я тебе говорила, что маленький он мне чем-то напоминал крысеныша. Весь белый, глазки красные. А какой красавец сейчас! Лапы, морда и хвост коричневые, а глаза синие-синие. Чудо! Когда приедешь, Кешка тебе покажет свое звериное царство сам...» Да, чего доброго, не стать бы экспонатом этого зоопарка.

В конце Надя писала: «Горит путевка в Болгарию, на Золотые Пески. Агнесса Петровна уговаривает ехать. Говорит, там еще сезон, теплее, чем в Сочи. Болгарский бархатный сезон. Не знаю, как быть? Если у тебя есть время, напиши. Не спрашиваю, когда ты будешь в Москве, все равно не напишешь, мой дорогой Пинкертон. Скучаю, целую. Надя».

Если бы не это «скучаю, целую», я бы расстроился вконец. Меня совершенно добил Дикки со своим дедушкой, говорящие и засыпающие звери...

В голове зрели ответные строки, полные гнева и сарказма. Все мое существо возмущалось, призывало Надю отвратить сердце от животных и повернуться к делам человеческим. И только перед самым совхозом я успокоил себя. Каково ей будет получить письмо из такого далека, навеянное горечью и сожалением! Надо быть выше мелочных обид. Все-таки «целую, скучаю».

В Крылатом меня ждал ответ из Одесской прокуратуры. В Одессе жил теперь Валерий Залесский. Понимая, в каком он находится состоянии после смерти жены, на допрос сюда, в Крылатое, я его вызывать не хотел. Однако меня интересовали кое-какие вопросы. По моему отдельному требованию Залесский дал следующие показания:

«...*Вопрос*. Где вы находились вечером 8 июля и ночь на 9 июля?

Ответ. Вечером 8 июля я находился у себя дома. Приблизительно около восьми часов вечера вместе с моим приятелем Коломойцевым мы отправились к нему домой, где сильно выпили, и я остался у него ночевать. Таким образом, ночь с 8 на 9 июля я провел у Коломойцева, что могут подтвердить он и его хозяйка Матюшина Е. Д.

Вопрос. Почему 8 июля вечером вы ушли ночевать к приятелю?

Ответ. Моя жена Залесская А. С. была против того, что мы с Коломойцевым потребляли спиртное в тот день. Остался же ночевать случайно: мне было плохо.

Вопрос. Как вы относились к тому, что ваша жена была беременна второй раз? Хотели ли вы второго ребенка?

Ответ. Вообще-то мы не думали в то время заводить второго ребенка. Но раз уж так получилось... Я не был против. Считаю, что в семье должно быть по крайней мере двое детей.

Вопрос. Знали ли вы о том, что ваша жена хотела сделать аборт?

Ответ. В первый раз слышу.

Вопрос. Вы можете сказать, о какой измене шла речь в предсмертном письме вашей жены?

Ответ. Не знаю. Никогда не интересовался, как она проводит время без меня. Считаю ревность и подозрения унизительными как для мужчины, так и для женщины.

Вопрос. Имеются ли у вас подозрения в отношении кого-нибудь, с кем могла вам изменить жена?

Ответ. Я уже сказал, что ревность и подозрения считаю недостойными качествами. Поэтому никаких подозрений у меня нет...»

Читая протокол допроса, я ощутил странное чувство. Совсем недавно я подобные рассуждения слышал. И, перелистав дело, остановился на показаниях Коломойцева.

Не знаю, кто из них кого учил жить, но взгляды обоих приятелей совпадали. Или они действительно единомышленники? Мне показалось, что я перестал понимать людей, родившихся на двенадцать-пятнадцать лет позже. Неужели мои взгляды на супружескую жизнь, верность, честь безнадежно устарели?

Если это так, пусть я лучше буду выглядеть старомодным, но зато, по-моему, естественнее. Потому что ревную, когда люблю, и не представляю себе, что может быть иначе...

Из Вышегодска пришла справка.

«На ваш запрос, когда Залесский В. Г. и Залесская А. С. зарегистрировали свой брак, сообщаем:

По книге записей актов гражданского состояния Залесский Валерий Георгиевич, 1945 года рождения, и Кирсанова Ангелина Сергеевна, 1947 года рождения, зарегистрировали свой брак третьего января 1976 года, о чем имеется соответствующая запись и подписи вступающих в брак. По вступлении в законный брак с Залесским В. Г. Кирсанова пожелала взять фамилию мужа. Раньше, до этого, заявлений о желании вступить в брак от Залесского В. Г. и Кирсановой А. С. не поступало. Заведующая бюро загса города Вышегодска Орехова».

Выходило, Валерий и Аня жили-поживали пять лет, сын подрос, и вдруг решили зарегистрироваться. И тут же махнули в Крылатое, предварительно подкинув ребенка родителям Залесского в Одессу.

Может быть, вторая беременность подтолкнула пойти в загс? Но Аня, наверное, еще не знала о ней... Непонятно.

Я поинтересовался, а где же родители Залесской. Из автобиографии в ее личном деле выяснилось, что она сирота. Тоже факт интересный.

По поводу Ильина мне удалось собрать любопытные сведения.

Во-первых, он кончал тот самый институт, что и Залесская (копия диплома в отделе кадров совхоза). Мне, как следователю, надо бы воскликнуть: эврика! Вот он, третий, в злополучном извечном треугольнике. Он, она и он. Но я боюсь слишком очевидного. Все разговоры о том, что его часто видели с Залесской, пока оставались деревенскими сплетнями. И вызвал я его пока что под предлогом уточнить кое-какие сведения о Залесских...

Из моего окна виден подъезд конторы совхоза. За несколько минут до того, как Ильин должен был зайти ко мне на допрос, подъехал мотоцикл с коляской. Водитель, коренастый, плотный парень, положил шлем в коляску и быстро прошел в здание.

Мне показалось, что это главный агроном. Я его еще не видел, хотя жил в Крылатом больше недели.

В дверь постучали. Действительно, Ильин. Он был в кожаной куртке, какие можно увидеть в кинокартинах о революции на комиссарах, только без портупеи. Жесткий ежик на голове, серые глаза, белесые, едва приметные на загорелом лице брови. Рук его я почти не видел. Он держал их в карманах кожанки. А мне всегда любопытно следить за руками. Можно справиться с лицом, с выражением глаз, но руки обязательно выдают состояние человека.

— Николай Гордеевич, вы кончали институт в Вышегодске?

— Вы хотите сказать, знал ли я там Залесских? Знал. С Валерием мы учились на одном курсе. В одной группе.

Ну что ж, с ним, видимо, надо прямо, без обиняков. Примем его тактику.

— Он не закончил. Вы не знаете почему?

— Нет, не интересовался.

— На каком курсе Залесский ушел из института?

— После четвертого.

— Странная позиция. Товарищ бросает учебу, и вас это не касается. — Ильин пожал плечами. — Вы комсомолец?

— Член партии.

— Давно?

— Вступил на третьем курсе института.

— Тем более...

— Мы, кажется, с вами не на заседании парткома... — Он усмехнулся.

— Я не касаюсь ваших партийных обязанностей, — сказал я сухо. — Просто мне кажется, в человеческом плане член партии должен быть более принципиальным, чем другие...

— Вы не знаете меня, а уже делаете какие-то выводы, — перебил он.

— Хочу узнать, — спокойно произнес я.

Ильин сурово спросил:

— Любопытно знать зачем?

— Имею я право на простую человеческую любознательность?

— Конечно.

— Благодарю вас. Чтобы устранить возможные недоразумения, хочу вам сказать: меня интересуют в сегодняшнем нашем разговоре кое-какие подробности о супругах Залесских.

— Я так и понял.

— Ну и прекрасно... Вы были с Залесским друзьями?

Ильин мгновение помедлил:

— Говоря честно, так и не стали.

— А Залесскую, тогда Кирсанову, вы хорошо знали?

— Достаточно.

— Как? По учебе, общественной работе или вне студенческой обстановки?

— По учебе не сталкивались. По общественной работе — приходилось. Она была в студкоме. Я тоже. Как вы говорите,

вне студенческой обстановки встречались. На лыжах ходили, летом — в походы...

— А ближе? Например, на вечеринках?

Ильин повел плечами. Мне показалось, кулаки в карманах кожанки плотно сжались. Будто даже кости хрустнули. Или это скрипнула кожа куртки...

— На ее свадьбе не гулял.

— А была она, свадьба?

— Не знаю.

— Но об их связи вы знали? Это было как раз на четвертом курсе.

Он посмотрел на меня недобро. Хмуро посмотрел. Или печально?

— Николай Гордеевич, мне кажется, наш разговор вас задевает.

— Задевает, — сказал он. — Потому что я считаю отношения между мужчиной и женщиной прежде всего их личным делом. И только их. Можно осуждать или одобрять общественное поведение человека. Но касаться интимной стороны жизни полагаю неправильным.

— Происшедшее с Залесской вы считаете делом общественным или личным? — Я произнес эти слова намеренно жестко.

Я видел — он растерялся. Во всяком случае, ему понадобилось время, чтобы подыскать нужный ответ.

— Единственное, о чем можно говорить, — это о ее обязанности по отношению к сыну...

— И еще вопрос. Вы здесь поддерживали с Залесскими прежние отношения?

— Какие «прежние»?

— Мне кажется, вместе проведенные студенческие годы сближают... Тем более вдалеке от родных мест.

— А мне здесь не до туристических походов и лыжных прогулок.

— Значит, вы не встречались, например, за праздничным столом или просто не проводили вечер, вспоминая Вышегодск?

— Специально — нет. Может быть, перебрасывались несколькими фразами на улице. И все.

— С кем? С Валерием или с Аней?

— С обоими.

— Вы питаете неприязнь к кому-нибудь из них?

— Мне кажется, мои личные чувства не имеют никакого отношения к делу, — отрезал Ильин.

Резкий тон, каким были произнесены эти слова, меня немного задел. Но я постарался спросить как можно спокойнее:

— Николай Гордеевич, вы не помните, о чем шла речь на собрании работников совхоза в конце мая? — Он поднял брови. — Когда вы выступали в клубе.

— Наверное, о посевной. Во всяком случае, не о балете.

— Отдавая дань вашему остроумию, хочу напомнить, что я приехал сюда не цветочки разводить. И копаться иной раз в

чьих-то интимных отношениях для меня не хобби, а работа... На сегодня у меня вопросов больше нет.

Он, ни слова не говоря, расписался в протоколе, как мне показалось, не читая, и ушел, холодно попрощавшись.

Я встал у окна, но так, чтобы меня не было видно с улицы.

Главный агроном быстрой походкой вышел из двери, надел шлем, одним рывком завел мотоцикл, сел на сиденье и рванул с места.

Растрепанный пес, который всегда дремал на крылечке конторы, от неожиданности вскочил и, сжавшись, трусливо смотрел вслед удаляющемуся мотоциклу.

Странно вел себя Ильин. Настораживающе.

Я перечитал его показания. И пожалел о том, что не сохранил на бумаге те моменты, когда он был язвителен и раздражен. Ведь на эмоции я не имею права. В душе — сколько угодно. В документах же должны быть сухие факты. А как важно отразить состояние человека. Да, жаль, что я не имел возможности сегодняшнюю беседу записать на магнитофон. Потому что видел, чувствовал — за его неприязнью кроется нечто. Что именно, я пока не знал. Не будет же человек ни с того ни с сего раздражаться и ожесточаться.

Может быть, ему не понравилась моя физиономия? Тоже бывает. Или гордыня? Как-никак он главный агроном, имеет некоторую власть над людьми... Кто-то из великих говорил, что не всякому человеку власть по плечу. А тут какой-то следователь осмеливается затронуть начальственную персону. Мне с такими людьми приходилось сталкиваться не раз. Я вспомнил, как разговаривал с ним по телефону директор совхоза. «Не в службу, а в дружбу...» Ведь Емельян Захарович ему в отцы годится. Не говоря уже о том, что руководитель — он, Мурзин.

С другой стороны, Ильин хорошо знал Залесскую еще в Вышегодске. В Крылатом говорят почему-то о ее встречах с ним, а не с кем-нибудь другим. И сегодняшняя реакция... Все это наводило на размышления...

К вечеру у меня разыгралась ангина. Моя старая недобрая приятельница заботливо следовала за мной повсюду. Я пополоскал горло отваром ромашки, приготовленным все тем же Савелием Фомичом, и валялся на постели с укутанным горлом.

Старик предложил вызвать врача, но я отказался. Знаю наперед все, что он скажет: лежать, стрептоцид, полоскание, согревающий компресс. Может быть, еще горячее молоко со сливочным маслом.

По радио передавали совхозные новости. Во многих бригадах жатва подходила к концу. Молоденький женский голос, мне показалось, Линевой, секретарши директора, назвал передовые бригады.

— Жена участкового? — спросил я у сторожа, хлопотавшего возле меня.

— Галка. Она, — кивнул Савелий Фомич.

— «...Парад отстающих опять возглавляет бригада Шамоты. На ее участке убрано зерна всего лишь с пятидесяти четырех с половиной процентов запланированной площади...»

— Вот завел порядки, — проворчал сторож.

— Кто? — спросил я.

— Ильин, кому еще. Мало на совещаниях головомойку устраивают, нет, надо перед всеми людьми срамить...

— «...Видно, работникам этой бригады понравилось ехать на осле...» — задорно проговорила дикторша.

— Ишь изгаляются... Никакого стыда нету, — негодовал Савелий Фомич.

— Что, у вас в хозяйстве разве есть ослы? — полюбопытствовал я.

— Шаржа, так, кажись, называется, — пояснил сторож. — Кто впереди — это значит, на спутнике несется. А кто хуже всех — на осле.

— Наглядная агитация, — сказал я.

— Не агитация, а сплошное издевательство. Откуда Шамоте план взять? Там, видишь ли, в прошлый год ребята молодые поднабрались. Хорошая бригада была. И футбольная команда почти вся из них... Чего Ильин этот взъелся на Шамоту, не знаю. А только месяц назад, аккурат перед самой косовицей, главный агроном почти всех их парней в город угнал. Учиться на механизаторов. Вот и оголили бригаду.

— Только из этой?

— Из других тоже. Но по одному-два человека. А тут — разом дюжину лучших работников. Это зачем человеку три года кряхтеть над книжками — чтобы руль трактора держать? Так, для городского баловства. Ить за счет совхозных денежек. Теперь над бригадиром насмехаются...

— Неужели главный агроном не подумал, не укрепил другими кадрами?

— Подумал, укрепил! На него как найдет. Одному прямо ковровую дорожку стелет, а другому — кукиш с маслом, прости меня, господи... А футбол теперича — тю-тю, плакали наши награды. — Я вспомнил про вымпел за первое место в районных соревнованиях, красующийся в кабинете директора. — Говорили Емельяну Захаровичу: круто берет наш главный. Что об стенку горох...

— А урожай как?

— Это еще посчитать надо будет. Ильин-то без году неделя, а уже командует, будто век тут прожил... И никаких возражениев не терпит.

В том, что он резок и крут, я убедился сам. А Савелий Фомич продолжал:

— Как с цепи сорвался. Все ему не так, все не этак. — Он покачал головой. — Ничего. Укатают Сивку крутые горки. Мы всё видывали...

Что они видывали, он так и не досказал. В коридоре послы-

шались шаги. Я был единственный обитатель совхозной гостиницы. Значит, ко мне.

С тех пор как за мое питание взялась Серафима Карповна, каждый вечер в это время обычно приходила голенастая, нескладная девочка Настя, укутанная в мамкин платок. «Сноха», — отрекомендовала ее Ищенко. Это юмор. Настя приносила судок с нехитрым обедом. Всегда обильным и по-деревенски добротным. Серафима Карповна считала, что хорошая работа может иметь место только при создании соответствующих условий.

Постучали. На пороге появилась сама Ищенко. Сторож ретировался.

Серафима Карповна поставила судок на стол, сняла плащ.

— Хвораете?

— Немного.

— А вы поешьте. Для здоровья лучше...

Горло болело, и есть совсем не хотелось. Но, чтобы не обидеть оперативника-хозяйку, я налил в тарелку горячего душистого борща.

— А Ильин действительно был вместе с Залесской в Североозерске, — вдруг сказала Серафима Карповна. Я прекратил есть. Вернее, попытку проглотить хоть несколько ложек. — Только он был с ней не в ресторане, а в кафе.

— Это могут подтвердить?

— А как же. Буфетчик и уборщица. Там самообслуживание, официантов нет. По фотографиям признали.

— И часто их там видели?

— По крайней мере, два раза.

— Жаль, что я узнаю об этом только сейчас, — сказал я в сердцах.

— Стараюсь, Игорь Андреевич. — В голосе Ищенко послышалась обида.

Лично я был недоволен темпами расследования. Ищенко это чувствовала. Иной раз моя верная и (я в этом убедился) невероятно работоспособная помощница успевала за день дважды побывать в райцентре. Боюсь, что в Североозерском РОВДе ее уже встречали со страхом. Во все концы летели запросы, требования, телефонные звонки... Это помимо тех сведений, которые она собирала здесь, в Крылатом.

— Знаю, знаю, — поспешил я успокоить ее. — Понимаете, хотя бы вчера... Разговаривал я днем с Ильиным. Мне бы очень пригодилось то, что вы сообщили.

— Может, не велика беда? Встретитесь еще.

— Может, и не велика... — Я подумал, что факт одной-двух встреч в кафе Североозерска еще ни о чем не говорит. Случайно встретились. Не совсем они чужие — земляки вроде. — А подробностей не помнят?

— К сожалению, нет. На бойком месте это заведение, у автовокзала. Всегда народу много.

— Но все же запомнили. Почему?

— Ильин там до сих пор частенько обедает.

— Еще хуже, — сказал я почему-то вслух. — Тем более встреча может выглядеть правдоподобно случайной..

Ищенко меня поняла:

— Трудно было с ним?

— Я, Серафима Карповна, присочинять не умею. Да и не подобает, как вы сами знаете...

Она улыбнулась:

— Придумка придумке рознь. Но в отношении Ильина у нас с вами действительно пока ничего существенного нет.

— Будем искать, — сказал я.

Итак, Ильин скрыл, что встречался с Залесской в районе. Впрочем, я у него об этом не спрашивал. Но он вообще отрицал дружеское, приятельское общение с обоими супругами...

Серафима Карповна приняла мою задумчивость за желание остаться одному. И собралась уходить.

— Ну, отлеживайтесь, Игорь Андреевич. С такими болячками не шутят. Вон в журнале «Здоровье» пишут, какие пошли осложнения от всех заболеваний. Жена небось далеко, приказать некому...

— Приказчиков хватает. Жены — нет. И, между прочим, не было...

— Как же так? — Она непроизвольно снова опустилась на стул.

— Да так. Не пришлось.

— Нехорошо, — сказала Ищенко. Я ждал обязательной в таком случае народной мудрости, пословицы или поговорки, но Серафима Карповна повторила: — Нехорошо одному. Тоскливо.

— Зато работе не мешает, — отшутился я.

— Семья работе не помеха. Наоборот. Уж сколько я мотаюсь. Иной раз детей и мужа по месяцам не вижу. Все равно знаю, в Барнауле они, и душа спокойна. Что они есть. Не представляю, как так можно...

— Много у вас детей?

— Четверо. — В ее словах прозвучала нескрываемая гордость. И нежность.

— Большие, наверное?

— Старший уже семью имеет. Младшенькой тринадцатый пошел. Правда, трое не мои, мужа. Разве в этом дело? Я считаю, кто воспитал, тот и родитель.

— Это так родители считают. А дети?

— Вырастут, ответят.

Я подумал о Кешке. Интересно, сможем ли мы стать родными друг другу?..

Еще я подумал, что Ищенко удается сочетать службу с воспитанием детей. И не родных. Дело, по-моему, очень и очень деликатное. И я спросил об этом у нее. Осторожно.

К моему удивлению, Серафима Карповна отнеслась к этому с юмором.

— Решил посадить на чужую шею троих, а ему вместо этого еще и четвертую подкинули. Я почти все время на колесах...

Вот так-то получается иной раз в жизни, Игорь Андреевич. Но Гриша мой не в обиде. Он и сам детей любит. А мать нужна обязательно. Ой как нужна. Пусть даже такая приходящая, как я, — закончила со смехом Ищенко.

Я видел, Ищенко было приятно говорить о семье. И то, что я заговорил об этом, тронуло ее.

Наверное, муж ее теперешний из вдовцов. Конечно, трудно найти хозяйку на троих ребятишек. Как она сказала: «приходящая мать»... По инерции Серафима Карповна распространила свою опеку и на меня. Тоска по детям... И я сказал ей фразу, которую, видимо, говорят многие:

— Как это вы такую специальность выбрали? Неподходящую многосемейному человеку...

— Не я ее выбирала, она сама меня нашла. А как же иначе, Игорь Андреевич?

— Конечно, что по душе, то самое лучшее. В одном американском институте открыли: все болезни человека идут от работы, которая ему не нравится. И сердечно-сосудистые, и алкоголизм, и наркомания, и ранняя старость...

— Мне моя работа нравится. Но я о другом. Из благодарности я пошла в милицию. Как матери, ей благодарна. Э-эх, — она вздохнула. — Коли б не милиция, не знаю, кем бы сейчас была Сима Ищенко. Война, Игорь Андреевич, она сколько сирот да душевных калек оставила? Большинство людей, конечно, нашли свою дорогу в жизни. А я, глупенькая, напуганная девчонка, в пятнадцать лет осталась одна в чужом городе, без копейки, без хлебной карточки. Поверите, единственное пальтишко, кофтенка да мужицкие драные сандалеты... Дело теперь прошлое, а я ведь чуть не сбилась, едва под откос не полетела. Заманили в одну компанию. Накормили. Помню, за сколько дней хоть раз досыта поела. И меня сразу на дело потащили. Видят, глупенькая, доверчивая. А должна я была «в дурку сыграть». Сейчас поясню. Один из пацанов, какой пацан, дылда здоровая, Жиганом прозвали, по кинофильму, помните? Так этот Жиган выхватывает у кого-нибудь сумку, у женщины, конечно, — и тягу. Я, будто бы посторонняя, пого́ню на ложный след должна направить. «Сыграла» я в «дурку», да, видно, не так, как надо. Сцапали Жигана, а женщина, пострадавшая, показала милиционерам какую-то книжечку, взяла меня за руку и повела. А я реву, слезы по щекам размазываю. Смотрю, привела в дом. К себе... Оказалось, она сама старшина милиции. Короче, успокоила, расспросила обо всем. Конечно, у ней глаз наметан, наверное, был... Жизнь мне спас этот человек. На первое время она поселила меня у себя. Семья большая, да еще эвакуированные... Ох, времечко было. Можно сказать, она мне вторая мать. Во всем хотелось походить на нее. Я выросла уже, стала самостоятельной, специальность рабочую получила. Говорю ей: «Пойду в милицию, хочется очень». Она мне: «Сима, милая, работа наша трудная. Ты девушка симпатичная...» Это я не для красного словца, Игорь Андреевич, так она и сказала. Конечно, какие теперь мои

годы, для женщины — солидные. Так вот: «...Милиция требует всего человека. Справишься ли?» Говорю: «Конечно». Молодость, все мне нипочем. «Тогда иди», — говорит. Пошла... А с ней мы переписываемся. Она на пенсии уже. В Перми живет. Всю жизнь отдала милиции. Вот и я по ее стопам пошла.

— Не жалеете?

— Сейчас посмотришь, как будто и нет другой работы, что пришлась бы мне по душе. И муж мой первый тоже в органах внутренних дел работал. Погиб... При исполнении служебных обязанностей. Награжден посмертно.

— А второй? — не удержался я.

— Совсем из другого теста. — На ее лице мелькнула веселая усмешка. — Краснодеревщик. Вообще золотые руки. С художественной, говорят, жилкой. В комбинате работает. Хорошо, на дому. А то как бы с такой оравой справлялся? Да еще мой подкидыш. Вот так, Игорь Андреевич, — заключила Ищенко. — Могла поломаться моя жизнь, да не поломалась. Все есть. И работа, и дети, и семья... — Она поднялась. — Заговорила я вас. Пойду.

— Нет, что вы, мне было очень интересно...

— Вы все-таки прилягте. Надо поспать. А то я со своими разговорами... Отдых голове требуется...

Да, отдых мне требовался. Но ничего из этого не получилось. Едва я снова прилег на постель, пожаловал директор совхоза. Емельян Захарович, видимо, считал себя обязанным справиться о моем здоровье. Вообще, во всех моих делах (то, о чем он мог знать и что входило в его сферу влияния) Мурзин старался максимально поддержать меня.

В кабинете главного зоотехника появились новые шторы и журнальный столик с парой кресел. Последнее, очевидно, для милых, конфиденциальных бесед. Я ничего не сказал директору. Все разговоры мои здесь конфиденциальные и, увы, малоприятные для собеседников. И меня. Но обижать заботливого хозяина не принято нигде. Правда, на приглашение отобедать у него дома я вежливо отказался. Пойдут разговоры, пересуды. Хватит неприятных (и совершенно необоснованных) слухов о следователе, что вел дело до меня. Может быть, Мурзин обиделся. Но что поделаешь, такая моя работа...

Директор выразил мне сочувствие. Порекомендовал несколько сугубо научных и несколько народных (на выбор) средств быстрого и безболезненного освобождения от недуга.

Я поблагодарил и сказал:

— У моего лечащего врача такой взгляд: нелеченая ангина проходит аж за семь дней, леченая — всего за неделю.

Емельян Захарович скромно, но басовито посмеялся. И, чтобы все-таки выдержать официальный тон наших отношений, попросил:

— Я понимаю, Игорь Андреевич, вам надо со многими людьми видеться, но нельзя ли так, чтобы не в ущерб производству?

— Помилуйте, Емельян Захарович, не упомню, чтобы навре-

дил чем-нибудь... Да и уборочная у вас, судя по сообщениям радиоузла, — я показал на тихо звучащий приемник, — идет хорошо.

— Слава богу, не жалуемся. Собственно, уже заканчиваем. Но что уборочная? Соберем этот урожай, думать о следующем надо. Зябь. А там картофель пойдет. Потом снего- и влагозадержательные мероприятия... Крутится машина круглый год. Такая жизнь у пахаря.

— Наверное, так у всех. Рабочие, мне кажется, тоже на печи не лежат. Каждый день у станка.

— Разумеется, — согласился он. — Только у них ритм один и тот же. А у нас вроде циклов. Ну, может, зимой немного легче. Да и то в сравнении. Но я хочу сказать, что сейчас особенно напряженно... Вот все думаю, не пора ли на пенсию. Года не те. Да и старые раны все больше беспокоят. Молодежи пора браться за узду. — При этих словах я почему-то подумал об Ильине: не метит ли он на место Емельяна Захаровича? — Вот каждый год осенью решаю: все, пора в конюшню, свой заслуженный овес жевать. Нет. Проходит осень. Сводишь концы с концами, глядишь, не такие уж плохие показатели. Думаешь, ладно, еще один годик. Тем более начальство не снимает. Потянем лямку... — Он погладил свой лысый череп. — Но почему-то нынче особенно тяжело заканчиваю год. И обязательства высокие... Не знаю. Подсчитаем — посмотрим.

Мурзин невольно выдал свои опасения. Насколько я понял, его беспокоили не только старые раны. Урожай... И престиж. Может быть, даже положение.

— Но какие все-таки претензии ко мне? — спросил я.

— Собственно... Понимаете, у нас каждая транспортная единица на учете, а вы на целый день грузовую машину, можно сказать, заняли...

— Я езжу на автобусе.

Мурзин кашлянул в кулак:

— О Коломойцеве я. Шофер. Трехтонка.

— Он был занят на допросе не более полутора часов.

Емельян Захарович хлопнул себя по коленям:

— Вот же! А представил повестку, будто весь день...

Я вспомнил, что действительно, кажется, не поставил ему часы. Посчитал: не город, в деревне сойдет и так. Тутошний талант-самородок со светло-голубыми глазами преподал мне небольшой урок. Впредь буду отмечать время допроса вплоть до минуты.

— Что я могу поделать, — сказал я, — моя работа, наверное, требует жертв.

— А может, как-нибудь в нерабочее время? Я же вам предлагал...

— Например?

— Ну, вечерком, после одиннадцати. Или утром. Часиков в шесть.

— Нет, Емельян Захарович, нельзя.

— Почему же? Вечером, например, самое время для беседы. Недаром люди собираются обычно, так сказать, для душевного разговора под вечер.

— Вы хотите сказать, для легкого, веселого общения... То другое. А мы не имеем права этого делать. По закону не полагается.

— Ну да, — усмехнулся он. — Прямо так вы закон и соблюдаете...

— Конечно, — сказал я. — Представьте себе, человек весь день работал, он устал, рефлексы его притуплены, внимание ослаблено. А допрос — это огромная ответственность. Тут каждое слово может сыграть решающую роль. Неточное показание может обернуться против допрашиваемого. Поэтому-то закон и оберегает его.

— И никогда никаких исключений? — прищурился Мурзин.

— Есть. Но и они тоже предусмотрены кодексом. Иногда обстоятельства дела вынуждают производить допрос и среди ночи. В любое время суток. Но это в особых случаях. И мы должны обосновать почему. За нарушение нас тоже по головке не погладят.

— Ну что же, закон следует уважать, — сказал Емельян Захарович. Он смотрел в сторону. Я чувствовал, что мои слова его не очень убедили. Или он не хотел верить мне полностью. Не знаю.

— Вот именно, надо уважать. Поэтому, дорогой Емельян Захарович, хочешь не хочешь, вам придется мириться с некоторыми моими действиями. — Он развел руками. — А насчет Коломойцева... В дальнейшем от меня будут исходить оправдательные документы, составленные самым строгим образом...

Он поднялся уходить. Спросил, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь. Я, разумеется, сказал, что не нуждаюсь. Единственное, что я у него попросил, это помочь найти человека, который разносил бы мои повестки. Дело это нехитрое, необременительное: здесь все рядом.

— Какой разговор, — согласился Мурзин. — Поможем. Да хотя бы Савелий Фомич. Днем ему делать нечего, впрочем, как и ночью. Пусть потрудится для правосудия.

— Еще одну справочку, Емельян Захарович. Я слышал, секретарь партбюро ваш в отъезде. Когда вернется?

— А что?

— Хотел побеседовать...

— Ой, не скоро.

Жаль. Хотелось поговорить с ним об Ильине. Кое-какие черты характера главного агронома стали бы для меня яснее.

...Через несколько дней я встретился с людьми из североозерского кафе. Залесскую и Ильина видели вместе. Примерно за месяц до ее смерти. Они якобы заняли столик. Ильин взял бутылку сухого вина. Я спросил, берет ли главный агроном спиртные напитки, когда обедает здесь один. Мне ответили, что иногда, если

это конец рабочего дня, выпивает стаканчик красного. Но только сухого. А оно бывает здесь очень редко.

И все-таки бутылка вина, которую они выпили здесь с Залесской, не давала мне покоя. Прийти в кафе с женщиной днем и взять бутылку спиртного — это о чем-то говорит, тем более что Залесская в положении... Вино является признаком доверительных отношений.

В довершение всего в мои руки попал документ, который заставил призадуматься еще сильнее о возможной связи Залесской с Ильиным.

По моей просьбе Серафима Карповна провела второй допрос Завражной. У Маши дома.

Показания воспитательницы мало чем отличались от тех, что она дала мне. Завражная рассказывала Ищенко, какая Анна Залесская была добрая, внимательная и милая. И какой хороший человек ее муж. И все вокруг, в общем-то, добрые и хорошие. Уже в конце допроса Завражная вспомнила, что месяца через полтора, после того как Залесские приехали в Крылатое, Аня дала ей запечатанный конверт с просьбой сохранить его на время. Простодушная девушка так и не вскрыла его даже после смерти Ани.

В конверте оказался комсомольский билет Залесской и любительская фотография, наверное, студенческих лет. Последние взносы были заплачены в декабре, то есть за полмесяца до того, как супруги покинули Вышегодск.

Снимок оказался примечательным: среди группы туристов, расположившихся на берегу лесного озера, находилась и Аня. Сзади нее стоял улыбающийся Ильин.

Залесского на фотографии не было.

То, что Залесская и Ильин на снимке оказались рядом, само по себе, конечно, ни о чем не говорило. А факт, что Аня попросила подругу спрятать фотографию у себя, придавал совершенно другой смысл тому, что на ней изображено. Тут расхождений не может быть: Залесская по каким-то соображениям не желала, чтобы снимок находился дома. Она спрятала его от мужа... Залесская не уничтожила фотографию. Значит, она была ей дорога.

С комсомольским билетом дело обстояло непонятнее. Я спросил у комсомольского секретаря совхоза, тракториста Лени Пушкарева, встала ли Залесская к ним на учет. Он сказал, что с таким вопросом она к нему не обращалась. Странно. По возрасту она еще из комсомола не выбыла. В личном листке по учету кадров Залесской в графе «Состоите ли членом ВЛКСМ» поставлен прочерк...

Что же это все-таки? Может быть, влияние мужа?

Но этих улик — показаний работников кафе и фотографии — было совершенно недостаточно для серьезных выводов. Нужны были факты более весомые.

Однако существовал еще Вышегодск. Существовала Одесса. Не проследив, не выяснив, почему эта троица очутилась вместе

в совхозе «Маяк», не разузнав, в каких взаимоотношениях находилась она в институте и после него, я не имел оснований строить дальнейшие предположения.

Посоветовавшись с Ищенко, мы решили, что она поедет в Одессу. Ведь Серафиму Карповну Валерий уже знал. Появление нового человека там могло лишний раз травмировать Залесского. Он мог насторожиться, замкнуться. А ей еще раньше удалось найти с ним общий язык.

Я же взял на себя Вышегодск. Интуиция подсказывала, что в этом городе должно открыться немало того, что может пролить свет на трагедию в Крылатом.

Москву я не мог миновать, хотел бы я этого или нет. Она просто-напросто стояла на пути в Ярославскую область. Москве я отводил сутки. Самое большее — двое, если начальство захочет лицезреть мою персону подольше.

Подлетели мы поздно ночью, в сырую, промозглую погоду. Сыпало с неба что-то холодное и мокрое. Звонить в столице принято не позже половины одиннадцатого, даже любимым, если они обременены родными. И животными вроде Дикки, Пифа, Ерофенча и других... Я отложил звонок на следующий день...

Утром, по дороге на службу, я уже предвкушал, как скажу по телефону (если начальство отпустит до обеденного перерыва и с миром): «Надюша, займи, пожалуйста, место за столиком в ЦДРИ, я изрядно проголодался». И буду торжествовать, радуясь ее растерянности и удивлению. Бог ты мой, почему такие мелочи могут доставлять прямо-таки ребяческое удовольствие?

Замначальника нашего следственного управления был у себя. Мы с ним однокурсники по МГУ и поэтому на «ты».

— Игорь, о делах потом, тут такая история, прямо голова кругом...

Эдуарда Алексеевича, так его звали, я не узнавал. Всегда розный и строгий, он был, что называется, не в своей тарелке.

— Как тебя понимать? — растерялся я.

— Центральное телевидение, — сказал он.

— Ну и что?

— Понимаешь, без всякой подготовки и... — Он махнул рукой. — Будут с минуты на минуту.

— Могли бы предупредить тебя заранее. — Я не знал, оставаться мне в его кабинете или уходить.

— Вся беда в том, что должны были заснять Ивана Васильевича, но его нет в Москве. И шеф распорядился, чтобы отдувался я.

— Радоваться надо. На весь Советский Союз прославят... Ладно, зайду потом.

— Что слава! Не осрамиться бы... Постой. Мы, кажется, одного роста. Одолжи пиджак на время съемок. Обязательно требуют при форме. Я послал шофера домой, да не знаю, успеет ли...

— Форму я могу, но ты ведь чином повыше.

— Черт, не подумал... Ты когда-нибудь снимался для телевидения?

— Пока бог миловал... — пошутил я.

— Хотя бы вчера предупредили. Я бы кое-что набросал...

А в кабинет уже бесцеремонно вторглись молоденькие ребята с какими-то большими чемоданами, со штативами, осветительной аппаратурой и другими приспособлениями.

— Останься, может, какие цифры подскажешь, — бросил мне Эдуард Алексеевич, и я увидел, что он вконец растерялся.

Парни деловито засновали по комнате, разворачивали толстые кабели, расставляли свои приборы.

К нам подошел режиссер. В берете, свитере, темных очках и ботинках на толстой рифленой подошве.

Он был маг. Он был воплощенное спокойствие. Все недоумения исчезали, растворялись сами собой. Электрик прокуратуры нашел, куда можно было включиться, хотя поначалу утверждал, что никакие пробки не выдержат нагрузки от электроприборов. Эдуард Алексеевич с первой репетиции нашел тон и нужные слова, цифры и факты. Даже форма замначальника управления прибыла в ту минуту, когда должна была начаться съемка.

Все заняли надлежащие места. Режиссер, невозмутимо оглядев свою пышную свиту, вдруг сказал:

— Подождем три минуты. Пусть пробьют. Их бой помешает. — Он кивнул на сейф, где стояли часы.

— Они никогда не бьют, — успокоил его Эдуард Алексеевич.

— Отлично. — Режиссер поправил очки. — Внимание, приготовились. Мотор!

Застрекотала камера, замначальника управления сказал первую фразу и... мелодично и нежно зазвучали удары невидимых молоточков.

— Стоп! — поднял руку режиссер. — Пусть-таки пробьют...

С улыбкой, в которой сквозило явное превосходство, он глядел на мое начальство.

Уже потом, когда съемка закончилась, а телеработники уехали и мы остались одни, замначальника управления сказал:

— Какая-то мистика. Никогда не знал, что эта побрякушка функционирует.

— Ты просто этого не замечал. Наглядный урок психологии, — рассмеялся я. — Привычка не реагировать на постоянный раздражитель. Павлов.

— Поразительно. — Он все не мог прийти в себя от конфуза. — Ну и ну...

Я доложил ему вкратце суть дела. И соображения, почему еду в Вышегодск.

— Видишь ли, одобрять или не одобрять какие-то твои действия я пока не стану. И как твой начальник, и, если хочешь, как коллега. Результат, результат — вот что нужно. Только до сих пор ты ничего нового не открыл. Воз, как говорится, и ныне там, товарищ важняк.

Я это знал лучше его. Что меня, собственно, и мучило. Он безжалостно продолжал:

— Допустим, ты откроешь, что Ильин имел с Залесской более близкие отношения... что дальше?

— Дальше встает вопрос, по какой причине он это скрывает.

— Само желание сохранить в тайне близкие отношения с женщиной скорее достойно похвалы. Ты уж меня прости, это по-мужски.

— Когда дело не касается криминальной истории...

— А ты можешь доказать, что самоубийство Залесской — криминальная история? Что, если просто психопатология?

— Все, как один, твердят: она была нормальным, жизнерадостным человеком. Счастливая в браке...

— Во-первых, все счастливые семьи одинаковы, как сказал Толстой. Во-вторых, есть человек, врач, между прочим, который оставляет следствию возможность причислить этот случай к разряду психических отклонений.

— Мамбетова, из женской консультации? — мрачно сказал я.

— Она врач. К ней надо прислушиваться. А если уж есть такой факт, с ним надо считаться.

— Я и не собираюсь игнорировать факты, — буркнул я. — Просто хочу видеть этих людей как на ладони. Может, тогда буду спокоен.

— А сейчас не спокоен, выходит?

— Нет. Копошится какая-то штука.

— Раз копошится, ее надо пощупать, эту самую штуку... — Он улыбнулся. — Против натуры не попрешь. Об одном тебя прошу, не тяни. Пока еще имеешь лимит времени. Пока...

— Постараюсь. Конечно, постараюсь.

— Нет, я не шучу, — сказал он, на этот раз всерьез.

Ушел я от него с какой-то неразвеянной тревогой: на правильном ли я пути?

Единственное утешение — Вышегодск что-то покажет, во всяком случае, разрешит многие неясности.

А вдруг еще больше запутает?

Да, товарищ Чикуров, выбрал ты себе профессию! Хорошо твоей сестре: скрестили там тополь с каким-нибудь баобабом, и жди себе спокойно по десять, двадцать лет, что из этого получится.

Ни жалоб, ни раздражающих душу сомнений, что твое дело отразится обидой или болью в каком-нибудь человеческом сердце. Если не преступлением. Потому что карать невинного так же преступно, как не наказать виновного. Моя сестра молодец. Ей-богу, она просто цветет с каждым годом. А я седею. Надя говорит, что мне это идет. Но отец мой и мать тяжело вздыхают. Оба они пережили много. Но седых волос наперечет...

Из своего кабинета я позвонил Наде.

— Игорь Андреевич, я тут без вас как без рук! — радостно воскликнула Агнесса Петровна. — Нет, какая техника!

— А что? — не понял я.

— Слышимость, говорю, хорошая. Будто вы рядышком, в Москве...

— А я действительно в Москве.

— Не может быть! — воскликнула она. — Надя же уехала!..

Наверное, на Золотые Пески. Я сам настоятельно советовал ей в последнем письме поехать в Болгарию.

— Ну что ж, пусть отдохнет...

— Да нет, на Алтай! Вы разве не встретились?

— К сожалению, нет...

— Жаль, — сказала Агнесса Петровна. — Она была в командировке в Барнауле и потом взяла за свой счет отпуск на неделю.

Честно говоря, меня словно оглушили, и я почему-то решил переменить тему разговора.

— Как там наш беглец? — спросил я.

— Какой?

— Что сбежал со свадьбы...

— Вы представляете, все кончилось хорошо. Как в кинокартине. Спасибо за помощь, но она, к счастью, не понадобилась. Явился с повинной. Так, кажется, у вас говорят?

— Так. Я рад.

После нашей беседы моя душа разрывалась надвое. Одна вопила от радости, другая — возмущалась несправедливостью.

Вот тебе и Надя! Кто бы мог предположить, сколько героизма скрывалось за спокойной, даже немного равнодушной внешностью моего светловолосого конструктора-модельера! Махнуть к черту на кулички, на авось, чтобы увидеться со мной. И как беззастенчива, безжалостна судьба. Вместо того чтобы встретиться, мы разминулись.

Но ведь надо было договориться со мной! Лететь на Алтай наобум... Попробуйте проследите полет летучей мыши...

Просто у Нади, наверное, прямой и светлый, как она сама, ум. Человек уехал в командировку в город Н., значит, его можно найти на этом самом месте.

Вышегодск — город в основном деревянный, двухэтажный. Конечно, новые дома и кварталы блочные. И такие же однообразные.

Остановился я в гостинице «Советская» и, наведя справки, узнал, что сельхозинститут рядом; собственный, оставшийся от родителей дом Залесской, где они жили с мужем, — тоже. И все учреждения, интересующие меня, удалены самое большее на расстояние двадцати минут ходьбы.

Единственное место, куда надо ехать автобусом (он всего один, но почему-то под номером пять), это общежитие института.

В общежитии проживали несколько лет назад Залесский и Ильин. Это мне тоже понадобится, хотя в общежитии сейчас живут люди, которые не знают, что происходило шесть лет назад, когда Ильин, Залесский и Аня еще учились в институте.

Студенческие общежития напоминают мне вокзалы. Одни приходят, другие уходят. Это твое и не твое. Помню, как-то зашел я в общежитие МГУ на Стромынке. И было очень грустно. Словно дорогая, любимая тобой вещь стала принадлежать другому...

Я имею привычку всегда пройтись по незнакомому городу. Официальные свидания я запланировал на другой день.

Центральная улица скоро кончилась, и я свернул на другую. Где-то здесь домик, где жили Залесские.

Знакомая картина, типичная для маленьких городков, — рядом с центром прямо-таки музейные экспонаты. Так выглядела и их изба.

Покосившийся сруб среди голых кустов сирени. Рядом такой же ветхости сарай. Единственная добротная вещь — забор. Его, по-видимому, поставил новый владелец. Я решил зайти.

Открыла мне совсем молодая женщина в домашнем халатике.

Визит следователя мало кому приятен. И я, чтобы предупредить волнение, с порога спросил:

— Товарищ Нырков дома?

— Да, у него выходной. Проходите, пожалуйста. Жора, к тебе...

Из сеней пахнуло перегретой комнатой, щами и пеленками. Меня встретил маленький, худенький, щупленький паренек в джинсах и майке.

Я знал, что он работает продавцом в мясном отделе. Дом куплен на его имя. Все-таки лучше было прийти сюда, чем вызывать парня в прокуратуру.

— Хочу выяснить у вас кое-что о прежних хозяевах. — Я протянул удостоверение.

— У м-меня все док-кументы в порядке, — с трудом выговорил Жора. — Оформ-мили у нотариуса... К-как полагается. Купил на т-трудовые сбережения. Теща п-помогла. Если не в-верите док-кументам, есть к-квитанции п-переводов...

Через некоторое время я убедился, что заикался он не от встречи со мной. Просто дефект речи. Правда, узнав цель моего прихода, Нырков стал говорить значительно легче.

— До покупки дома вы знали Залесских?

— Нет.

— А как отыскали друг друга?

— Я тут работаю недалеко, за углом. Ну, со всей улицы приходят в магазин. Люди ведь, как не поговорить? С тобой заговаривают — отвечаешь и ты. Про разное. А мы с женой комнатку снимали. Сами понимаете... Ребенка ждали. Вот я и спрашивал кое у кого, не продается ли дешевый домик. Или даже полдомика. На хоромы где деньги взять? Я два года как демобилизовался.

Да, хоромами эту избу никак не назовешь. «Сборно-щелевой», что выделил Залесским совхоз, выглядел дворцом в сравнении с этим. Однако, проходя мимо кухни, я увидел холодильник ЗИЛ. Дорогая вещь.

— И кто же вас свел?

— Да никто. Как-то Валерий подходит ко мне. Прямо в магазине. Слышал, говорит, интересуетесь жильем. Мы условились встретиться. После работы. Ну я пришел.

— Аня была дома?

— Дома. Но она в разговоре не участвовала. На кухне была.

— Вы интересовались, почему продают?

— Продают, выходит, так решили...

— Значит, разговора об этом не было?

— Мы же люди. Конечно, потом спросил.

— И что вам сказали?

— Уезжаем, мол, вызывают на работу. Там и жилье дают...

— Какое у вас сложилось впечатление: они все по согласию делали? Ну когда с вами беседовали и вообще... в личных взаимоотношениях?

— Как вам сказать? Я больше с Валерием толковал. Мужик, он в семье голова... А люди они, сразу видно, культурные. Между собой вежливы. Образование, оно кое-что значит...

— Соседи вспоминают их?

— Мы-то здесь без году неделя...

— Но ведь сошлись с кем-нибудь?

Нырков кивнул в сторону кухни, где хлопотала его жена:

— Это бабское дело. Она, наверное, болтает с женщинами. Мне некогда. Намахаешься за день топором, еле ноги доносишь... Правда, когда узнали на улице, что Аня покончила с собой, обсуждали...

— А как узнали?

— На одной земле живем. Написал, видать, кто-то. Может, Анфиса Семеновна сообщила. Она к соседям ходит.

— Кто такая Анфиса Семеновна?

— Крестная Ани. Деловая бабка...

Стоп, Чикуров. На сцене появляется важное лицо. Крестная. Ни по каким документам я бы ее не нашел.

— Крестная, говорите... Часто она бывает здесь?

— Часто. Пенсионеркам, им делать нечего. А она к тому же одинокая. Насколько я понял, у Ани заместо родной матери была. Они при нас собирались. Мы у них кое-что для хозяйства прикупили. Все равно обживаться надо было. Им лучше и нам. Аня говорит, я, мол, в этом деле мало понимаю, толкуйте с крестной. В смысле о цене и прочее.. Да я могу ее адрес дать. Вернее, объяснить, как пройти. Отсюда недалеко...

От Нырковых я уходил в хорошем настроении. На всякий случай предупредил, что могу вызвать, оставил номер своего гостиничного телефона: мало ли что может всплыть...

Еще раз оглядев ветхий домишко, где прожила почти всю свою недолгую жизнь Аня Залесская, до замужества Кирсанова, я зашагал к гостинице...

Анфиса Семеновна плакала. Я знал, что остановить слезы нельзя. Пока они сами не остановятся.

Чистенькая комната в новом доме. Как говорят, с подселением. Веселые обои с цветочками. И большая фотография Ани с сыном. Для Анфисы Семеновны горе по поводу смерти Залес-

ской по-настоящему глубоко личное. Я пришел к старушке с утра, отложив встречу с работниками института.

— Анфиса Семеновна, прошу вас, возьмите себя в руки. Я понимаю, горе у вас большое. Но слезами уже не поможешь..

— Милый человек, ничем уже не поможешь. А как взять себя в руки, когда сами текут?

— Прошу вас...

— Один у меня был человек на всем белом свете. Я ее, можно сказать, вырастила. Матери она лишилась в одиннадцать годков...

— А Сергей?

— Сергей, Сереженька... — Старушка высморкалась в махонький платочек, утерла слезы. — Что Сереженька? Он про бабку Анфису и знать не будет. Те люди чужие для меня. Валерий женится, дай-то бог ему хорошую жену, а Сереже — хорошую мать. Совсем отрезанный ломоть... Кому бабка Анфиса нужна? Богу — и то не нужна. Не прибирает. Охо-хо, грехи наши тяжкие. Как чувствовало мое сердце, все отговаривала Анечку ехать. Нет, видать, судьба. Погубила ее жизнь, попутал нечистый. Да и она сама как предчувствовала. Не с радостью собиралась, ох, не с радостью...

— А почему же поехала?

— Любила, видать, своего... — Анфиса Семеновна вздохнула.

Старушка постепенно успокаивалась.

— И она говорила, что не хочет ехать?

— Не то чтобы прямо не хотела. Тут у нее все родное. Две могилки рядом. Мать и отец родные. А с другой стороны, здесь и горе свое хлебнула с малолетства. Как подумаешь, несладко у нее жизнь прошла. И будто все наладилось, нет, не сдержалась. Сама одним махом и кончила...

— Отец ее женился во второй раз?

— Сергей Петрович-то? Что вы. Сам еле тянул лямку. Сердце. Всего на восемь годков пережил Катерину. Да и то одно мучение. Все по врачам да по врачам. А мечтал: сломают их домишко, квартиру в новом доме дадут. Не дожил. И Аня тоже...

Все, что говорила крестная Ани, мне было важно. Но требовалось направить этот разговор.

— Анфиса Семеновна, как получилось, что Валерий с Аней зарегистрировались только после пяти лет совместной жизни?

— Не жили они пять лет совместно. Год даже не прожили вместе.

— Постойте, Сергей — их ребенок?

— Это точно. Сергей — Залесский. Да вы на карточку посмотрите. Вылитый отец. — Она показала на фотографию на стене.

— Как же получается тогда?

— А очень просто. Пожили они с Аней месяца три, он уехал к своим. Как бы благословения просить. Аккурат у них каникулы были. И как в воду. Ни слуху ни духу. Аня, значит, в положении. Вроде и простая, а гордая была. Что делать? Институт бросать жалко. Два года оставалось. Да и отец, покойник, нака-

зывал: учись, говорит, дочка, чтобы жизнь у тебя интересней нашей сложилась. Пришлось ей и учиться, и работать, и Сережку нянчить. Слава богу, я тут, рядышком. Вдвоем, можно сказать, и подняли. Люди хорошие помогли. И в институте тоже. А в этом году, нет, в прошлом, прямо в сочельник Валерий возвращается...

— Он помогал Ане?

— Какой там! Ни строчки за эти пять лет не написал.

— Как же, ведь ребенок?

— Не знал он о Сергее.

— Аня не писала ему?

— Я же сказала, что гордая она была. Если бы она ему отписала, он тут же бы прискакал.

— Значит, о сыне он узнал впервые в конце прошлого года?

— Я и толкую об этом. Прямо под Новый год приезжает, в ножки ей. Говорит, помотался по свету — лучше тебя нет, прости, если можешь. А как не простить, коли сыну отец родной? От своего не бегут... Тем более Сережа ему сразу на шею.

Мне припомнился разговор с Ищенко... Залесский же не воспитывал *своего* сына, а тот ему сразу на шею...

— Но ведь ребенок видел его в первый раз! — сказал я.

— Родное, оно чует. Ребенку ласки отцовской, как солнца, требуется. В садике на улице все дети про своих отцов говорят. А детское сердце чуткое, обидчивое...

— Она его сразу простила, я имею в виду Залесского?

— Я это уж не знаю, сразу ли, на следующий день ли, а может, и через неделю. Кто промеж мужем и женой влезет? Одним словом, приходят они ко мне на другой день нового года, по новому стилю, говорят, зарегистрировались...

Я вспомнил справку из загса.

— Наверное, третьего января?

— Постойте. Да, третьего. Старуха я, память прохудилась... Обженились, значит. А мне что? Я рада. Хватит, думаю, Ане в матерях-одиночках ходить. Перед людьми все-таки неудобно. И Сережка при отце. Родном. Здесь, у меня, мы и отпраздновали. Валерий в магазинчик сходил. Все сам. Как полагается, шампанское, бутылочку водки. Но водку не всю выпили. Я питок никудышный, а больше мужиков нету. Валерий говорит, увезу Аню отсюда, надо, мол, жизнь посмотреть... Увез... — Старушка неожиданно замолкла.

— Почему именно в Крылатое?

— Бог их знает. Человек к человеку тянется...

— К какому человеку?

— Дружок Валерия там работал, кажись. Да, точно. Он их и пригласил. Обещал положить зарплату хорошую, квартиру выделить...

— Не Пащенко?

В Крылатом я слышал о нем от Мурзина. До Ильина был главным агрономом. В совхозе его прозвали Громышок.

— Он самый, — подтвердила старушка. — Я-то его в лицо не видела.

— Ну это, так сказать, повод уехать. А других причин не было?

— Не понимаю, мил человек, ты уж объясни мне, старухе...

— Может быть, им здесь нельзя было оставаться, люди болтали что-то или еще что другое?

— Да нет же! — всплеснула она руками. — Живи, сколько душе угодно. Напротив. Домишко-то их вот-вот сломают. И Жорке дадут квартиру. Как моя, только целиком. Без подселения. А то бы Аня с Валерием получили. Чего не жить?

У меня промелькнула мысль: теперешний хозяин дома, Нырков, отлично знал, что ему надо. Его бы действительно устроило и полдома...

— И все-таки почему они так быстро уехали?

— Быстро, — кивнула старушка. — Не сиделось тут, и ничего с ними не поделаешь.

— Казалось бы, люди встретились через столько лет разлуки, присмотритесь друг к другу, может таки не выйдет совместная жизнь...

— Во-во-во! — кивала Анфиса Семеновна. — Точь-в-точь мои слова. Валерий смеялся: в наше, говорит, время думать некогда. Решили, и баста. Домик побоку...

— Выгодно?

— Хорошо продали, — сказала старушка, чуть запнувшись.

— И за сколько?

— Я уж не помню, сколько взяли. Да у Жорки, чай, документы имеются... — посмотрела она на меня невинно.

Интересно устроен человек. Он точно знает, где опасность. Может раскрыться, расчувствоваться, но при этом в глубине сознания у него всегда сидит часовой. Я этот вопрос задал неспроста. Уж слишком незначительная сумма отражена в документах о продаже дома. Явно, Нырков купил его дороже. Но, повторяю, он платил за квартиру в новом доме в недалеком будущем. Со всеми удобствами и обслугами цивилизации... Кто так умело провернул дело? Теперешний хозяин? Аня? Валерий?

Нырков сказал об Анфисе Семеновне: деловая бабка...

В одном я был уверен: этот секрет мне не раскрыть. Да и задача у меня другая.

Я говорил с крестной Ани и все время готовился к самому главному вопросу. Об Ильине.

— Анфиса Семеновна, — спросил я, когда она кончила перечислять, что именно из вещей Залесских купили Нырковы, — вы знаете Ильина?

— Колю?

— Да, Николая Гордеевича.

— А как же. Хорошо знаю.

— Какие у него были взаимоотношения с Аней?

— Так он ведь еще допрежь Валерия за ней ухаживал...

Она подтвердила мои догадки.

— До того, в смысле, как они вообще стали с Валерием встречаться?

— Да. Ну до того, как они, это самое, пожили с Валерием у них в доме и он уехал к родителям за разрешением жениться. Так вот, Николай еще раньше него дружил с Аней. Я не знаю, как правильно сказать. В старое время парень пройдет с девушкой по улице, считай, кавалер, жених, стало быть. Теперь говорят — дружат. Ну а она, значит, выбрала Валерия... Валерий уехал. Потом родился Сережа. Николай после института тоже укатил и объявился снова в прошлом году. Какую-то диссертацию сдавать. Или отстаивать, не знаю я их порядков... Ну и опять к Ане подлаживаться. Первая любовь не ржавеет... — «Это мы знаем. Знакомая народная мудрость», — подумал я про себя. — Аня его, конечно, привечает, не погонишь же живого человека. А я вижу, не может она Валерия из сердца выбросить совсем. И мечется между огнем и полымем...

— Ильин бывал у нее дома?

— Бывал. Частенько. С Сережкой играл. Ко мне вместе приходили.

— И как у них, что чувствовалось?

— Погоди, мил человек. Я смотрю, он с Сережкой, как с родным. Вышел это Коля на минуточку, а я Ане и говорю, мол, зачем парня мучаешь. Да и себя определить надо. А она мне: теть Фиса, так называла всегда, теть Фиса, говорит, я сама еще разобраться не могу, куда уж вам... Короче говоря, спровадила меня. Николай, скажу вам, шибко Сергею Петровичу нравился...

— Аниному отцу?

— Ага. Мне говорил по секрету, что, мол, крепкий мужик из него получится... Слово, правда, другое употребил. Дай бог памяти... Да, добротный, говорит. Хозяин справный. Он им, помню, заборчик новый поставил. — Да, забор Ильин поставил крепкий. — Сергей Петрович слаб был...

Я перебил старушку:

— Так, значит, вы спросили у Ани, выйдет ли она за Ильина? А дальше?

— Дальше? Один раз еще только и был разговор. Прихожу я к ним утром в субботу или в воскресенье, не помню точно, какое-то дело до Ани было. Гляжу, Николай в кухне под краном умывается. Она ему полотенце подает... Я что-то такое сказала ей. В шутку. Хорошо, мол, когда мужик в доме. Она ничего не ответила...

— И когда это было?

— Ой, запамятовала.

— Пожалуйста, припомните.

— Какой-то, кажись, праздник обратно был. Вспомнила! Верно. Не суббота, не воскресенье, а праздник. Седьмое ноября.

— Значит, Ильин у нее ночевал?

— Выходит, ночевал.

— А как он воспринял приезд Валерия?

— Вот и получается, что Валерий ему уж во второй раз дорогу перебежал.

— Вы не знаете, они встречались после этого?

— Не знаю, врать не хочу.

— Он провожал их?

— На вокзале я его не видела.

— Аня его вспоминала или нет?

— Муж приехал...

— А она не просила вас не говорить при Валерии об их отношениях?

— Уж какие там были отношения, я не знаю...

— Человек бывал в доме... Ночевал... А вы — близкий, почти родной, могли проговориться.

— Родно-о-ой, — протянула Анфиса Семеновна. — Роднее не было. Что-то в этом роде Аня меня предупреждала. Говорит, надо все начинать сначала. А старое — вон. Я, хоть и старуха, смекаю еще. Могла и не предупреждать. Я худа ей не желала. Хотела бы всегда помогать, всей душой. И вот этими старыми руками...

Мы говорили долго. Воспоминания волновали старушку. Видимо, Кирсановы являлись самыми близкими, если не единственными людьми в ее жизни, память о которых воскрешала много хорошего и дорогого.

— Еще один вопрос. Когда умер отец Ани, возникало у нее желание покончить с собой? Может быть, она вам говорила об этом?

— Нет, не припомню такого. Горевала шибко. Но молодость свое брала. — Анфиса Семеновна подумала. Помолчала. — Нет, не было и мыслей таких у ней.

Я чувствовал, Анфиса Семеновна утомилась. Да и сам, признаюсь, стал терять ясность направления беседы. И решил на сей раз закончить.

Она вдруг спохватилась:

— Скажи, мил человек, а для чего тебе все это надо? Может, что нехорошее открылось?

— Да чего уж хорошего в смерти человека? — уклончиво ответил я. — Тем более такой молодой и красивой женщины.

— Верно. Ей бы жить да жить. А уж как о Сергее вспомню, так сердце кровью обливается. Да и Валерий безвинно страдает.

Все же мой ответ старушку не удовлетворил. Но у нее хватило такта и ума в дальнейшие вопросы не вдаваться. Неглупая была эта Анфиса Семеновна. Хотя на вид простая и бесхитростная...

Можно ли было ей верить? Я не мог найти причин, для чего бы ей стоило говорить неправду.

А если человек врет только для красивой лжи — это болезнь. Это патология. Такие тоже мне встречались.

Нет, крестная Залесской была в здравом уме.

Но все-таки ее показаний для меня было мало. И я отправился в сельскохозяйственный институт.

Уже один взгляд на теснившиеся на небольшом пятачке здания говорил о его эволюции.

Все, по-видимому, началось с длинного одноэтажного строения

красного кирпича врасшивку. Так строили еще до революции. Может, это была церковноприходская школа. Потом выросло двухэтажное. Кирпич и дерево. Много стекла. Местный, так сказать, конструктивизм. Площади и солидности хватало поначалу только для техникума. Но когда размахнул свои крылья домина в пять этажей, с колоннами, портиками, капителями, с декоративным карнизом, с широкой лестницей, проглотившей полдвора, внушительное здание не могло стать не чем иным, как высшим учебным заведением. А что оно, учебное заведение, будет жить и развиваться дальше, категорически утверждала пристройка наших дней. Совершенно гладкий, ровный параллелепипед с широкими окнами и керамзитовой штукатуркой. Слово теперь оставалось за достижением будущей архитектуры. Тогда институт, возможно, дорастет до академии...

Исполняющий обязанности ректора разговаривал со мной недолго.

— Да, да, слышал. Печальная история. Залесского я не помню. А вот Кирсанову — хорошо. Аккуратная, дисциплинированная. Активистка. У Ильина я присутствовал на защите. Положение обязывает — председатель ученого совета. Но, скажу откровенно, на его защите я испытывал удовольствие. Редкое сочетание — хорошая научная подготовка и практический опыт. Но, сами понимаете, в личном, житейском плане я Ильина, можно сказать, не знаю совершенно. Тем более он у нас был аспирант-заочник. Поговорите лучше с профессором Шаламовым. Он его научный руководитель...

Секретарша ректора помогла мне найти Шаламова в коридоре института.

Яков Григорьевич извинился, что мне придется немного подождать: он заканчивал разговор с двумя грустными, усталыми молодыми людьми. По-моему, разговора не было. Сухощавый, седой как лунь профессор спокойным, методическим голосом вбивал в смиренных учеников что-то важное для них. Уверен — совершенно напрасно. Когда он их отпустил, они пошли прочь сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, пока не побежали. Шаламов пригласил меня в свой кабинет. Он возглавлял кафедру растениеводства.

Посмотрев на мое удостоверение и узнав, что я хотел бы поговорить об Ильине, он сцепил свои длинные пальцы и положил руки перед собой на стол.

— Странно: Ильин и следствие... Понятия для меня взаимоисключающиеся.

— Почему вы решили, что следствие соприкасается обязательно с преступниками?

— О честном человеке узнают все у него самого.

У профессора была кристальная логика. Мне надо было или выворачиваться, или признать его проницательность, то есть раскрыть свои замыслы. Одно не лучше другого. Вот что значит сила слова!

— Честность нередко требует не меньших доказательств, чем виновность.

— По-моему, правде всегда тяжелее, чем кривде. На то она и правда. Впрочем, насколько я понял, предмет нашего разговора — Николай Ильин. И вам нужны факты, факты и только факты. Я к вашим услугам.

— Ильин закончил аспирантуру?

— Конечно. И защитился. В феврале месяце.

— Странно. О том, что он кандидат, Ильин не пишет в документах.

— Но диссертация еще не утверждена в ВАКе.

— Ясно. Значит, дело не в его скромности?

Шаламов пожал плечами:

— Нескромно, на мой взгляд, кричать о своей необразованности. Знаете, есть такое высказывание: «мы институтов не кончали»...

— Ну, видите ли, институтов просто-напросто на всех не хватит, сколько ни строй...

— Ума тоже не всем хватает...

Профессор находился, что называется, в состоянии «момента». Да, два молодых балбеса здорово подпортили ему настроение. Надо его вернуть в состояние равновесия.

— Насколько я понял, об Ильине вы этого сказать не можете?

— Выходит, вас уже проинформировали? — Он усмехнулся. — «Парадокс Шаламова — Ильина»...

— Нет. Видите ли, вы первый из института, с кем я разговариваю обстоятельно.

— Прошу прощения. А впрочем, чтобы развеять таинственность, поясню. Всех до сих пор удивляет, что Николай был аспирантом именно у Шаламова, а не у кого-либо другого...

— Яков Григорьевич, я ведь совсем ничего об этом не знаю. И, если можно, разъясните, пожалуйста, профану в вашей науке, в чем, собственно, соль?

— Следователя могут интересовать и такие вопросы?

— Прекрасное мнение о нас...

— Простите, если обидел... В двух словах скажу. Вы, конечно, слышали о травопольщиках и нетравопольщиках?

— Разумеется.

— Дело в том, что Ильин — травопольщик. Конечно, это грубо говоря. Я же придерживаюсь другого направления. И тем не менее не было аспиранта интереснее и поучительнее для меня самого. Желал бы, а в душе чувствую, что Ильин считает меня тоже не последним дураком... Понятно?

— Вполне. Но знаете, не всегда людей сводят только общие взгляды.

— И слава богу! Только так и возможно жить. Если бы человек понял, что его личный пуп, его мнение не есть центр вселенной, многие беды не случались бы...

— Я с вами согласен. Потому что есть вещи, которые соеди-

няют молодого и старого, человека одной национальности с человеком другой и так далее.

Шаламов кивал. И я чувствовал, что этот человек, с белой головой, с крепкими руками, уже знает, куда я клоню. Поэтому дальше развивать свою мысль я не стал.

Бывает иногда такое ощущение— ты что-то не осилишь. Шаламова бы я не осилил. Об Ильине у него твердое мнение. И все. Скала, кремень. Но... назвался груздем...

— Итак, мы выяснили: Ильин честный, принципиальный ученый...

— Это не мои слова, но я под ними подпишусь, — улыбнулся профессор.

— Таким ли он был в другом, например, в личной жизни, как вы думаете?

— О его личной жизни я ничего не знаю.

— Насколько я понял, он был вашим любимым учеником...

— И тем не менее.

— Впрочем, вполне возможно...

Я не знал, что подействовало на профессора. Тон ли, каким я произнес последние слова, или мой разочарованный вид. Но это его задело.

— Не думайте, что перед вами стоит этакая деревяшка, сухарь, ученая крыса. В древности ученики и их наставники жили одной семьей. Вместе ели, вместе путешествовали, отдыхали, развлекались... Простите за нескромность, что я называю себя наставником, но я таковой хотя бы по должности. И уверяю вас, судьба моих аспирантов, во всяком случае тех, в которых я вкладываю, помимо знаний, душу, волнует меня. И когда я говорю, что не знаю об интимной жизни Ильина, я не стремлюсь от вас что-либо скрыть. Ведь Николай учился в заочной аспирантуре.. Он приехал за три-четыре месяца до защиты. И почти все это время занимался оформлением работы... Поверьте, я был бы рад знать его поближе, чтобы защитить, ибо уверен в том, что он честен.

— Из чего вы это заключаете?

— Не может быть человек раздвоенным.

— «Гений и злодейство несовместимы...» — процитировал я.

— Точная мысль. И Пушкин имел право это сказать.

— Но неужели Ильин никогда ничем не выдал своих привязанностей, влюбленности?

— Он был скрытен. Впрочем, не то слово. Он сильный человек. А о личном действительно нужно молчать. Болтун у меня не вызывает доверия. Скорее — брезгливость.

— Хорошо. Вы знали, что он был влюблен в сотрудницу института, лаборантку Аню Кирсанову?

Шаламов поднял удивленные глаза:

— Для меня это новость.

Признаюсь, он меня ошарашил больше, чем я его. Неужели в маленьком коллективе можно что-то скрыть?..

Шел я от профессора совершенно сбитый с толку. Шел по ма-

ленькому, деревянному Вышегодску, на меня из окошек с подоконниками чуть ли не у самой земли смотрели бабки, прячась между горшками с цветами. И удивлялся, как вообще в этом городке можно что-либо скрыть от досужих глаз, когда каждый день видишь одни и те же лица и половина населения приходится друг другу родней, а другая — близкими друзьями или родственниками друзей.

Например, весь Скопин знает, что сын Андрея Чикурова холостяк. И когда я приезжаю погостить, со всего города в наш дом стекаются тетки и дядья, сестры и братья и вообще седьмая вода на киселе. Разговор идет только о моей женитьбе. Сколько моих «невест» уже повыходило замуж — не счесть. Но отец (почему-то мать поменьше) не смиряет своего рвения и каждый раз, как купец, расхваливает очередную партию подобранных им моих возможных избранниц. Не дай бог, я бы пошел с кем-нибудь из землячек в кино. Это было бы равносильно подписанию приговора, который окончателен и обжалованию не подлежит.

Не думаю, чтобы в Вышегодске были другие нравы.

Вечером у нас состоялся условленный еще в Крылатом телефонный разговор с Ищенко. Она сказала, что уже успела встретиться с семьей Залесских. Я ее попросил выяснить у Валерия насчет Ильина. Поосторожней, конечно. Но и настойчивее. Почему-то после нашего разговора «по душам» в совхозе я доверял Серафиме Карповне все больше и больше. Преданность делу, по-моему, хороший аттестат для работника...

Константин Пащенко, который работал в «Маяке» главным агрономом до Ильина, теперь трудился в районном управлении сельского хозяйства и прикатил на свидание со мной в прокуратуру на служебной машине. Было видно, что он очень хочет, чтобы я это знал. По долгу вежливости я поинтересовался, не оторвал ли его от работы и прочее в том же духе.

— Ничего, ничего, — покровительственно сказал он, — все мы трудимся, все мы знаем, когда что надо... А работа моя — поля, поля и еще раз поля. Поверите, из машины не вылажу. И вот сейчас от вас — прямо в совхоз. Шоферу дал задание заправиться бензином сполна. Кто знает, сколько километров придется отмахать...

Я смотрел на него и удивлялся точности, с какой русский человек метит прозвищами. Громышок...

Пащенко был, пожалуй, немелким мужчиной. Но оттого, что он пыжился, силился казаться солиднее, было ощущение, что он на пределе. Как шар. Выпусти воздух — останется комочек.

— Я вас, товарищ Пащенко, постараюсь не задержать, — сказал я.

— Да, в общем-то, мне засиживаться, сами понимаете. Я-то сам ради бога. Люди ждут...

— Скажите, пожалуйста, вы учились вместе с Ильиным и Залесским?

— Да. Имел, так сказать, возможность их знать.
— Ну и что вы скажете, например, об Ильине?
— Что сказать? Был обыкновенным студентом. На третьем курсе в партию вступил... Учился он усиленно.
— Как это понять: хорошо или плохо?
— Знаете, оценки еще ничего не говорят. Кого-то из великих людей выгнали из учебного заведения за плохую успеваемость. А потом получился всемирный ученый...
— Возможно.
— В студкоме был, в факультетском научном обществе, в совете по туризму. — Пащенко загибал пальцы и смотрел на меня. — Не много ли брал на себя?
— Но ведь это в основном выборные должности... — сказал я и подумал, что почему-то защищаю Ильина.
— Кто не хочет, того не выбирают.
— Его уважали товарищи?
— Если можно назвать уважением то, что на человека спихивают работу... Если вы считаете это уважением — пожалуйста.
— Он пользовался успехом у девушек?
— Колька? Да вы смеетесь!
— Нет, товарищ Пащенко, я просто спрашиваю, как было в действительности.
— По-моему, с ним девушкам неинтересно. Я, видите, не красавец какой-нибудь, но мне почему-то везло. Не внешностью надо брать, а умением создавать обстановку, заинтересовать...
Я вдруг понял, что Пащенко принимает наш разговор за приятельскую беседу. И бог с ним. В таком тоне он будет держаться откровеннее.
— А Ильин не умел?
— Конечно, нет. Он не умел ни к чему приспосабливаться. По его лицу сразу было видно, чего он хочет. Знаете, есть такие. Прямолинейные. А кому такое нравится?
— Ильин нравился девушкам?
— Влюбилась в него одна студентка. Он ей прямо и сказал: не страдай, мол, не люблю. Кто же так делает? Ведь это еще больше разжигает...
— А с Аней Кирсановой как получилось? — Я намеренно задал вопрос в прямолинейной форме.
— Все так же, только наоборот. Как ни бегал за Аней, ничего не получилось.
— Когда он увлекся ею?
— Дайте припомнить. На втором курсе.
— До того как она стала встречаться с Залесским?
— Да.
— А вы не вспомните, когда Аня стала встречаться с Валерием?
— Помню. Отлично помню. Мы заканчивали четвертый курс. И вдруг сенсация: Валерка, за которым бегали все девчата, ходит с Кирсановой.
— Интересный парень?

— Наповал! Немного, как говорится, задаваться любил, а в общем — с ним не соскучишься. Анька отхватила лучшего парня в институте.

Пащенко мелко захихикал. Ну если нелюбовь к Ильину можно было понять: все-таки Ильин имел вес в совхозе, а его, Пащенко, мягко выражаясь, попросили, то равнодушие к Залесскому, его горю объяснить трудно. Об умершей, дело которой и свело нас, он говорил без всякой печали.

— А Ильин ревновал?

— Своей прямолинейной башкой Николай дошел, что тут ему делать нечего.

— Может, у него изменилось поведение, стал замкнутым?

— Он всегда был бирюком.

— Не преследовал Кирсанову?

— Вряд ли.

— Вы не можете на этот счет припомнить что-нибудь конкретное?

— Нет. Я понимаю всю ответственность моих показаний.

— Слава богу!

— А с Залесским он как себя вел?

— Самое смешное, что познакомил их Ильин.

— Значит, они были друзьями?

— До того как Залесский закрутил с Аней. И все удивлялись. Но мы ведь умные люди, понять можем: Ильин тянулся к культуре. А Валерию, вероятно, было забавно с Ильиным. Закон единства противоположностей...

Я вспомнил ответ Ильина на вопрос, были ли они друзьями с Залесским: «Пожалуй, не были...»

— Выходит, после того как Валерий и Аня сблизились, дружба их распалась?

— Само собой разумеется.

— А вы дружили с Валерием?

— Были хорошими приятелями. И когда он написал мне в Крылатое — тоже, между прочим, местечко, скажу я вам! — что хочет поехать куда-нибудь на целину, я ему — ради бога! Только, пишу, наплачешься...

— Почему же вы все-таки не отговорили его, если так считали?

— Надо знать Залесского. Вобьет себе фантазию в голову — всё. Вынь да положь. Думаю, лучше я его устрою более или менее по-человечески. А то подзагорит где-нибудь, еще хуже будет. Все было в моих руках.

— В общем, выручили товарища?

— Вы это без иронии?

— Без.

— Считаю, что выручил.

— Они еще при вас приехали в совхоз?

— Самолично ездил встречать в Североозерск. У меня ведь там тоже машина была.

— Как они восприняли новое место?

— Как можно воспринять? Пащенко все устроил. Домик их уже ждал. Я распорядился, чтобы к приезду протопили хорошенько, сразу на должность обоих...

— Им понравилось?

— Валерий все восторгался: какие степи, какая ширь. Вот, говорит, где роман писать. На Государственную премию...

— А Аня?

— Типичная клушка. Что мужу хорошо — ей и подавно.

— А когда, спустя какое время вы были вынуждены уехать из совхоза? — Я специально употребил слово «вынуждены». Пащенко это покоробило.

— Я уехал сам. Как приехал по собственной воле, так и уехал. И не питаю никаких чувств к этой богадельне, возглавляемой мастером высоких обязательств Мурзиным.

Удивительный сидел передо мной человек. Все его эмоции начинались и кончались только тогда, когда речь заходила о вещах, касаемых его. Ни чужая беда, ни трагедия, разыгравшаяся в Крылатом, — ничто его не волновало.

— Когда вы уехали?

— В марте.

— И часто общались с Залесскими?

— Редко. Культурой занимался в совхозе секретарь партбюро. А потом, я ведь вскоре был отозван сюда...

— Вы не замечали ничего необычного в их взаимоотношениях?

— Простая влюбленная парочка. Экзотика. Поэзия. А потом, естественно, пришла проза жизни. Сильные натуры разрывают оковы — ищут применения своим возможностям. Чем отличается сильный человек от слабого? Сильный создает обстоятельства, слабый — подчиняет себя им.

— По вашему мнению, Аню угнетала окружавшая ее обстановка в Крылатом?

— Я не об Ане. Вообще.

— А если о ней?

— По-моему, ей было все равно, где жить, лишь бы с Валерием.

— А он как, не разочаровался?

— Там любой разочаруется.

— Меня интересует Залесский.

— Пока я там был, он об этом не заикался. А в дальнейшем — не знаю. Но думаю — скис. Он однажды написал мне оттуда. По тону письма чувствовалось — не очень ему сладко. И неудивительно. Надо знать Крылатое и Мурзина.

— Я знаю Крылатое и Мурзина, — спокойно сказал я.

Пащенко засмеялся.

— Да, у меня еще один вопрос к вам, — сказал я, вспомнив почему-то о Шаламове. — Но это посторонний вопрос. Шаламов пользовался у студентов авторитетом?

— Его любили. За то, что «неудов» не ставил.

— Совсем?

— Абсолютно. Но и пятерки имели не больше чем один-два студента на весь курс. С большим приветом профессор. Как все теоретики. А мы с вами всякими фантазиями заниматься не имеем права. Живые люди, практические дела...

Протокол, написанный мною, он читал очень внимательно.

— А исправлять можно?

— Конечно. Все исправления укажете в сносках и распишетесь: «Исправленному верить».

Он сделал несколько исправлений. Поцокал языком:

— Заставляют нас быть формалистами, а потом еще и ругают, почему мы такие. Освободить надо человека от бумаг, от волокиты. Практические дела — вот что прежде всего...

И он укатил на своей машине в свои поля.

Итак, три человека из самого недалекого прошлого Залесских и Ильина в какой-то степени пролили свет на их взаимоотношения в Вышегодске.

Каждый следователь знает: путь к пониманию характера любого подозреваемого или обвиняемого может быть бесконечен. Человек даже не предполагает, сколько у него близких, знакомых, сколько просто случайных встреч с людьми, которые обязательно вносят что-либо новое в его характеристику. Тут надо суметь не утонуть в потоке фактов, деталей, штрихов, суметь вовремя остановиться, ограничить круг допрашиваемых, выбрать направление основного поиска.

Это парадокс, но мы должны знать о человеке как можно больше и в то же время — ничего лишнего.

С одной стороны, мы вооружены знанием, опытом (своим и чужим, который преподносится на страницах учебников, специальных исследований, регулярных изданий и сборников), статистикой, распределившей преступников по полочкам и ящичкам. На нас работает армия экспертов, вооруженных новейшими приборами и техникой. Но порой мы сталкиваемся с задачей, подобной уравнению, где все величины неизвестны. И тогда тебе кажется, что свою профессию ты осваиваешь как бы заново — до того не укладывается ни в какие рамки опыта и статистики попавшее к тебе дело.

В работе следователя нет эталонов и образцов, по которым можно было бы определять преступников. Представьте себе эталон убийцы или взяточника, карманника, мошенника. Каждый раз приходится сталкиваться с человеком, у которого все индивидуально — жизнь, характер, поступки.

Вот и теперь я столкнулся с человеком, чье поведение меня настораживало. Ильин.

В Вышегодске выяснилось: он отлично знал Залесскую до совхоза, скорее всего даже имел с ней интимные отношения. На допросе в Крылатом Ильин это полностью отрицает. Зачем и почему?

Можно ли назвать отношения Ильина и Залесской в Вышегодске изменой? Глупо. Валерий самым натуральным образом бросил Аню, а он, Ильин, хотел жениться на ней. Стыдиться, но

всяком случае, скрывать подобное ни к чему. И уж перед следователем-то...

Все-таки он скрывает. С упорством и озлоблением. Далее, обратимся к предсмертному письму Залесской. «Я не смогла отвести беду...» Слово «беда» употреблено не просто. Что это за беда? Откуда она началась? В Крылатом или раньше? Может быть, Ильин начал преследовать Залесскую еще в Вышегодске, когда она снова сошлась с Залесским, теперь уже по-настоящему оформив брак? Не этим ли вызван скоропалительный отъезд супругов в Алтайский край? Пока я этого не знал. Ищенко должна поговорить в Одессе с Валерием.

Не проходит и месяца, Ильин, только что защитив кандидатскую диссертацию, едет к черту на кулички, в Кулундинские степи. Заметим, имея серьезную поддержку в лице профессора Шаламова, он мог бы устроиться на более интересную работу. Например, в какой-нибудь научно-исследовательский институт. Или на кафедре у Шаламова.

Опять же — почему он выбрал именно совхоз «Маяк»? Не слишком ли много совпадений?

Продолжим рассуждения. Ильин появляется в Крылатом. Через четыре месяца Залесская кончает с собой. За время пребывания в совхозе Ильин с Залесскими старается не встречаться. На людях с Аней — тем более. Зато в кафе, в Североозерске, их видят вместе. Значит, у него есть какие-то основания скрывать свидания с Залесской.

Смущение Ани в зале, когда Ильин выступает с трибуны (кинопленка, я ее изъял и приобщил к делу). Наверное, Валерий сказал ей что-нибудь колкое о неудачном вздыхателе...

Из всего этого можно сделать вывод, что появление Ильина в совхозе было Ане небезразлично. Чувствуя перед мужем какую-то вину, она все-таки соглашается встретиться с Ильиным, выезжая для этой цели подальше от дома, от людей, которые их знают.

Были ли это добровольные встречи или принужденные?

Влюбленная в своего мужа, беременная... Скорее всего Ильин принудил ее к этим встречам.

Он человек упорный. Как видно, во всем. Аню любил со второго курса. После окончания института работал агрономом на Кубани. Поступил в заочную аспирантуру. Потом приехал защищать диссертацию в Вышегодск. Несмотря на то что у Ани на руках сын от Валерия, предлагает ей руку и сердце. Нянчится с чужим ребенком. Ночует у них дома. Опять его планы рушатся из-за возвращения Залесского. И все равно Ильин едет за Аней, хотя надежд у него никаких.

Фанатизм? Идефикс? А если расчет?.. По времени Аниной беременности отцом так и не родившегося второго ребенка мог быть и Ильин. В таком случае, его нельзя считать посторонним человеком. Во всяком случае, равнодушным.

Допустим, Ильин на что-то рассчитывал. На что? Аня бросит в конце концов Залесского и выйдет замуж за него?.. Один ва-

риант. Второй — не бросая мужа, будет и впредь оказывать Ильину благосклонность. Последнее менее вероятно. Хотя и не исключено.

А может быть, Ильин добился того, чего хотел, — Аня вообще ушла из жизни. Ревность — сильная страсть. Самое страшное предположение, и его, увы, пока тоже отбрасывать нельзя.

Но есть еще одно объяснение случившемуся. А если Аня металась между Залесским и Ильиным? Валерий, хотя она и любила его, был виноват перед ней. Ильин же привлекал своим постоянством. Допустим, она сама не знала, от кого ребенок. Или точно знала, что от Ильина. И ее воля не выдержала.

Тогда Ильин ни при чем. Он любил. Оттого и приехал за тысячи верст, даже не имея надежды.

Но любовь может нести радость или горе.

В этом случае замкнутость, вспыльчивость и озлобление Ильина можно объяснить тем, что его самого потрясла развязка. Его чувства, присутствие в Крылатом заставили страдать дорогого ему человека и в конечном счете довели до самоубийства.

Могло быть так? Вполне. Правда, раскаяния или растерянности я у него не заметил. Что ж, натуры бывают разные.

Помимо встреч с людьми, так или иначе соприкасавшимися с Ильиным в Вышегодске, которые мало чего добавили к имевшимся у меня сведениям, я имел еще один разговор с профессором Шаламовым.

В этот раз я спросил у него, чем Ильин объяснил научному руководителю свой отъезд в Кулунду.

Профессор искренне удивился:

— Так ведь его диссертация поднимает проблемы борьбы с ветровой эрозией на неполивных землях Кубани! И вдруг ему предлагают такую возможность! Главный агроном большого хозяйства. Твори, пробуй!

— А при чем тут Алтай?

— Кулундинские степи по условиям схожи с Кубанью. Легкие почвы, небольшой слой гумуса, постоянные ветры...

Ветры я помнил. Действительно, они дуют там беспрестанно. Даже я к ним успел привыкнуть.

— И это, вы считаете, все?

Профессор посмотрел на меня с сожалением:

— Ну если, например, человек с детства мечтает стать футболистом и ему выпадает счастье играть за сборную страны... — Он развел руками.

— Если там так хорошо, почему же оттуда уехал Пащенко? — спросил я.

— А почему он поехал туда, не знаете?

— Нет.

— С диссертацией ничего не получилось, вот он и решил поправить свой престиж. На переднем крае борьбы... В газете местной прогремел: молодой специалист по велению сердца отправился на целину. Но почему-то, когда он вернулся, об этом не напечатали ни слова. А по-моему, следовало бы...

Больше вопросов к Шаламову я не имел.

Даже вахтерша института знала, что Ильин частенько дожидался Залесскую после работы. Почтенный наставник главного агронома витал бог знает где.

Перед отъездом из Вышегодска я встретился с секретарем комитета комсомола института. Она работала лаборанткой и Залесскую хорошо знала. Для нее тоже была непонятна история с комсомольским билетом. Аня Залесская, учась и работая в институте, была активисткой, одно время была членом институтского комитета комсомола. И то, что она не встала на учет в Крылатом, было на нее непохоже.

В комнате, где размещался комсомольский штаб института, я случайно выяснил еще один штрих в характере Ильина. На стене размещался небольшой фотомонтаж: «Наши спортивные достижения». На одной из фотографий была запечатлена группа альпинистов. В своих горных доспехах, с альпенштоками в руках. Среди них — Ильин.

Что ж, для сурового, упорного человека, каким он, несомненно, являлся, вполне подходящий вид спорта...

Североозерск встретил меня дождем. И разумеется, ветром. По дороге в Крылатое у оперативного «газика» РОВДа забарахлило отопление. В машине было холодно. Промозглая сырость проникла сквозь одежду, и я приуныл. Мои миндалины были пока при мне и вряд ли упустят такой благоприятный случай напомнить о себе.

Ко всему прочему нам пришлось задержаться. Заканчивался ремонт моста, снесенного несколько дней назад разбушевавшейся от осенних дождей небольшой речушкой. Можно было проехать в объезд, но шофер не стал рисковать.

И когда я попал под опеку Савелия Фомича, добровольно исполняющего обязанности дежурной горничной в доме для приезжих, моя комната, нагретая и уютная, показалась мне раем.

Пока я раскладывался да переодевался попроще и потеплее, Савелий Фомич колдовал над чаем. Из Москвы я взял с собой растворимого кофе. Но старик его категорически отрицал. Даже где-то вычитал, что в Америке его давно уже не пьют... Почему-то у него было торжественное и загадочное лицо. Видимо, сохранял какую-то новость до нашей посиделки за чаем его особой заварки.

— Вам бы, Игорь Андреевич, чего-нибудь сейчас покрепче... — сказал сторож, когда мы наконец приступили к чаепитию.

— Не мешало бы, — честно признался я. Не научился думать о таких вещах вперед. Действительно, можно было ожидать, что дорога окажется холодной и сырой. И позволить себе сейчас пару рюмок коньяка или водки было бы не грех, а польза.

— Можно организовать, — с охотой встрепенулся Савелий Фомич.

«Организовать» означало: он потопает на дом к продавщице и намекнет, что требуется, мол, кому надо, бутылка. Таковая будет, конечно, выдана. Из своих запасов или после похода в магазин. А назавтра все Крылатое зашушукается: московский следователь по ночам того...

— Нет, — сказал я. — Заранее не догадался, теперь поздно.

— На нет и суда нет, — быстро согласился сторож. Уж больно ему не хотелось выглядеть заинтересованным лицом. — Чаек тоже сугревает.

— Сойдет.

— А Надежде Максимовне тоже понравился мой чай, — сказал он, потягивая из граненого стакана.

— Долго она тут была? — спросил я.

— Приехала утром, а на другой день, считай, к обеду уехала. Обидно получается. К нам в глухомань забралась, а не встретились, — вздохнул Савелий Фомич.

— В Москве увидимся, — успокоил я его. И спросил: — Савелий Фомич, это у вас всегда так дует?

— Где? — встревожился он. — Мне-то сквозняк нипочем...

— Я не об этом. Ветер...

— Завсегда. Хоть махонький, а непременно. Степи.

— Да, я читал о степных ветрах, о пыльных бурях, о ветровой эрозии.

Кстати, я попросил одного моего сослуживца (у него жена работает в ВАКе) узнать о судьбе диссертации Ильина и заодно достать ее для ознакомления.

Мне трудно судить о ее научной ценности. Но, во всяком случае, я получил представление о проблемах, которые стоят перед совхозом «Маяк».

Еще мне удалось узнать, что один отзыв на работу Ильина получен положительный. А другой рецензент что-то задерживает с ответом...

— Да, ветры — серьезная проблема, — покачал я головой.

— Не только ветры. И пыльные бури бывали. Ну, стали защиту сажать. Да вы сами видели. Теперь и пашут по-другому. Раньше плугом, значит, этак загребали и переворачивали. Крепь, она снизу получается, а глина сверху. Теперь — нет. Как бы прочеркивают...

— Безотвальная вспашка, — похвастался я своими познаниями.

— Во-во. Мало того. Сеют зерно и еще прикатывают. Чтобы поплотнее. Целая наука. Емельян Захарович ездил к самому Мальцеву, в Курганскую область. Приехал, по-новому стали землю готовить. Понятно, Мальцев, из мужиков сам, аж до академиков вырос. Понимает землицу-то... Или вот, к примеру, у нас: нет чтобы добротный мост через Чарысуйку раз и навсегда поставить. Из бетону там, не знаю. Нет, каждый раз деревянный лепят. А весной его обязательно сносит. А вот нынче и осенью... Вы ехали, отремонтировали уже?

— Да. Перед нашим приездом закончили.

— Эхе-хе. Разве это годится? Надежда Максимовна ехала обратно, Николай Гордеич вез, у самого их носа снесло. Сами едва не попали в крутизну...

Это сообщение мне не понравилось. Нехорошо, что Ильин оказал услугу Наде. А Савелий Фомич продолжал:

— Николай Гордеич трактор вызвал. Хорошо, Песково рядом. Вытащили машину. Слава богу, доставили Надежду Максимовну в Североозерск целую и невредимую. Говорят, помог ей с билетом на самолет. И проводил сам...

То, что я узнал от Савелия Фомича, меня расстроило. Подробности Надиного пребывания в Крылатом меня интересовали, но расспрашивать старика я не решился.

У меня даже мелькнула мысль отправиться к Серафиме Карповне, чтобы узнать получше, как это Ильин провожал мою Надю, но решил подождать до утра. Не стоило поднимать панику на ночь глядя...

Я еле дождался утра и пошел к Ищенко.

Стучать не пришлось. Пес, привязанный у крыльца, поднял такой лай, что тут же открылась дверь и появилась старший лейтенант.

— Серафима Карповна, здравствуйте.

— Проходите, Игорь Андреевич.

Она угомонила собаку, затолкав ее куда-то под крыльцо. Я прошел в сени.

— С приездом, — сказала Ищенко. — Заходите. Хозяева на работе. Что случилось? — спросила она, когда мы присели на стулья в комнате.

— Вы давно вернулись?

— Третьего дня. А что?

— Ко мне приезжала... — я стал подыскивать определение для Нади.

— Слыхала, — кивнула Ищенко.

— Что там произошло?

— А вы разве не знали?

— Мы с ней не встретились, — сказал я.

— Обидно.

— Почему обратно она ехала с Ильиным?

Ищенко пожала плечами:

— Наверное, Ильин как раз ехал в район. Вот и взялся подбросить.

— В общем, мне как человеку, который ведет сейчас здесь расследование, не хотелось бы давать повод кривотолкам...

— Я думаю, все произошло случайно, без умысла.

— Дай-то бог. Ну что у вас новенького?

— Кое-что разузнала.

— С Залесским встречались?

— Привезла протокол допроса.

Я с ним тут же ознакомился.

«...*Вопрос.* По каким мотивам вы уехали из Вышегодска в Крылатое?

Ответ. Хотел написать роман из жизни целинников. О том, как и чем живут люди сейчас. Интересная тема...

Вопрос. Вы раньше писали книги?

Ответ. Может показаться, конечно, странным, что подобное желание возникло у непрофессионального писателя. Но я позволю себе надеяться стать таковым.

Вопрос. У вас есть изданные работы?

Ответ. Я печатался в газетах. Со стихами и очерками. Но, повторяю, профессиональным писателем еще не стал. И вообще, литература, проза то есть, требует жизненного опыта.

Вопрос. Значит, никаких других побуждений у вас не было?

Ответ. Пожалуй, нет.

Вопрос. Ни семейные дела, ни то обстоятельство, что вы сошлись с женой спустя четыре года после рождения вашего сына, не влияли на ваше решение?

Ответ. Ни в коей мере.

Вопрос. А у вашей жены не было возражений против такого шага?

Ответ. Конечно, сразу решиться на это ей было трудно. Она прожила в Вышегодске всю жизнь. Пугало то, что придется оставить насиженное место, работу. Но потом она согласилась.

Вопрос. С охотой?

Ответ. Как сказать? Наверное, поняла, что мне, а значит, нам всем так будет лучше. В Вышегодске я ничего не смог бы сделать. Вернее, мои планы реализовать там было бы трудно. Потом она сама поддерживала эту идею.

Вопрос. Может быть, ей по каким-то причинам было там плохо?

Ответ. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Конечно, Аня пережила в Вышегодске много горя. И перемена места пошла бы на пользу.

Вопрос. Вы дружили в институте с Ильиным?

Ответ. Одно время довольно близко. И разошлись из-за Ани. Он был в нее влюблен до того, как мы стали с ней встречаться.

Вопрос. Вы знали об этом?

Ответ. Нет.

Вопрос. Ильин разве не делился с вами?

Ответ. Он скрытный человек. И познакомил нас сам. У Ани после смерти отца жила одна девушка с ее курса. Мне казалось, Ильин ходит туда из-за нее. А сердцу, как говорят, не прикажешь. У нас, можно сказать, все началось с первого взгляда. И вот тогда я понял, что Ильин ухаживал за Аней.

Вопрос. И разорвали с ним дружбу?

Ответ. Я хотел сохранить прежние отношения. Но Ильин не такой человек.

Вопрос. Между вами возникали ссоры?

Ответ. Нет. Он просто перестал меня замечать. Впрочем, вскоре я уехал из Вышегодска.

Вопрос. Пытался ли он вернуть любовь вашей жены?

Ответ. Не знаю. Но любви с ее стороны, по-моему, никогда не было.

Вопрос. А когда он приехал в Вышегодск на защиту диссертации, осенью прошлого года, как он вел себя по отношению к Ане?

Ответ. Простите, в то время я там не был и не могу гадать.

Вопрос. Она вам не говорила? Может быть, друзья?

Ответ. Я вообще не имел права ни о чем спрашивать. Потому что до сих пор чувствую себя перед ней виноватым. Но жизнь — сложная штука. Годы, проведенные без нее, многому меня научили. Правда, у сына несколько раз вырывалось: «А дядя Коля то-то говорил. Дядя Коля мне то-то сделал...» Из этого я могу заключить, что Ильин общался с моим сыном, естественно, и с Аней. Но дядя, как вы сами понимаете, только дядя. Он никогда не заменит родного отца...»

Я сказал вслух:

— Да, дядя есть дядя. — И подумал о Кешке.

— Смотря какой. Есть неродные отцы — получше родных относятся к детям, — возразила Серафима Карповна, явно имея в виду своего мужа.

Я снова углубился в чтение.

«...*Вопрос.* Как сложились у вас отношения с Ильиным в Крылатом?

Ответ. Никаких отношений не было. Здоровались. Вот и все.

Вопрос. Вас удивил его приезд в Крылатое?

Ответ. Немного.

Вопрос. А вашу жену?

Ответ. Мы это не обсуждали. Я знал, что вспоминать и говорить с ней об Ильине нетактично. Она многие вещи воспринимала очень болезненно.

Вопрос. Что, например?

Ответ. Чью-то беду, напоминание о родителях. Как-то призналась мне, что, когда умер отец, а матери она лишилась еще девочкой, ей не хотелось жить. Так и сказала, что, если бы не Анфиса Семеновна, эта одинокая старушка, очень близкая их семье, крестная Ани, она не знает, что бы с собой сделала. И, чувствуя ее такую повышенную восприимчивость, я старался беречь ее. Если случалось, что надо было что-то отметить, я даже избегал выпивать при ней — она всегда огорчалась, когда я пил. И все-таки не уберег.

Вопрос. В предсмертном письме она пишет, что провинилась перед вами в Крылатом. Вы знаете, что она имела в виду?

Ответ. Я никогда не контролировал ее поступки и поведение. Может быть, она с кем-нибудь и встречалась. Я не знаю с кем...»

— А где же он обретался последние полгода, пока снова не вернулся к семье? — спросил я.

— Перед самым возвращением в Вышегодск Залесский жил в Москве месяца четыре.

— В Москве? Любопытно. Не связано ли это с женщиной? — По поводу женщин я поинтересовался так, наобум.

— Говорят, было что-то в этом роде.

— И все же вернулся к Ане...

— Тянуло, наверное, к ней.

— О сыне он действительно не знал?

— Не знал. Родители виноваты. Очень уж они не хотели иметь в снохах девушку из простой семьи.

— Аристократы? — усмехнулся я.

— Отец Валерия — крупный адвокат. Ныне персональный пенсионер местного значения. Оказывается, кто-то из института написал им письмо, что Аня родила и ей трудно одной учиться и растить ребенка. Они скрыли это письмо от Валерия. Думали, шантажируют. Так, во всяком случае, объясняют. Но мне кажется, дело было не в этом.

— И как же они все-таки примирились с этим браком?

— Когда к ним привезли внука — спохватились. Души теперь в маленьком не чают. Это всегда бывает: сначала отбрыкиваются, а когда почувствуют свое, родное — все забывается. Сейчас у них одна забота: вторично женить Валерия. Конечно, мальчику нужна мать. Только не знаю, быстро ли Залесский оправится от горя.

— Переживает?

— Все говорят, просто подменили человека.

— Да, случай трагический... А мальчик?

— Ему пока не говорят. Я считаю — зря. Только настраивают ребенка на ожидание. Тут лучше сразу... Погорюет, конечно, но в этом возрасте легче воспринимаются разные перемены. А старики, судя по всему, заботливые...

— К сожалению, Серафима Карповна, детская психология для меня штука абстрактная, — признался я.

— Без детей нельзя, — коротко сказала Ищенко. Но тему эту развивать не стала.

— Да, надо бы и мне встретиться с Валерием Залесским, — сказал я. — Но как это лучше сделать? И где?

Серафима Карповна ответила просто:

— Здесь. Он собирался в Крылатое в самое ближайшее время.

— Зачем? — удивился я.

— Говорит, хотел бы поставить памятник Ане...

Я подумал, что смогу сам допросить его. А сейчас мне надо было вызвать на допрос Ильина.

Вид у него был несколько усталый. Если прежде он держался напористо, то теперь передо мной сидел человек с задумчивым взглядом. Его сильные, широкие в кисти руки свободно лежали на коленях. Кожанка застегнута на все пуговицы...

— Николай Гордеевич, а ведь в прошлый раз вы мне сказали далеко не все о ваших взаимоотношениях с Залесскими, и в частности с Аней.

— Я сказал все, что может вас интересовать.

— Хорошо. Давайте выясним и вспомним кое-какие подробности вашей жизни в Вышегодске. — Он поднял на меня глаза. Пожал плечами. Может быть, играл в равнодушие? — Между прочим, забор, который вы помогли поставить Сергею Петровичу, я имею в виду отца Ани, стоит до сих пор. Добротно сделано. Вы не припомните, когда это было?

— Я помню, когда это было, — ответил он, нахмурившись.

— На каком курсе вы учились?

— На третьем.

— А Аня?

— На втором.

— Вы что, дружили с Сергеем Петровичем, бывали у них дома? — Он промолчал. — Зачем вы к ним ходили, знают все...

— Ну и что? — Я видел, что он снова превращается в того Ильина, которого я помнил по первому допросу. Противодействие, раздражение...

— Я не понимаю одного, из каких соображений вы скрываете, что добивались любви Ани. До того, как она сошлась с Залесским, и потом, когда приехали в Вышегодск на защиту диссертации. Вы можете объяснить?

— А я не понимаю, зачем вам надо копаться в моих личных чувствах! — почти выкрикнул он. И спохватился. Потом добавил уже спокойнее: — Я не знаю, чего вы от меня хотите.

— Истины.

— Какой истины?

— Ваших истинных с ней отношений и намерений.

— Вы же знаете правду! Больше ничего нет. Уж если про забор узнали... — он махнул рукой.

— Значит, все-таки у вас были интимные отношения с Залесской?

— Нет.

— Случалось вам не ночевать в общежитии института, когда вы учились в аспирантуре?

— Не помню.

— Зато вахтеры помнят. Вы иногда не ночевали.

— Возможно.

— Вы часто бывали дома у Залесской перед защитой?

— Бывал.

— Оставались ночевать?

— Нет.

— Никогда?

— Никогда.

— Вы умываетесь по утрам два раза?

— Я не идиот. Умываюсь как все, один раз.

— А как объяснить тот факт, что Анфиса Семеновна пришла в прошлом году 7 ноября к Ане и застала вас на кухне за утренним туалетом?

Ильин задумался. Передернул плечами:

— Что-то не припомню.

— Хорошо, допустим... Зачем вы приехали в Крылатое чуть ли не следом за супругами Залесскими?

Он на мгновение растерялся. И пробормотал:

— Может быть, действительно этого не стоило делать...

— Вы признаете, что ваше появление здесь создало определенную ситуацию между вами и Залесскими?

— Мне было хуже! — вырвалось у Ильина непроизвольно.

— В каком смысле хуже?

— По-моему, ваш вопрос бестактен.

— Я обязан вас спрашивать, потому что Ани Залесской нет в живых. Итак, — продолжил я, — ваш приезд был связан с тем, что сюда приехала Залесская?

— Он был связан с наукой, которой меня учили столько лет. И они могли к моему приезду относиться спокойно.

— А относились как?

— Не знаю. Не интересовался.

— Вы избегали встреч с Залесскими?

— Не прятался. Но встреч, во всяком случае, не искал.

— В Крылатом. А в Североозерске?

— Равным образом.

— И с Аней не были вместе в районе?

Он промолчал.

— Я спрашиваю, в Североозерске вы с Аней не встречались?

Ильин сухо проговорил:

— Я ничего у них не украл. И поэтому не бежал при встречах.

— Значит, встречались? Не вспомните где?

— Как-то в кафе.

— Кафе, выходит, помните?

— Случайно оказались вместе...

Как я и предполагал, он объяснил это случайностью.

— И о чем вы беседовали с Залесской?

— Выясняли, почему она работает воспитательницей, а не агрономом.

— Ну и что она говорила?

— Так, говорит, надо.

— А вы уговаривали ее работать по специальности?

— Мне до сих пор непонятно, как Аня, — он поправился, — как Залесская могла наплевать на диплом. Потом, не забывайте, я главный агроном и должен заботиться о кадрах в совхозе. Человек с высшим сельскохозяйственным образованием совсем не лишний здесь.

— Значит, разговор был сугубо деловой?

— Я вам еще раз говорю, во-первых, он был случайный. Надо же кому-то излить свою душу...

— Вы имеете в виду себя или Залесскую?

— Мы не были врагами...

— Николай Гордеевич, — сказал я, — теперь давайте подумаем. Проанализируем то, что мы выяснили. Постараюсь быть

точнее. Итак, вы были влюблены в Аню еще со второго курса. Затем случается так, что ее чувства отданы другому. Я не знаю, что у вас происходило в душе, забыли вы ее или нет, но, во всяком случае, приехав в Вышегодск защищать диссертацию, вы снова, возможно, по-прежнему, любите ее. И довольно часто встречаетесь. У многих возникает мысль, что вы поженитесь. Вы делали предложение Ане?

— Это не имеет никакого отношения к делу, — резко оборвал он.

— Вы не желаете отвечать на этот вопрос?

— Не желаю.

— Итак, Аня сходится с мужем, уезжат в Крылатое. Вы приезжаете следом. Если вам дорого спокойствие любимого человека, почему вы все-таки приехали сюда?

— Я приехал сюда работать.

— Но ведь имеется много других мест, где вы отлично применили бы свои знания, воплотили бы свои идеи.

— Между прочим, если хотите, меня сюда направили. Вы удовлетворены?

— Николай Гордеевич, я вижу, у вас и сегодня нет настроения говорить со мной в спокойном тоне...

— У меня вообще нет настроения встречаться с вами. Я не знаю, почему это желание возникает у вас...

Я хотел ответить колкостью, но сдержался. Ничего бы это не изменило. Ильин упорно избегал любого контакта.

Каждое утро в мой кабинет являлся Савелий Фомич, ожидая указаний, кому отнести очередную повестку. Выглядел он при этом очень серьезно и торжественно. Словно не существовало наших сидений за чаем в моей гостиничной комнате, простых и непринужденных бесед по вечерам.

Весь его вид говорил: дружба дружбой, а дело делом.

Как-то старик посоветовал вызвать на допрос по делу некоего Шавырина, жителя Крылатого.

— Он хорошо знал Залесских? — поинтересовался я.

— Вроде нет...

— Тогда почему именно его?

— Вы же вон сколько народу опросили. И с ним потолкуйте. От него ведь не убудет.

— Я, Савелий Фомич, вызываю только тех, чьи показания могут помочь следствию. Так просто беспокоить людей мы не имеем права. Да и не хватит ни времени, ни сил поговорить со всеми.

— Оно конечно, со всеми не хватит времени...

— Лучше бы мне подскажите, с кем из районного начальства, которое бывает у вас, чаще всего общается Ильин?

— Про то не ведаем. Мы люди маленькие. Вам сподручнее у Емельяна Захаровича узнать.

Как раз у директора совхоза насчет Ильина я не хотел

ничего узнавать. Мне казалось, что Мурзин относится к главному агроному необъективно. Благоволит к нему. И не скрывает этого.

— Впрочем, когда жалует к нам Павел Евдокимович Зайцев, зампредрайисполкома, Ильин завсегда с ним обчается, — сказал сторож. — Намедни опять приезжал. Главный агроном его зачем-то по совхозу возил.

— На своем мотоцикле? —удивился я.

— Зачем, — усмехнулся старик, — на мотоцикле он в хорошую погоду разъезжает. А теперь «газик» у главного механика берет.

— Странные у вас порядки: у главного агронома — мотоцикл, а у главного механика — машина.

— «Газик»-то старый. День ездит, а неделю чинят. Вот Ильин и взял себе мотоцикл, новенький «Урал», а машину отдал главному механику. Губа не дура, а? Но ежели ему понадобится машина — он то на мурзинской, то на «газике» главного механика. Выходит, все к рукам прибрал...

— Хорошо, Савелий Фомич, — прервал я его. — Попрошу вас, если здесь опять появится зампредрайисполкома Зайцев, дайте мне знать. Я бы хотел с ним побеседовать.

— Как прикажете...

На несколько дней я отлучился в Барнаул. Побеседовать с медэкспертом, который обследовал труп Залесской. Он подтвердил еще раз то, что изложил в своем первоначальном заключении.

Когда я вернулся в совхоз, Савелий Фомич сказал мне:

— Тут без вас Зайцев наезжал. Я сделал так, как вы приказали. Он обещал с вами встретиться.

Помимо Зайцева, у меня была запланирована беседа еще с секретарем райкома Червонным. Но застать его на месте, когда я бывал в Североозерске, все не удавалось. И вот как-то я позвонил в райком и попал на самого секретаря. Он предложил встретиться в тот же день.

Как назло, Мурзина в совхозе не было. Попросить машину больше не у кого. Не у Ильина же. И я решил добираться до Североозерска общественным транспортом.

Автобусная остановка (деревянный навес) пустовала. Я потоптался на холодном ветру и зашел в чайную. Так, оказывается, поступили все пассажиры. Их набралось порядочно. Сидели за столами в одежде.

Торговля шла вяло. Да и ассортимент был невелик. Зашли трое парней. У одного топорщился карман брюк. Они направились было к стойке за стаканами, но потом, пошептавшись и бросив на меня испуганные взгляды, ретировались.

Время тянулось медленно. Автобус все не шел и не шел, хотя по расписанию давно должен был прибыть из района. Люди терпеливо ждали. В деревнях привычны к ожиданию. Потом кто-то сказал, что с машиной, наверное, что-нибудь случилось, потому что они часто выходят из строя.

Я с беспокойством поглядывал на часы. Если тут еще немного задержаться, не успеть мне в райком в назначенный срок.

Вышел на улицу. На дороге, уходящей далеко в степь, автобуса видно не было. Пришлось голосовать.

Остановился самосвал. По номеру — не совхозный. Молодой водитель открыл дверцу, улыбнулся:

— В район?

— Так точно.

— Садись скорей...

В кабине было тепло. Тихо играл транзисторный приемник, вмонтированный в панель.

— Что возите? — поинтересовался я машинально.

— Цемент для геологов. Нефть и газ ищут. Через Крылатое прямиком.

— Из района? — удивился я.

— Ближе цемзавода нету.

— Значит, заночевали сегодня у геологов?

— Зачем? Я со вчерашнего вечера уже две ездки сделал. У них аврал...

— Сколько ты уже сидишь за рулем? — полюбопытствовал я.

— Бог его знает. Сутки будет. Аврал. Ребята задыхаются без цемента...

— А где же сменщик?

— У него три положенных по случаю свадьбы дня. Раз в жизни случается...

Можно было только поражаться беззаботности, с которой он говорил об этих сутках.

— Не устал?

— Малость имеется. Закуришь — вроде ничего.

— Вроде... Поберечься бы не мешало.

— Молодой. Сдюжу.

— А если авария?

Он покачал головой:

— Подзагореть можно и на свежую голову. Что, боязно ехать со мной?

— Нет...

Я пожалел, что заговорил на эту тему. Еще посчитает за труса. Да и кому охота думать о неприятном, когда впереди длинные километры по заснеженной степи...

Не знаю, чем руководствовался он. Жаждой романтики, подвига? Или он не отдавал себе отчета в том, что организм — штука материальная, имеющая пределы прочности? Ведь для таких случаев существует техника безопасности, нормы, которые тысячи и тысячи раз проверены в специальных медицинских учреждениях, проверены на людях. Увы, на жизнях тоже... В мирное время риск не всегда оправдан.

Дальше мы ехали молча. Я думал о предстоящей беседе в райкоме.

Прежде чем заговорить со мной о крылатовском деле, секретарь райкома сухо сказал:

— Я понимаю, товарищ Чикуров, вы имеете право вызывать на допрос кого угодно, невзирая на ранг и звание. Но все-таки Павел Евдокимович этого не заслужил.

— Простите, я не понимаю, о чем речь, — удивился я.

Червонный вынул из стола и протянул... мою повестку, в которой была вписана корявым почерком и с ошибками фамилия Зайцева. А секретарь райкома продолжал:

— Человек он немолодой. Между прочим, обязательный и аккуратный. Могли бы позвонить ему. Вручить такую неграмотную повестку...

Да, выкинул Савелий Фомич штуку. Вот до чего доводит излишнее рвение.

— Прошу прощения. Тут, товарищ Червонный, ошибка вышла. Поверьте, не по моей вине. Впрочем, я тоже виноват. Не разъяснил толком товарищам...

Я сунул повестку в карман, намереваясь устроить моему не в меру ретивому помощнику нагоняй.

— Надо как-то исправить неловкость, — сказал Червонный уже мягче.

— Я извинюсь перед Павлом Евдокимовичем.

— Что ж, считаем этот вопрос исчерпанным, — охотно согласился секретарь.

Нашей беседе не мешали. Червонный попросил секретаршу ни с кем его не соединять.

Я поинтересовался, каким образом Николай Ильин попал в совхоз «Маяк».

— Я уже говорил об этом следователю, который до вас вел расследование. Но если надо, могу повторить. Вышегодский сельскохозяйственный институт является как бы нашим шефом, — секретарь райкома улыбнулся. — По старой дружбе.

— В каком смысле — дружбе?

— Неисповедимы пути господни. С кадрами у нас негусто. Тут уж пускаешь в ход все, что можно... Не подумайте плохо. Просто мы с ректором института учились в Тимирязевке. Вот он и старается по мере сил снабжать нас специалистами.

— Охотно едут сюда?

— Кое-кто работает. Хотелось бы побольше молодых, энергичных парней.

— Почему только парней?

— И девчат, пожалуйста. Ради бога. У нас ведь равноправие. Кроме шуток, по моему мнению, у Кулунды большое будущее. Молодому специалисту есть где развернуться. Размах.

— Значит, Ильин приехал в Крылатое как бы по направлению?

— Да, считайте так. Мне кажется, он на своем месте. Правда, за один год о его работе судить трудно. Но показатели совхоза «Маяк» выше средних по району. Это уже о чем-то говорит. И Мурзин в этом году что-то молчит об уходе на пенсию.

— У меня сложилось такое впечатление, что они ладят, — осторожно сказал я и вопросительно посмотрел на Червонного.

Он засмеялся:

— Ильин, говорят, испортил нынче осенью футбольный парад маяковцам. Чуть ли не всю команду уговорил пойти в школу механизаторов. Так что крылатовцы остались в этом году без приза. Не знаю, как это пережил Емельян Захарович. Уж сколько лет в числе лидеров, а тут... Но прежде всего, как говорится, дело. — Секретарь райкома задумался. — В общем, неплохо начал Ильин. Главное, смотрит вперед. Люди — основной резерв в хозяйстве. А футбольные награды — наживное.

Прощаясь с Червонным, я сказал:

— Отнял, наверное, у вас время. Что поделаешь, такая работа.

— У нас перед законом все равны. Так? Почему же вы считаете, что мое время должно оберегаться больше, чем время других? А то вот местные товарищи из народного суда постеснялись, видите ли, вызвать меня на разбирательство дела в качестве свидетеля. О хулиганстве возле кинотеатра. Хотя все происходило на моих глазах. Так что прошу с моим постом не считаться... Если надо, всегда найду для вас время.

...В Крылатое я возвратился затемно. Пес, всегда, и в снег и в дождь, спящий калачиком у входа в контору совхоза, поднялся, повилял хвостом, как своему, и с тоской поглядел на дверь. В здание его не пускали. Савелий Фомич боялся, что собака напустит блох.

Первая злость на сторожа у меня перекипела. Но все-таки выговор ему следовало сделать основательный.

Старик открыл изнутри и снова запер за мной.

— Савелий Фомич, — сказал я сурово, — есть разговор.

Он с достоинством и выдержкой графского камердинера последовал в мою комнату.

— Садитесь, — предложил я.

Не умею я ругать людей. И если приходится это делать, мне почему-то более неловко, чем тем, кого я распекаю.

— Вот что, так дело не пойдет, — сказал я. — Вы меня здорово подвели...

Старик сделал недоуменное лицо.

— Как же я могу вас, Игорь Андреич? Все как полагается... И авторитет ваш поднимаю, и все справно исполняю... — Он искренне обиделся.

— Зачем вы вручили повестку Зайцеву? Начнем с того, что вы не имеете права без моего разрешения трогать бланки повесток...

— Я ж для дела! И ежели по правде, так вы сами просили вызвать Павла Евдокимовича. Или запамятовали?

— Я просил сообщить мне, когда он будет здесь. А как с ним встретиться, решал бы сам. И давайте так: впредь никакой инициативы не проявляйте.

Савелий Фомич что-то пробормотал. Он все еще не взял в толк, что подложил мне свинью.

Потом вдруг сказал:

— Ладно, Игорь Андреич, не обессудьте, если что не так. Я же хотел как лучше. Для дела...

В конце нашего разговора сторож дал слово, что больше самоуправством заниматься не будет. Мне показалось, не хотелось ему, чтобы я поручил носить повестки кому-нибудь другому.

И когда мы расставались, он сказал:

— Какой-то корреспондент приехал. Из Москвы. Вас спрашивал.

— А где он?

— Спать уж завалился. — Савелий Фомич показал на стенку. — Рядом в комнате. Просил разбудить, если рано приедете. Ничего, поговорите завтра. А вы отдыхайте...

Это уже была забота обо мне. Или замаливание грехов? Ушел от меня старик подавленный.

Я был не прочь поболтать с новым соседом. Но встречу с земляком отложил на завтра. Здорово устал после поездки в Североозерск.

Моя радость от предстоящей беседы с московским корреспондентом была преждевременной.

Как это называется рубрика — «Письмо позвало в дорогу»?.. Он приехал по какому-то сигналу с завидной оперативностью, которая так приятна, когда это касается других, и совсем не радует, если задевает вас лично.

Фамилия корреспондента — Златовратский. Она довольно часто мелькает на страницах центральных газет. Он пишет на моральные темы. Злободневно и остро. И опять же хорошо, когда о совсем незнакомых тебе людях.

Он встал позже моего и появился в кабинете главного зоотехника.

— Товарищ Чикуров, — сказал Златовратский, предъявив свое удостоверение, — я, собственно, по вашу душу.

Сказано это было шутливо, но тон мне сразу не понравился. Несколько покровительственный.

— Пожалуйста, я готов вас выслушать.

Корреспондент обозрел мое крылатовское пристанище.

— Довольно символический призыв, — указал он на плакат, который я сумел сберечь, несмотря на посягательства секретарши Мурзина.

Буренка, приказывающая содержать свое рабочее место в чистоте, стала привычным и неотделимым атрибутом моей жизни в совхозе.

— Игорь Андреевич, мне бы хотелось поговорить с вами как можно откровеннее... — Он потоптался возле стула, на котором обычно сидят допрашиваемые, и мне показалось, что ему больше импонирует беседа в креслах, за журнальным столиком.

— Весь внимание, — ответил я, приглашая сесть все-таки на стул.

Златовратский расположился прочно, с подчеркнуто независимым видом.

— Трудное у вас сейчас дело? — спросил он, прокладывая первые мостки для разговора.

— Не могу сказать ничего определенного, оно еще не закончено.

— И как скоро будет закончено? Вы понимаете, для меня это не праздный вопрос...

— Не понимаю. А насчет сроков окончания предварительного следствия тоже пока сообщить не могу.

Он ко мне присматривался. И я пытался понять, что ему от меня надо. Интересно, по каким моментам моего поведения пролегает маршрут его задания?..

— По поводу праздности, — начал он. — В нашу редакцию поступило письмо. От лица, в известной степени заинтересованного в том, как вы ведете расследование.

— От кого же, если не секрет? — перебил я его.

— Это неважно. И если хотите, пока секрет.

— Я считаю, честный человек дает и принимает бой открыто.

— Это честный, уважаемый человек, — поспешно сказал журналист. — И между прочим, прекрасно разбирающийся во всех тонкостях вашей работы и знающий досконально букву закона...

Я уже догадывался, кто написал письмо. Но в чем меня обвиняли?

— Хорошо. Редакция разделяет опасения имярек по поводу методов моей работы?

— Видите ли, нам частенько приходится быть в роли третейских судей. Конечно, с нравственной точки зрения. Бывают и такие письма, в которых имеются огульные обвинения. И просто-напросто ложь. Вот поэтому я и здесь, чтобы вникнуть в суть вопроса...

— Вы могли меня не застать, — усмехнулся я.

— Нет, не мог. Меня отлично информировало ваше руководство, и я знал, что вы здесь, в Крылатом.

Интересно, кто же его информировал? Эдуард Алексеевич, Иван Васильевич? И как они вообще отнеслись к такому «вниманию» со стороны прессы?

— Чем могу быть полезен?

— Чтобы вынести мнение и ответить автору, мне нужно знать само дело...

— То есть?

— Очень просто. Ознакомьте меня с материалами дела Залесской.

— До окончания следствия я этого не могу сделать, — сказал я твердо.

— Почему? — удивился он.

— Потому что это будет противозаконно.

— Я тоже уважаю закон. Но ведь он создан, чтобы уберегать прежде всего человека от несправедливости, чтобы помогать осту-

пившемуся, лечить его социальные болезни. Таким образом, все, что хорошо человеку, хорошо и закону...

— Ле луа се ле луа, как говорят в Париже, — попытался я отделаться от его просьбы шуткой.

— Понимаю, понимаю: закон есть закон. Но опять же, человек превыше всего. Действенность законоположений проверяется их гуманизмом, их моральной отдачей.

— Совершенно с вами согласен, — улыбнулся я.

Златовратский тоже расплылся в ослепительной улыбке:

— Очень рад, что мы близки к взаимопониманию. Видите ли, Игорь Андреевич, пресса — это прежде всего общественное мнение. В какой-то степени у нас с вами одна задача: выявлять виновных и защищать невиновных. Я немного упрощаю, но суть остается. Вы меня поняли, надеюсь?

— Понял. А теперь поймите меня. Как мне кажется, вы хотите вынести на суд общественности еще не законченное дело?

— Ну, если это будет крайне необходимо. Да и то в самых общих чертах. Я же понимаю, что работа ваша тонкая. Многое вы не имеете права разглашать.

— Как же общественность вынесет свое мнение, если она не знает конечного результата расследования?

— Я же вам говорю: общие черты, направление, в конце концов, моральная подоплека случившегося. Потом не обязательно материал всплывает на страницах печати. Мы посмотрим, может быть, автор письма не прав.

— Значит, вы хотите уже дать определенную оценку работе следователя?

— В какой-то мере.

— И как же мне после этого заниматься расследованием дальше?

— Ради бога, никто в ваши секреты не лезет.

— Я говорю не только о себе. Вообще. Как сохранить следователю объективность, если его берутся направлять, когда он еще сам не дошел до истины, и направлять люди некомпетентные?

— Позвольте, — запротестовал Златовратский. — Конечно, я не следователь. Но, если вы следите за центральными газетами, могли читать мои корреспонденции о судебных делах.

— Я читал.

— Ну и что скажете?

— После суда — пожалуйста. Когда вынесен вердикт: виновен или не виновен подсудимый. Тогда опубликование материалов, их нравственная, социальная и общественная оценка в печати правомерна. До этого, на мой взгляд, — противозаконна. Вы законы знаете?

— Разумеется.

— Значит, вы должны были усвоить: виновность определяет только суд. На основании предварительного и судебного следствия. Разобраться во всех сложностях дела очень трудно.

Златовратский не хотел сдаваться:

— Но ведь никто не застрахован от ошибок.
— Верно.
— Если общественное мнение поможет избежать ошибки, что тогда?
— А если еще больше запутает?
Корреспондент пожал плечами:
— Истина рождается при столкновении мнений. Вам не кажется, что мы немного абстрагировались от предмета разговора?
— Нисколько.
— Как же нам разобраться, прав автор письма, из-за которого я здесь, или нет? Я ведь тоже на работе. Войдите в мое положение. — Он с мольбой посмотрел на меня. — Ведь это и в ваших интересах.
— Без знакомства с материалами дела разве можно разобраться во всем?
— К сожалению, нельзя. Если вы уверены в своей правоте, то должны пойти мне навстречу, — настаивал корреспондент.
— Не могу. Поймите: это было бы против закона... Не говоря уже о тайне следствия. Нам вверяют судьбы людей...
— Так ведь и мы, журналисты, — перебил он, — тоже имеем дело не с деревяшками.
— Простите, ничем не могу в данном случае помочь...
Разговор наш закончился сухо и официально. Но Златовратский дал мне понять, что все равно своего добьется.
Видимо, он «добивался», потому что в тот же день я получил телеграмму за подписью замначальника следственного управления Эдуарда Алексеевича с категорическим вызовом в Москву «для объяснения».
Я прилетел домой ночью. И все равно Наде позвонил. Потому что чувствовал: ее появление в Крылатом и визит Златовратского чем-то связаны.
На всем протяжении пути я обдумывал, как начну этот телефонный разговор. Сдержанный, чуточку холодный, может быть, даже суровый.
Но когда после долгих гудков услышал ее голос, у меня непроизвольно вырвалось:
— Надюша, милая, как ты?
И она — несколько взволнованней, чем обычно:
— Я сразу поняла, что это ты. Откуда, Игорь?
— Из Домодедова. Что ж ты, голубок, махнула на Алтай, не согласовав?
— Дурочка, — честно призналась она. И карающий меч вывалился из моих рук. — Хотела сюрпризом... Представляешь, обратно ехала поездом. Все равно отпуск без содержания пропадал.
— Ну и как?
— Еле выдержала. На третьи сутки чуть не пересела на самолет...
— Ну спи. До завтра.
— До завтра.

После этого я готов был давать объяснения кому угодно и по какому угодно поводу.

И все же, направляясь на следующий день на работу — а я вышел из метро на станции «Тургеневская», чтобы подольше пройтись и собраться с мыслями, — я ощущал, как по мере приближения к прокуратуре у меня все сильнее скребли на душе кошки.

Шел мокрый, тяжелый снег. Тротуар был покрыт чавкающим месивом, которое не успевали убирать дворники.

Я никого не замечал вокруг. Вдруг меня окликнули по имени-отчеству. И передо мной возник зампрокурора Иван Васильевич. Уж если и тяготила меня предстоящая встреча с начальством, так это прежде всего с ним. С Эдуардом Алексеевичем, думалось, будет проще. Друзья. Однокашники...

То, что я повстречал Ивана Васильевича, меня не удивило. Он жил где-то поблизости, у Главпочтамта.

Несколько озадачил его вид: авоська, в ней пара бутылок кефира, кулечки, батон белого хлеба.

Он улыбнулся. Весело поздоровался. Для зампрокурора, всегда сдержанного, необычно.

Неужели я потерял уверенность в себе под напором корреспондента из газеты и обыкновенную деловую телеграмму принял за угрожающую?

Что означает приветливая улыбка Ивана Васильевича? Грозного «Ива-Ва»?

— Ну, как трудимся?

— Трудимся, — сказал я, косясь на авоську. — Вчера прилетел из Барнаула... Ответ держать...

Что я ему объясняю? Ему лучше знать, зачем меня вызвали.

— Закончил дело? — Он подхватил меня под руку. Задержал перед автомобилем, сворачивающим в проулок.

— Вот, хочу доложить...

— Доложить... Зайдем ко мне, если есть время.

— Конечно. — Я был сбит с толку и покорно двинулся за ним, свернувшим вслед за машиной.

А квартира у него действительно в двух шагах. Мы поднялись на третий этаж одного из старинных домов, что приютились в небольших двориках, выходящих на улицу Кирова. Он порылся в карманах. Незло выругался:

— Вот непутевая башка. — И позвонил.

Открыла нам аккуратная старушка в стеганом халате, однако претендующем на шик: атласные отвороты, обшлага...

— Мамуля, прости, пожалуйста. Опять забыл ключ. Вот, познакомься, Игорь Андреевич. Мы с ним проработали пять лет, нет, шесть лет...

Старушка протянула мне сухую теплую ручку:

— Екатерина Павловна. Милости прошу, входите.

Приняв от Ивана Васильевича авоську, она пошла на кухню, стуча модными домашними туфлями без задников, на небольших каблучках.

Мы разделись в коридоре и прошли в просторную комнату, увешанную картинами. Недалеко от окна стоял мольберт. На нем — незаконченный холст. Иван Васильевич подозвал меня к нему, приподнял тряпицу, закрывавшую работу, и приложил палец к губам:

— Над ней она сейчас работает. Только тс-с-с.

— Кто? — спросил я.

— Мама.

Из коридора раздался голос Екатерины Павловны:

— Ванюша, а простокваши не было?

— Нет, мамуля, только кефир. — Он испуганно прикрыл картину и шепотом предложил пройти в другую комнату.

Она тоже оказалась просторной. Письменный стол. Сплошные стеллажи с книгами. И мягкий кожаный диван.

— Ну рассказывай, — предложил Иван Васильевич, когда мы присели на диване.

Я подробно изложил все факты и сведения, что добыл за время пребывания в Североозерском районе и Вышегодске.

Иван Васильевич слушал меня внимательно. Изредка поправлял на голове и без того тщательно уложенные волосы, разлиновавшие лоснящуюся плешь.

Впервые я видел его в домашней обстановке. Насколько внушительно он выглядел в служебном кабинете, настолько простым и обыденным представлялся тут, на старинном, просиженном диване. Он так же больше молчал, говорил негромко, но я не мог отделаться от того образа своего начальника, с которым привык общаться в прокуратуре. Пока дойдешь до него по большому кабинету, сядешь возле стола, уставленного телефонами, возникает сознание, сколь большой властью облечен этот человек и как ничтожен ты сам со своими делами и полномочиями.

И еще меня всегда подавляла манера Ивана Васильевича говорить по телефону.

Находясь в круговерти дел, частенько знаешь, с какой просьбой, по какому делу ему звонят. Ведь иногда одно слово, полфразы могут пролить свет на суть разговора. Иван Васильевич никогда не произносил «нет». Но по дальнейшему ходу событий я мог изредка узнавать, что он никогда не делал того, что хоть ничтожно противоречило закону или не касалось служебных дел...

Выслушав меня, Иван Васильевич сказал своим ровным, тихим голосом:

— Скушное дело, не правда ли?

Он попал почти в точку. Но я не хотел сдаваться:

— Пока сказать трудно. Я не собрал еще достаточно фактов.

Зампрокурора медленно встал с дивана, подошел к стеллажу. Достал пожелтевшую от времени книжицу, перелистал ее:

— Вот послушай. «Ты — следователь. Государство доверило тебе ответственный участок судебно-прокурорской работы. Ты призван для борьбы с преступностью. Ты первый сталкива-

ешься с преступлением. Ты первый должен атаковать преступника. От тебя, от твоего умения, энергии, быстроты, настойчивости, инициативы зависит многое... Ты — следователь. Завтра в твое производство может поступить дело, которое доставит тебе много хлопот. Ты будешь проверять одну версию за другой, и ты наконец можешь устать. Дело тебе надоест. Тебе покажется, что раскрыть его нельзя, что ты уже исчерпал все свои силы, все догадки, все возможности. Тебе захочется в бессилии опустить руки и сдать это дело в архив. Преодолей усталость, не опускай рук, не складывай оружия. Ты не имеешь на это права, потому что ты — следователь, ты поставлен на передний край, откуда не отступают...»

Он захлопнул брошюрку. Поставил на место. И снова сел рядом со мной.

— Неплохо сказано. Несколько по-военному. Это за счет того времени, когда написаны эти строки. Тогда была война. Лев Шейнин...

Иван Васильевич замолчал. Признаться, на меня цитата произвела сильное впечатление. Особенно в контрасте с негромким голосом зампрокурора.

Мне показалось, что Иван Васильевич хочет настроить меня по-боевому. С одной стороны, понятно — новый ход крылатовскому делу дал он. А может, он действительно видит в нем какие-то другие пласты и повороты, чем первый следователь? В любом случае его настойчивость и настрой подействовали на меня.

— Что ты намерен предпринять дальше? — спросил Иван Васильевич.

— Хочу встретиться с Залесским. Он должен приехать в Крылатое. — Я посмотрел на Ивана Васильевича, но он никак не отреагировал. — И еще, я не очень удовлетворен экспертизой, проведенной медиками.

— Говорил с судмедэкспертом?

— Говорил.

Иван Васильевич сложил руки на животе. Я впервые отметил, что животик у него заметно выдается. Ловко сшитая генеральская форма обычно скрадывала это.

— Ну и что?

— Объяснить трудно. Надо провести эксгумацию трупа. А там посмотрим. Если повторное заключение судмедэкспертизы совпадет с первым... — Я развел руками. — Трудно сказать тогда, какую версию отрабатывать.

— Да, слепо доверять экспертам не следует. — Он задумался. — На наше воображение часто действует бумага. А если еще с печатью... — Иван Васильевич усмехнулся. — Бумаги ведь пишутся людьми. Но я одному человеку очень доверяю. Запиши.— Я достал авторучку, записную книжку. — Яшин Вячеслав Сергеевич. ВНИИ судебной экспертизы.

Я не стал его расспрашивать, в каких отношениях находится

он с судмедэкспертом Яшиным. Если Иван Васильевич советует — дело верное. И попросил:

— Может быть, вы сами поговорите с руководством института, чтобы назначили именно его?

— Он не должен отказаться, — только и сказал зампрокурора.

Никогда мы еще не беседовали так просто и спокойно. Я даже забыл про время.

Ни о каком «объяснении» речь не заходила. Я решил поперед батьки в пекло не лезть.

Обычно самые «приятные» сюрпризы Иван Васильевич оставлял напоследок.

Но он все тянул, тянул. И я, чтобы попытать судьбу, спросил:

— Ну, Иван Васильевич, мне можно идти?

— Может, позавтракаем?

— Спасибо. Я дома выпил кофе.

— А я кофе не употребляю. Врачи не советуют. — Он показал на левую часть груди. — Вот уж полгода его не пью. И чувствую — лучше. — Он поднялся вместе со мной. — Да, уважь. Скажи Екатерине Павловне что-нибудь о картинах... Тебе это ничего не стоит, а ей приятно.

Мы двинулись в комнату старушки. Екатерина Павловна, сложив вместе свои маленькие ладошки, приветливо поднялась от мольберта:

— Я вас специально не беспокоила. Пожалуйста, откушаем...

— От всей души спасибо, — поблагодарил я. И с глубоким вниманием остановился возле стены, на которой были развешаны картины в багетных рамках. Небольшие. В основном пейзажи.

В живописи я не был силен. И лихорадочно подыскивал в уме подходящие слова.

— Прекрасный колорит, — вылетела из меня глубокомысленная фраза. — Гогеновская палитра... — Я замолк, силясь вспомнить что-нибудь еще.

Екатерина Павловна улыбнулась. Очень подозрительно.

— Скорее уж Ван-Гог, — поправила мягко старушка. — Но с большой натяжкой... — Я понял, что мои комплименты выдали всю глубину моего незнания живописи.

У Ивана Васильевича на устах играла загадочная улыбка. И я не мог понять, смущается он за меня или намекает: вот так, брат, надо в жизни знать многое, чтобы не попасть впросак...

В коридоре зазвонил телефон.

— Я подойду, мама, — сказал Иван Васильевич и вышел.

Екатерина Павловна вдруг спросила:

— Игорь Андреевич, а где вы празднуете Октябрьские праздники?

Вопрос этот застал меня врасплох.

Я решительно не мог сказать, где буду отмечать Седьмое ноября. Надо посоветоваться с Надей.

— Не знаю, — честно признался я.

— Если вы останетесь без компании, милости просим к нам на дачу. Насколько я знаю, вы закоренелый холостяк...

Выходит, Иван Васильевич говорил с ней обо мне. Факт любопытный.

— Может быть, вам не очень импонирует наше престарелое общество, но мы с Ванюшей любим гостей. — Она засмеялась.— Хоть и говорят, что зять с тещей не могут ужиться, но мы живем душа в душу. И вкусы у нас одинаковые.

Это вообще интересная новость. Я знал, что Иван Васильевич живет с матерью. Выходит, Екатерина Павловна — теща.

Я поблагодарил за приглашение.

Иван Васильевич, прощаясь, попросил:

— Если Яшин найдет что-нибудь интересное, сообщи. По старой дружбе.

— Конечно, — пообещал я.

В прокуратуру я шел уже с легким настроением. Разговор с зампрокурора прошел как будто ничего. Даже отлично.

Кабинет Эдуарда Алексеевича оказался запертым. Я сходил в канцелярию, поставил отметку о прибытии в командировочном удостоверении. Вернулся в свою комнату и, еще раз набрав номер Эдуарда Алексеевича и убедившись, что его нет, стал перебирать бумаги на столе, окончательно успокоившись. И тут раздался звонок.

— Чикуров, прошу вас, зайдите. — Тон, каким говорил Эдуард Алексеевич, ничего хорошего не предвещал.

— Я заходил, — ответил я, удивленный. — И только что звонил...

— Я в кабинете Ивана Васильевича, — сухо сказал мой начальник и положил трубку.

Я спустился в приемную зампрокурора. Эдуард Алексеевич сидел на месте Ивана Васильевича. Поздоровался он со мной сдержанно. И опять на «вы».

— Что, опять для телевидения будут снимать? — спросил я. Мне было непонятно, почему Эдуард Алексеевич не в своем кабинете.

— Нет, — сказал он. — Временно исполняю обязанности Ивана Васильевича.

— А он? — вырвалось у меня.

— Ты что, с луны свалился?

— А что?

— Он же ушел на пенсию...

Передо мной возникла авоська с бутылками кефира, картины Екатерины Павловны, мое обстоятельное сообщение...

— Не может быть!

— Ушел на заслуженный отдых. Что тут невероятного?

— Ничего, конечно, — пробормотал я и рассмеялся. — А я только что отбарабанил ему целый доклад.

— Где?

— Дома.

Эдуард Алексеевич хмыкнул. Пожал плечами:

— Не знал, значит?

— Нет.

— Ну ладно, бывает. Для меня его уход тоже был неожиданным. Хотя на пенсию он давно имел право. Ранение на войне...

И мне опять пришлось почти слово в слово повторить Эдуарду Алексеевичу то, что я докладывал бывшему начальнику.

Он сделал несколько замечаний. Смущало меня то, что Эдуард Алексеевич обращался ко мне то на «вы», то на «ты». Чему это приписать — его назначению или тому, что у него, как это делал Иван Васильевич, припасен для меня «сюрприз»?

Эдуард Алексеевич достал из сейфа папку:

— Вам надо вернуться к саратовскому делу. Коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР рассмотрела его по кассационной жалобе и вернула на доследование... Правда, прокурор отдела дал свое заключение, просил оставить приговор в силе. Подготовьте с ним заключение, если надо, проект протеста в порядке надзора.

Это было дело о взяточничестве.

Подсудимая, мамаша одного из абитуриентов, сделала «подарок» преподавателю, принимавшему вступительные экзамены. «Подарок» в виде дорогого японского магнитофона. Областной суд приговорил взяточника (выяснилось несколько случаев подношений) и взяткодателя к срокам. Но на суде сын незадачливой родительницы пытался взять всю вину на себя. Он проходил по делу как свидетель. Мать показывала, что ее чадо непричастно, хотя транзисторный магнитофон отнесло в дом преподавателя это самое чадо.

Скажу откровенно, с самого начала я чувствовал: парень догадывался, что это за подарок. Мне было жаль юнца. Кто знает, как повлияла бы судимость на его дальнейшую жизнь. Вот и получалось: мать, как волчица, оберегающая свое дитя, дралась на суде на судьбу сына. А сын выгораживал мать...

Покончив с этим вопросом, Эдуард Алексеевич сделал длительную паузу и достал из сейфа бумагу. Протянул мне:

— Прошу ознакомиться.

Я взял листок, чувствуя, что это и есть тот самый «сюрприз», который он в подражание Ивану Васильевичу приготовил «на закуску». Из-за чего такой тон и прием.

«Уважаемая редакция! К вам обращается персональный пенсионер, человек, проработавший в юстиции более сорока лет и, естественно, знающий законы. Дело, о котором я пишу, подлежит теперь скорее юрисдикции общественности, а не органов правосудия. Поэтому я вынужден апеллировать к вам, ибо ваша газета поднимает на своих страницах важные вопросы советской морали и совести.

Взяться за перо меня заставило горе сына, мое личное горе. Мой сын, Валерий Залесский, потерял любимого человека, самого любимого, каким может быть только жена. Что ее толкнуло на роковой шаг — тайна, которую она унесла с собой. Но я пишу не об этом. В данном случае меня удивляет позиция органов, ко-

торые по своему положению занимаются ведением следствия. Еще раз хочу заверить: не зная законов, я не стал бы обращаться ни к вам, ни куда бы то ни было еще. Имея на руках неопровержимые факты, раскрывающие обстоятельства гибели моей невестки, следователь Чикуров и инспектор Ищенко до сих пор травмируют мужа покойной вызовами в прокуратуру его самого, родных, знакомых, дачей показаний и тому подобными действиями. Вы можете себе представить состояние человека в том положении, в котором оказался он. Как ни велики его страдания, у него на руках остался пятилетний ребенок. Мой сын должен найти себя во имя ребенка, во имя его и своего будущего. В результате постоянного напоминания о трагедии, которую перенес мой сын, он вот уже который месяц находится в душевном упадке, не может спокойно жить, не может работать. Не знаю, чем руководствуются следственные органы, продолжая муссировать ясное дело, но прежде всего, мне кажется, надо думать о живых людях. Я далек от мысли поставить под сомнение компетентность следователя, ведущего расследование самоубийства моей невестки, но, как человек и юрист, удивлен некоторыми аспектами его поведения. Будучи лицом, которое обязано крайне щепетильно вести себя в период следствия и тем более в служебной командировке, он вызывает к себе свою сожительницу...»

У меня свело скулы и непроизвольно сжались зубы. Я бросил взгляд на Эдуарда Алексеевича. Он, казалось, был целиком погружен в чтение бумаг.

Строки запрыгали перед глазами. Я с трудом улавливал мысль. Отец Залесского прозрачно намекал, что Ильин проявил внимание к Наде неспроста и что после этого я не могу объективно вести расследование.

Заканчивалось это пространное письмо подписью: «Персональный пенсионер, бывший член президиума областной коллегии адвокатов Г. С. Залесский».

Уже тогда, в Крылатом, когда Златовратский, корреспондент газеты, сказал, что автор прекрасно знает законы, я догадался, что это отец Валерия. И попытался представить, по каким путям шли сведения.

Сообщил в Одессу о приезде в Крылатое Нади и этой злополучной поездке в осеннюю непогоду, когда снесло мост, скорее всего Коломойцев. На допросе он сказал, что переписывается с Валерием.

Но зачем Залесскому-отцу понадобилось строчить жалобу на меня? Ведь он меня не знает, никогда и в глаза не видел.

Я вспомнил фразу Серафимы Карповны о том, как старики Залесские оберегали сына от «неравного» брака. Неужели адвокат-пенсионер хочет добиться прекращения дела подобным образом — очернить следователя? Неумно. Во всяком случае, неэтично. Впрочем, судя по всему, родители Залесского мало думают о средствах, когда дело касается их единственного наследника...

Эдуард Алексеевич откинулся на спинку стула и вопросительно посмотрел на меня. Я положил письмо перед ним на стол.

— Что вы скажете? — спросил он.

— На всех не угодишь, — стараясь быть спокойным, ответил я.

— Ну, насчет того, следует или не следует вести расследование, мы как-нибудь обойдемся без советчиков, — солидно сказал Эдуард Алексеевич, сделав упор на слове «мы». — А вот история с вашей знакомой... Действительно имела место?

— Во-первых, никакой истории не было. — Я выпалил это тоном выше, чем надо. Он недовольно поднял брови. — Она находилась в командировке на Алтае и заехала в Крылатое, кстати даже не зная, что меня там нет.

— Кто она?

— Жена, — сорвалась у меня невольная ложь.

А с другой стороны, почему не жена? Близкий, любимый человек, по-настоящему любящий и болеющий за меня.

Эдуард Алексеевич пожал плечами:

— Жена... Жена. Это, конечно, меняет дело. — Он повертел в руках письмо Залесского, что-то соображая. — Выходит, женился? Надо было сразу так и сказать... Давно?

— Собственно, мы еще не расписались... — Я почувствовал, что почва ускользает из-под моих ног. — Ей надо еще развестись с мужем, с которым она фактически не живет уже несколько лет. Ребенок, сложности...

— Чикуров, Чикуров, — произнес он со вздохом. — Мы же не дети. И если нас будут проверять, то ведь перво-наперво обратятся к документам. И уж кому-кому, а нам следует свою жизнь и отношения оформлять как полагается.

— Мы действительно не дети, — мрачно сказал я. — У взрослых встречаются обстоятельства, которые не разрубишь сразу, одним махом. А волшебные палочки существуют только в детских сказках...

— Я тебя понимаю, — кивнул Эдуард Алексеевич. Слава богу. Честное слово, поведи он себя дальше как бесчувственный чинуша, я не сдержался бы. — И еще. Что ты там не поделил с Кукуевым? Звоню в Барнаул, он, понимаешь, намекает, что ты, мол, воду в ступе толчешь. Опять же твоя... — он сделал паузу, подбирая выражение. — Ну, словом, жена, в прокуратуру к ним заходила, интересовалась, где тебя найти... Видишь, как люди судят.

— Ну и черт с ними. На всех оглядываться.

— Ладно, будет. Не ерепенься. — Эдуард Алексеевич решительно поднялся, прошелся от своего кресла до окна и обратно. Сел. — Сделаем так. Пока будет произведена эксгумация трупа и придет заключение судмедэкспертизы, занимайтесь саратовским делом. В редакцию пошлем ответ. А объяснение напиши. По поводу твоей знакомой. Так надо.

Поднявшись к себе в кабинет, я целый час провозился с проклятой объяснительной запиской.

Как назвать Надю? Любовница, сожительница... Какие идиотские слова.

Невеста?.. Ничего себе, женишок под сорок лет и невестушка с сыном, которому через пять-шесть лет можно жениться. Почему нельзя просто написать — любимый, единственный человек на земле, с которым хочется все время быть вместе?

Один за одним летели в корзину скомканные листы.

Наконец я остановился на «гражданской жене», с которой «в скором времени вступлю в законный брак».

В этот вечер мне не хотелось говорить с Надей о неприятном. Мы не виделись целую вечность.

На ВДНХ в рыбный ресторанчик не поехали, как уславливались при расставании, потому что к вечеру резко похолодало, разыгралась настоящая метель. Такси нарасхват — пятница. И зашли поближе, в «Метрополь».

Признаюсь, когда мы бываем с ней в ресторане или кафе, мне вспоминается просторная кухня в домике на окраине Скопина, где всегда пахнет соленьями и яблоками, находящимися в подполе. Там собиралась за трапезой вся семья. Ели дружно, весело. Чаще всего картошку, дымящуюся, густо залитую подсолнечным маслом, в общей миске, не думая о том, прилично это или нет.

Когда же я в ресторане, особенно с Надей, то теряюсь, как надо есть рыбу или птицу. Когда следует орудовать вилкой и ножом, когда руками. А спросить стесняюсь. И еще разные закуски. С ними просто беда. Для меня они — второе. Потому что на первое у нас дома подавалось обязательное жидкое — щи, квас с овощами, редко рассольник. А тут пока напробуешься всяких холодных блюд, уж не знаешь, что за чем должно следовать.

Надя понимала толк в еде. И призналась, что любит вкусно поесть. Готовить она тоже любила. Но мне ни разу не пришлось отведать ее стряпню. Дома у них я еще не был.

Всё рестораны да кафе.

Меня изредка посещали совсем не рыцарские чувства: походы в рестораны заметно таранили мой бюджет.

Спасало только то, что Надя так же мало пила, как и я...

Мы уселись за столик. Долго и нудно тянулась процедура выбора блюд, беседа с официантом. И вот — мы одни.

— Ты похудел, — сказала Надя.

— Скучал.

— И я скучала.

— Но не похудела.

— Я от этого полнею.

— Но я бы не сказал, чтобы очень...

— Платье такое. Стройнит.

— Не твой ли фасон?
— Что ты! Я свои модели не ношу.
— Пусть страдают другие...
— Пусть страдают. — Она положила руку на мою. — Игорь, у тебя усталый вид.
— Ерунда.
— Нет, серьезно. Неприятности?
— Да чепуха...
— У тебя, как у моего Кешки, все видно по глазам. Разобьет что-нибудь или брюки порвет — я понимаю сразу. А если двойку схватил — и говорить нечего.
Я всегда считал, что умею скрывать свои эмоции. Неужели заблуждался? Или просто она меня здорово чувствует... Наверное, так.
— Надюша, давай сегодня веселиться. Выставляю бутылку «Тетры».
— И я одну. Но с условием: ты мне расскажешь, какая у тебя печаль.
— Если будет желание.
Может быть, я все-таки и не завел бы разговор о ее необдуманном поступке, если бы она между жюльеном и котлетой по-киевски вдруг не заявила:
— Славный этот парень, главный агроном совхоза. Как его, Ильюшин, что ли?
— Ильин, — поправил я, едва не подавившись.
— Ты, конечно, знаешь, как мы чуть не потонули?
— В общих чертах. — По-моему, у меня было очень мрачное выражение лица.
— Мало того, что он отвез меня в Североозерск и устроил в гостиницу. Представляешь, настоящий джентльмен! Вечером пригласил в кино. А на следующий день проводил до аэропорта. Ты, надеюсь, не ревнуешь?
— Очень мило с его стороны.
— Неужели ревнуешь?
— Я не ревную.
— Говори! На тебе лица нет...
— Давай не будем об этом. Хотя бы сегодня.
— Отчего же? Я не хочу, чтобы ты сердился.
Ну что ж, придется, видимо, объясниться. Как ни жаль первой встречи.
Я отставил тарелку:
— Надюша, пойми меня правильно...
— Я, кажется, всегда понимала тебя именно так.
В очень осторожных выражениях и тоне я поведал ей, что приезд в Крылатое и, самое главное, поездка и общение с Ильиным доставили мне неприятности по службе. Что я, когда веду расследование, да и вообще, должен быть вне всяких подозрений, а главный агроном проходит по делу пока что как свидетель, но кто знает...
Поняла Надя или нет, но растерялась, это точно.

— В общем, дура я, — вздохнула она. — Ничего не скажешь. Но почему ты меня раньше не предупредил?

— Мне казалось это само собой разумеющимся.

— Игорь, милый, а на работе очень плохо?

— Как тебе сказать. Не смертельно, конечно. Рассосется потихонечку.

Чем больше мы об этом говорили, тем сильнее она расстраивалась. Вечер, о котором я мечтал во время длинных ночей в Крылатом и Вышегодске, все больше тускнел.

Утешить Надю было трудно. И я — спекулятивная натура человеческая! — решил обернуть создавшуюся ситуацию в свою пользу.

— Видишь ли, Надюша, — сказал я осторожно, — мы ведь не зарегистрированы еще...

— Неужели людям обязательно нужны документы?

— Увы, милая. Теперь сама видишь, что я настаиваю на этом не просто так. Могут персональное дело за аморальность...

Надя вздохнула. Вопрос был затронут самый больной. Она замолчала, что-то чертила ножом на салфетке, и я понимал, что мысли ее далеко отсюда. Там, где Кешка, которого я никогда не видел, где Дикки — свидетель наших встреч в скверике напротив ее дома.

— Наденька, — дав ей время подумать, мягко сказал я, — пора наконец все привести в порядок.

— Пора, дорогой. Но как трудно и мучительно. — Она опустила подбородок на свои длинные холеные пальцы. — Если бы ты знал!

У меня защемило сердце.

— Я знаю. И многое бы отдал, чтобы избавить тебя от этого. Но тут — как хирургическая операция. Лучше решиться сразу, чтобы не растягивать болезнь на неопределенный срок.

Она встрепенулась:

— Да-да, пожалуй, ты прав. Надо решиться...

В тот вечер мы об этом больше не говорили. Надя была внимательна и нежна, как никогда. Мы говорили о зверятах Кешки. Надя смешно копировала спящего ежа Пифа, раскатистый голос попугая Ахмеда. Мне показалось, что в этот день Надя решила всерьез взяться за наши дела...

До праздников я занимался с прокурором саратовским делом. Седьмое ноября мы встретили с Надей среди ее сослуживцев в кафе «Лира», которое Дом моделей «закупил» совместно с какой-то проектной организацией. Это была традиция. Там работали в основном молодые парни, в Доме моделей — девушки. На вечере мы оказались чуть ли не самыми пожилыми. Я надеялся наконец познакомиться с Агнессой Петровной. Но ее не было...

Вскоре после праздника у меня раздался звонок. Вежливый, тихий голос, с едва заметным грассированием:

— Товарищ Чикуров? Простите, не знаю вас по имени-отчеству...

— Игорь Андреевич.

— Игорь Андреевич, вас беспокоит Яшин. Вы не можете приехать ко мне в институт, если, разумеется, у вас есть время?

— Конечно, конечно.

— Пожалуйста, приезжайте... Надо обсудить кое-какие вопросы.

Я незамедлительно отправился на площадь Маяковского.

Вячеслав Сергеевич — высокий сухопарый мужчина лет пятидесяти. Немного сутулый. Мне показалось, что сутулость его от того, что он, слушая собеседника, слегка наклонялся к нему, приставив к уху ладонь.

Яшин провел меня в небольшой кабинетик, усадил на стул.

Я заметил, что телефонный аппарат у него необычный. С какой-то приставкой. Наверное, из-за тугоухости. Вячеслав Сергеевич достал из стола пакет фотобумаги большого формата. И произнес своим мягким голосом фразу, которая буквально ошеломила меня:

— Я был в Североозерске. Эксгумацию трупа мы произвели. Чтобы иметь более полное представление о характере ранения Залесской, я изъял шейную часть и провел окончательное исследование уже здесь. По нашему мнению, сама Залесская нанести себе такое ранение не могла...

Уже потом, когда я вспоминал этот момент, мне показалось, что ошеломило меня не то, что Залесская убита, а то, что я с самого начала, с того момента, когда ознакомился с делом, смутно чувствовал несвязность всей картины в целом.

Яшин, видя мое изумление, вынул из пакета фотоснимки. Он перебрал их, протянул один из них мне. Отпечаток рентгенограммы шейной области.

— Я бы еще мог сомневаться, но вот после этого никаких сомнений нет. Обратите внимание. Вот четыре насечки на передней части третьего шейного позвонка. Это следы бритвы.

— Отлично вижу.

— Смотрите, линии строго параллельны. Значит, режущие движения были произведены при помощи грубой фиксации головы.

— Постойте, но ведь это она сама могла...

— Ни в коем случае, — мягко перебил он меня. — При первом движении были рассечены яремные вены и сонная артерия. Уже это вызвало у меня сомнение в самоубийстве. С какой силой надо себя резануть, чтобы нанести одним махом такую рану! Дальше. Допустим, она еще и еще раз провела бы бритвой. Но тогда насечки были бы хаотичными... А тут, посмотрите внимательно, мы специально проставили масштаб, строго параллельно. Вывод простой: голова была прижата к подушке. Но это не все. Вот еще рентгеновские снимки. Глядите, между третьим и четвертым позвонком застрял посторонний предмет. Мы его извлекли. Осколок бритвы. А вот, видите, он точно со-

ответствует выемке в лезвии. Той самой бритвы, которая найдена возле трупа.

У меня вертелась на языке масса вопросов. И прежде всего — как же первый судмедэксперт мог допустить такую грубую ошибку? Но перебивать Яшина не решился.

— Вот что интересно. Осколок бритвы находился сбоку шеи, с правой стороны. Обратите внимание — с правой. Мы произвели исследование. Залесская не была левшой. Значит, если бы она наносила ранение сама, то осколок мог быть только с левой стороны.

— Да, — пробормотал я. — Она лежала на полу, лицом вниз. Правая рука на кровати. Возле руки — бритва. Действительно, несоответствие.

А Вячеслав Сергеевич продолжал:

— Трассологические исследования показывают, что потеки крови первоначально идут от шеи к затылку. Значит, в момент ранения она лежала на спине. Так же видно и на простыне. Они успели застыть. Выходит, по истечении времени положение трупа было изменено.

— Понятно... Но как мог ошибиться судмедэксперт?! Вы знаете, что он недавно защитил диссертацию как раз по ранениям в области шеи?

Вячеслав Сергеевич улыбнулся:

— Бывает. Я разговаривал с ним. И его ошибка не такая уж невозможная вещь. Множественные надрезы кожи у краев раны — типичный хрестоматийный пример. В учебнике указано. Самоубийца пробует, сразу не решается. Потом, положение трупа вполне напоминает самоубийство. Ну а насчет кандидатской... Я ведь тоже кандидат медицинских наук. Но только в своей области. Хотя мне как патологоанатому нужно знать много, увы, объять необъятное нельзя. Любой средний врач по специальности знает лучше моего, как лечить больного того или иного профиля... Кстати, следователь поставил вопрос судмедэксперту: «Могла ли Залесская нанести себе смертельное ранение сама?» Конечно, могла...

— Да, мой коллега был заворожен предсмертным письмом, — вздохнул я.

— И мой, увы, оказался не на высоте, — развел руками Яшин. — Уж кто-кто, а он мог дать делу совсем другое направление.

— Итак, — спросил я, — убийство?

— Когда я высказал свою точку зрения замначальника следственного отдела прокуратуры края, он сказал мне: «Вы представляете, какую ответственность берете на себя?!» Я ответил, что представляю. Правда, у меня еще не было рентгеновских снимков и трассологических исследований. Теперь уж я убежден в своих выводах абсолютно. — Он сложил снимки в пакет. — Надо отдать должное сотрудникам Североозерского РОВДа: отличные фотографии сделаны на месте происшествия.

Они нам здорово помогли. Вот вам и провинциальная милиция...

Мы помолчали. Я все обдумывал сообщение Яшина.

Судмедэксперт осторожно спросил:

— Скажите, мое заключение что-нибудь проясняет в ваших догадках и предположениях?

— Да как вам сказать... Предсмертное письмо и убийство...

— Жизнь щедра на головоломки.

— Еще один вопрос, если позволите.

— Ради бога. Я ведь и позвал вас сюда. Заключение, собственно, готово. Только печать поставить. Секретарша, оказывается, заболела, отпросилась сегодня домой. Я знаю, что время для вас дорого. И так его много упущено...

— Золотого времени... У меня, разумеется, будет еще масса вопросов. Надо, как говорится, пораскинуть мозгами. — Яшин понимающе кивнул. — А сейчас первое, что пришло в голову. Были ли следы борьбы? Как Залесская не услышала, что в дом забрался убийца?

Вячеслав Сергеевич остановил меня с улыбкой:

— Игорь Андреевич, это уж вам как следователю надо разобраться. Одно вам могу сказать, что уже после первого пересечения гортани она не могла издать ни одного звука...

От Яшина я добирался в прокуратуру республики в каком-то сомнамбулическом состоянии. Мысли, одна путаней другой, вертелись в голове. Всплыли все факты, слова, которые я сотни раз комбинировал и примерял за то время, которое посвятил делу Залесской.

Возвратившись к себе, я позвонил Эдуарду Алексеевичу с просьбой принять меня, назвав его Иваном Васильевичем (сработал устойчивый рефлекс: телефонный номер — человек). Ему это не очень понравилось, я заметил.

Когда я доложил то, что узнал от Яшина, у него невольно вырвалось:

— Ну и ну!

Он тут же набрал номер прокурора республики и попросил разрешения зайти.

После разговора с начальством он вызвал меня и, усмехнувшись, сказал:

— Докопался, теперь распутывай.

— А как же быть с прессой? — отпустил я шпильку. — С жалобой отца Залесского?

— Очень просто. Ответим, что факты, приведенные в письме, не подтвердились.

— Почему же, подтвердились... — невинно возразил я.

— Ты мне голову не морочь, — проворчал Эдуард Алексеевич. — Как надо, так и ответим.

— Благодарю за реабилитацию, — улыбнулся я.

— Рано благодарить. Твоя объяснительная записка будет пока лежать в моем сейфе. Вот женишься, тогда порву...

От себя я долго и безрезультатно названивал домой Ивану

Васильевичу. Никто не брал трубку. Так было и на следующий день. Вероятно, они были на даче.

Я очень жалел, что не мог с ним поговорить: он просил сообщить, если откроется в крылатовском деле что-нибудь интересное. Да и посоветоваться не мешало. Я улетел, так и не застав его дома.

И еще. Наша встреча с Кешкой опять не состоялась. Я отдал Наде три билета в новый цирк на проспекте Вернадского. Третий мне пришлось отвоевать у месткома (билеты достали по заявке), потому что давали только по два.

Теперь я направлялся в Крылатое совсем в другом настроении.

Девяносто девять процентов было за то, что Залесская убита. Но ведь могло быть и другое: смертельное ранение нанесено по ее просьбе. На этот случай я отпускал один процент. И подобное предположение совсем уж не так невероятно, как может показаться с первого взгляда. Если принять во внимание существование предсмертного письма.

На войне, случалось, тяжелораненые просили своих товарищей поскорее прекратить их мучения. Это на войне, а сейчас мирное время...

Или так. Двое решили уйти из жизни. Но, убив Залесскую, второй соучастник в последнюю минуту не смог найти силы убить себя. Может быть, струсил, раздумал. Не знаю, предположений можно строить много. В общем, версия двойного самоубийства, не выполненного до конца, требовала проверки.

Ну а если это умышленное убийство?

С целью грабежа оно совершенно исключалось. Мало того что преступник не взял ничего из вещей и ценностей (какие ценности у сравнительно молодой пары, только что перебравшейся в село), он даже не пытался инсценировать кражу. Значит, забрался он в дом только ради убийства.

Самым трудным пунктом во всей этой истории было предсмертное письмо. Напрашивались два вывода. Убийца знал о его существовании и поэтому не опасался разоблачения. Второе — совершив преступление, он наткнулся на письмо, что облегчило задачу скрыть содеянное. Тот случай, который выпадает чрезвычайно редко. Но все-таки выпадает.

Ни одного свидетеля. Пока что ни одной прямой улики. Да и косвенных, признаться, негусто. Из показаний Залесского и Коломойцева, бритва всегда находилась возле кровати на тумбочке, служащей туалетным столиком. Знал ли об этом преступник или воспользовался случайно? Трудно сказать. Следователь, который вел дело до меня, дактилоскопические исследования бритвы не производил. Более того, хранил ее небрежно. И когда я послал бритву на экспертизу, исследование ничего не дало.

Кому была нужна смерть Ани Залесской? В селе она была пришлая. Как все утверждают, добрый, жизнерадостный человек. Чтобы заиметь заклятого врага, надо проявить себя каким-то особым, решительным образом.

Она была в группе народного контроля. Может быть, кому-нибудь крепко насолила? Надо непременно подробнее разузнать об этой стороне ее деятельности в совхозе.

А что, если она напала на след какого-нибудь крупного хищения или злоупотребления? И чтобы это не стало достоянием соответствующих органов, преступник устранил Залесскую. Может быть, даже специально завоевал ее расположение, вступил с ней в связь. И, инсценировав отчаяние, добился написания предсмертного письма. Еще одна версия.

Ревность. Патологическая страсть. Этому чувству подвержены одинаково представители обоего пола. И трудно сказать, у кого оно бывает более яростным.

Исходя из предсмертного письма, основания для ревности у кого-то были. Женщина могла ревновать к мужу, возлюбленному, мужчина — к Валерию Залесскому или к кому-нибудь другому.

А если убийца — патологический тип, маньяк? Увы, и такие ходят по земле.

...В Барнауле я прежде всего вызвал судмедэксперта, который производил первоначальное вскрытие и обследование трупа Залесской 10 июля. Он согласился с заключением Яшина и дал объяснение, что произвел осмотр тела убитой небрежно. По его словам, он, как и следователь, был уверен в самоубийстве. Ввело в заблуждение предсмертное письмо. Эксперт был молод, не более тридцати.

Но ошибка есть ошибка. Он сказал, что готов понести за нее любую кару. И хотя он был одним из виновников того, что преступник гулял на свободе, у меня все равно возникла к нему симпатия. Это был открытый, искренний человек. Мне понравилось, что на прощание он произнес:

— Знаете, перед кем мне больше всего стыдно? Перед Вячеславом Сергеевичем. Даже неловко, что я кандидат наук, как и он...

Потом я зашел к замначальника следственного отдела прокуратуры края.

Разговор с Кукуевым происходил в несколько другом ключе, нежели с судмедэкспертом.

— Ну конечно, — сказал он насмешливым тоном, — вы люди столичные, «знатоки», одним словом. Так ведь Москва Москвой, но основную работу в стране ведут товарищи на местах. И вроде справляются. Если нам не доверять, как же тогда быть? Вам везде не успеть.

— Судмедэксперт согласился с Яшиным. Кстати, он сам присутствовал при эксгумации.

— Еще бы! Бумага подписана светилами. Тут любой спасует.

— Речь идет не об авторитете, а о строго научных выводах...

На этот раз у нас сложились более чем прохладные отношения.

Странно наблюдать таких людей. Очевидная истина отступает у них на второй план. На первом — свое место. Кресло. Не дай

бог оно покачнется! Соображения общего дела, вреда или пользы для общества улетучиваются как утренний туман. Конечно, за грубую ошибку в расследовании дела Залесской его по голове не погладят. И я чувствовал: будь это в его власти, он попытался бы оставить все так, как было до меня.

Еще одно огорчение ждало в Барнауле. Чисто человеческого порядка. Я сорвал Серафиме Карповне отпуск. Полтора года она уже не отдыхала. Встретились мы с Ищенко очень тепло.

— Поработаем, Серафима Карповна?

— Надо поработать. Яшин тут был, и, когда уехал, я поняла: надо ждать вас. Как все обернулось, а?

— Теперь дело за нами. Да, задал нам Вячеслав Сергеевич задачку!

— Интересный человек. Мы с ним в Крылатое ездили. Осматривали место происшествия. Все сокрушался, что погода плохая. Там в районе, оказывается, есть интересные развалины храма какого-то. Древнего. Очень хотел посмотреть... Как и вы, любит по радио серьезную музыку слушать. — Я улыбнулся. Запомнила мою привязанность. — И еще беседовал со мной журналист из Москвы. Вы уехали, а он снова вернулся. Все спрашивал, как дело идет.

— А вы?

— Говорю, разглашать не имею права. Тогда он насчет Надежды Максимовны. Я ему: это, мол, сугубо личное дело товарища следователя и неприлично вроде бы этим интересоваться. А он шуточкой: вы же, говорит, интересуетесь личным. Я ему в ответ: нас государство обязало. И то, когда касается преступления...

— Между прочим, письмо в редакцию написал отец Залесского.

Серафима Карповна покачала головой:

— Странно. Сам адвокат. Знает отлично, как ведется расследование. Правда, теперь другой оборот. Как узнает, что убийство... Или пока будем держать это в секрете?

— Нет. Я считаю — лучше пусть убийца узнает, что мы расследуем не самоубийство. Он, возможно, начнет действовать. Во всяком случае, чем-нибудь проявит себя. А нам только не теряться...

— Да, знаете, Валерий Залесский приезжал...

— Сколько он пробыл и где?

— Говорят, в Североозерске болтался. Дня три. В Крылатое заглянул на несколько часов.

— Это было после Яшина?

— Нет, до него.

— С кем он общался?

— С Коломойцевым. Вместе на кладбище сходили, на могилу Ани.

— Конечно, жаль, что я его не застал. Интересно было взглянуть и поговорить...

— Может, вызовем его?

Я задумался.

— Не знаю, Серафима Карповна, как лучше. При теперешнем-то раскладе... У него алиби... — Ищенко смотрела на меня выжидающе. — А как вы считаете?

— Тоже не знаю, Игорь Андреевич, — призналась она. — Разговор с ним, по-моему, не помешает. Познакомитесь...

— Ну хорошо, вызовем, — согласился я.

— А какие будут мне указания?

— Опять проверки, запросы...

— Ясно, — кивнула Ищенко.

...Начал я с того, что получил справку из гидрометеостанции района. В ней говорилось: «На территории Североозерского района с 20 ч 8 июля по 04 ч 9 июля наблюдалась следующая погода; переменная облачность, кратковременные осадки, температура воздуха составляла +20° минимум, +24° максимум, максимальная скорость ветра 16 м/с (8 баллов), количество осадков 18 мм. Отмечалась гроза в 21 ч 09 мин. До 22 ч 46 мин 8 июля шел ливневый дождь. В селе Крылатом станции наблюдения не имеется».

В переводе на обыденную речь, в Североозерске в тот вечер было душно, хлестал дождь. Обычно здесь дует непрестанно (3—5 метров в секунду), а в ту ночь налетали порывы приличной силы...

Когда я прибыл в совхоз, то сразу понял, что молва обогнала меня. Появление здесь Яшина сделало свое дело.

Мой добрый знакомый Савелий Фомич встретил меня как своего. Желая отблагодарить старика за проявляемую заботу, я в первый же вечер выставил бутылочку «Степной украинской», прихваченную специально из Москвы. Она была вроде и крепкой, но слабее водки.

Честно говоря, за радение и внимание старика не угостить его наконец становилось неприличным. Еще и потому, что сторож не раз намекал о своей непричастности к алкогольной братии, но в охотку, говаривал он, «не пьют только куры да те, кому не подносят».

Я ему «поднес», чем крепко угодил. Дело было не в том, что Савелий Фомич не имел возможности истратить на себя трешку. Тронуло старика то, что столичный человек, в его представлении по рангу едва ли не один из самых главных, помнил о нем и проявил внимание.

Когда я торжественно поставил на стол бутылку, купленную в последнюю минуту в каком-то магазинчике по пути в аэропорт, у сторожа чуть не выступили на глазах слезы. Он с трепетом взял настойку обеими руками и благоговейно прочел: «Московский ликеро-водочный завод». И поставил ее на место, как нежнейшее изделие из тончайшего стекла.

— Московский розлив, — покачал он головой.

Савелий Фомич отлучился и вскоре вернулся с хозяйственной сумкой. Я понял, что столичный презент он хочет отпробовать со мной.

Мы наслаждались тушеным кроликом, пили, закусывая солеными помидорами, от которых ломило зубы. Они были холодные и пряные.

— Не беспокойтесь, Игорь Андреевич, — показал он на горло. — От холодной закуски, когда потребляете крепкое, никакая лихоманка не прицепится. Поверьте старику.

— Будем надеяться... А кролик знатный.

— Моя старуха стряпала... У них, сердешных, — ткнул он в коричневую тушку, — мясо обыкновенно сладкое. Его, выходит, надо сперва в уксусе подержать, сдобрить чесноком, перчиком. Тогда настоящая еда получается. Моя старуха здорово научилась их обрабатывать.

— Действительно вкусно. Моя мать тоже хорошо их жарит. Уксус, правда, льет прямо в котел. Но этот лучше.

Савелий Фомич крякнул, довольный. И выходило у нас все отлично: я ему потрафил и он не ударил лицом в грязь.

Где-то на середине трапезы я спросил:

— А вы не помните, Савелий Фомич, в тот вечер, накануне, перед тем как нашли Залесскую, какая погода была?

— Это в ночь-то, когда Аню убили?

Он сказал «убили» как давно известную всем истину.

— Да.

— Как же, припоминаю. Кажись, гроза была. А в ту пору, как назло, перед косовицей кажный вечер нагоняло дождь. Днем парит, а к ночи обязательно льет. Озимые полегли порядком. Хлеб шибко соломистый был. Наши выдумывали всякие штучки-дрючки к комбайнам, чтоб полегше убирать было.

— А именно в ночь с восьмого на девятое июля?

— Была, была гроза. Как услышал, что с воспитательницей такая финтимония приключилась, я, конечно, туды. Лужи еще не все просохли. Стало быть, дождь пролился порядочный.

— А в котором часу, не помните?

— Не. Часы не запомнил. Врать не хочу.

— А что говорят теперь в Крылатом?

— Я бабские разговоры не слушаю.

— Но ведь слухи ходят?

— На то и слухи, чтоб ходить, — ответил он уклончиво.

— Что именно?

— Из нашинских, говорят, никто не мог такое злодейство сотворить. Никак чужой кто. Что на заработки приезжали...

Больше я от него никакой информации не добился. Мы заговорили обо всякой всячине. В совхозе каких-либо заметных событий не произошло. Все лица, знакомые мне, находились на месте. Мария Завражная ждала ребенка. Завклубом, киномеханик Ципов, получил отсрочку от призыва в армию по случаю болезни матери, так как являлся единственной ее опорой. Коломойцев помял машину и слесарил в гараже, потому что лишился на год водительских прав за вождение «под мухой». У Емельяна Захаровича родился третий внук. Участковый инспектор Линев соорудил в доме неслыханную вещь — водяное

отопление, работающее на солярке. Доселе невиданное новшество вызвало массу толков. Савелий Фомич объявил затею непутевой, считая надежней старый, испытанный уголек. «Копотно, хлопотно, зато верно», — сказал он.

Мы с честью прикончили кролика. Помидоры я просил Савелия Фомича забрать: больно перченые, не навредили бы моим миндалинам.

— А вы травкой не пробовали? — спросил старик.

— Травкой нет, — сказал я.

— Может, лучше нынешней химии... Тут у нас одна кудесница есть, Матюшина Евдокия Дмитриевна. Не слыхивали? Коломойцев у ей на постое. Бабка умелая. От прострелов, колик, удушья врачует. Любую хворь снимает. Сама свои корешки да листики собирает.

— Запущена у меня болезнь, Савелий Фомич. Только хирург и поможет. Или же сам, закаливанием...

— Попробуйте, Игорь Андреевич. Попытка не пытка. Худа не будет. А полегчает — за вами пузырек. — Он засмеялся. — Это я шуткую, конечно. А к бабке Евдокии советую обратиться. Она вон нашего кузнеца, покойника Егора Игнатьевича, лечила. От запоев. Или взять конюха Илью Петровича, царство ему небесное, радикулит как рукой сняла... Брат мой, он в прошлом году помер, только и держался на ее настоечках...

— Я, Савелий Фомич, еще пожить хочу, — прервал я старика с улыбкой.

Он хмыкнул и засмеялся:

— Так эти все по годам померли. — Он еще раз крякнул. — По старости...

На том наша посиделка и кончилась.

Утром я зашел к директору совхоза. Емельян Захарович вышел из-за стола навстречу. Его крупный торс облегал толстый свитер домашней вязки. Он сильно прихрамывал, хотя и старался скрыть это.

— Приветствую вас, дорогой Игорь Андреевич, приветствую. Хоть и случай привел вас опять сюда совсем не радостный. Видите, как обернулось? До чего вы докопались...

— Между прочим, не без вашего участия.

— Какое мое участие, — отмахнулся он. — Присаживайтесь.

Мурзин проковылял на свое место. И я совершенно автоматически спросил:

— Ну как здоровье? — И с опозданием понял, что спрашивать не стоило. Нога его беспокоила сильнее прежнего, это можно было заметить сразу.

— Ничего, спасибо, — ответил он не очень весело. — Единственное утешение, что не конь. — Он похлопал по больной ноге. — С такой штукой на работе держат только людей...

Еще я обратил внимание, что на затылке у Емельяна Захаровича серебрился едва заметный пушок. Обычно его голова была тщательно выбрита. Что это, усталость? Да, вид у Мурзина не очень бодрый...

— Поговаривали у нас на селе, — продолжал он, — но по-настоящему верю только официальным лицам. И страшно делается за людей, когда сталкиваешься с подобными фактами. Ну и история... Ладно, такие случаи, как с Аней, может, особая статья, совсем из ряда вон. Но ведь эрозия души начинается с мелочей. Зять, к примеру, холодильник покупал. Стоит в магазине несколько штук. У одного дверца не так хорошо закрывается, у другого стенка чуток поцарапана, у третьего еще что-то. За пятерку продавец выдал холодильник без задоринки. Почему так? Или еще. Были мы в Москве с директором соседнего совхоза. Немолодой он человек, а в столице впервые. Пошли обедать в ресторан. У него авоська с какой-то безделицей, которой цена грош. Но просят сдать в гардероб. Он сдал. Обратно выходим, я жду его. Взял он свою авоську, выходим. Смотрю, смущенный. Спрашиваю: «Что случилось?» А он мне: «Недаром говорят, всюду деньги, деньги». А что оказалось. Забирает он свою сеточку, гардеробщик намекает, дескать, чаевые надобно. Он спрашивает сколько. «Сколько не жалко». И мой знакомый отваливает трешницу. И гардеробщик взял как ни в чем не бывало. Эх, вспоминаю свою молодость. Первые комсомольцы, коммуния, субботники... Бесплатно такую работу делали, за которую сейчас и урочные, и сверхурочные, и премиальные платят. А рвачей и словом били, и... — он показал внушительный кулак, помолчал, погладил пятерней свой лысый череп. — Да, совесть на хозрасчет не поставишь. Верно я говорю? — И о чем-то печально задумался.

Таким грустным я его никогда не видел. О чем он размышлял? О молодых годах, проведенных, судя по его словам, в труде и работе, которые его грели до сих пор, о болячках, мучающих в преклонные годы? Я все хотел спросить у Емельяна Захаровича, где он получил ранение в ногу. Во время войны Мурзин лежал в госпитале с простреленным легким. Может быть, ногу он повредил в мирное время? Интересоваться этим сейчас неудобно...

И все же меня поражала в нем невероятная энергия. Глядя на его могучее тело, я не мог себе представить, как Мурзин может всерьез говорить об уходе на пенсию. Возможно, это тактика? Трудно сказать.

За моей спиной хлопнула дверь, и я невольно обернулся. На пороге стоял Ильин.

— А, вы заняты, — сказал он, кивнув мне в знак приветствия. Я ответил тем же. — Не знал. Гали нет в приемной...

— Может, позже зайдешь, Николай Гордеевич? — виновато произнес Мурзин. И вопросительно посмотрел на меня.

Я поднялся:

— Не буду отрывать вас от дел.

Ильин прошел в комнату, пододвинул стул к столу и сел без приглашения. Непонятную власть имел главный агроном над директором совхоза. И это меня удивляло.

Придя в кабинет, отведенный мне, я попросил по телефону

зайти ко мне секретаря комитета комсомола совхоза Леню Пушкарева.

Курносый, с вихорком жестких волос, торчащих гребнем на голове, Пушкарев производил впечатление веселого балагура. На нем была вельветовая куртка и солдатские брюки, из чего я заключил, что их обладатель недавно вернулся из армии. Леня заметно окал. Наверное, с Волги. Так и оказалось.

— Из-под Сормова я, — признался он. — После службы потянуло на степные просторы. Нравится тут.

— Места или люди?

— Люди тоже нормальные.

— Вы здесь который год?

— Второй. А секретарствую всего один год.

— Большая комсомольская организация?

— Порядком будет.

— Большую работу ведете?

Он поправил свой вихор:

— Самому как-то неудобно себя хвалить, но работаем неплохо. — Он засмеялся. — Сам себя не похвалишь, кто похвалит...

— «Комсомольский прожектор», самодеятельность?

— Все как полагается.

— Скажите, Леня, я слышал, Аня Залесская была в группе народного контроля? В какой-то степени та же задача, что и у «Комсомольского прожектора». Как, по вашему мнению, могла она иметь конфликт с кем-нибудь на этой почве?

— А кто радуется, когда его за ушко да на солнышко?

— Были какие-то конкретные случаи?

— Я говорю, могли быть. Но я что-то не слыхал о таком случае.

— Может быть, в совхозе имели место грубые нарушения или злоупотребления, к раскрытию которых причастна Залесская?

— Да нет, что вы. Всё по мелочам. Какая-то история с Рыбкиной. Из-за хлеба.

— С соседкой?

— Ага. Они в садике вместе работали. Аня воспитателем, а Рыбкина поваром. Вы поговорите с работниками детсада. На их собрании этот случай разбирали. С тем и кончилось...

Чтобы выяснить эту историю до конца, я вызвал еще раз Завражную, а потом Рыбкину, соседку Залесских, муж которой прибежал на место происшествия сразу после Залесского и Коломойцева.

Перед допросом Марии Завражной я тщательнейшим образом обдумал предстоящий разговор.

На сей раз решил говорить с ней не в форменном пиджаке, а в обычном, гражданском. Мне казалось, что на первом допросе ее сковывала еще и моя одежда со знаками отличия. Действительно, застенчивая, стыдящаяся дефекта лица молодая женщина, которая дальше Североозерска выехала только в этом году... Странная смерть подруги, слухи, а тут тебя вызывает столичный следователь во внушительном чине, при форме...

Не учел, видимо, тогда этот важный психологический момент. А иногда с людьми легче найти общий язык, когда не подчеркиваешь своего положения. Случалось у меня и обратное явление. Вызовешь на допрос какого-нибудь руководящего работника, а без соответствующего кабинета и формы с ним трудно общаться. На лбу у меня не написано, что советник юстиции. Сразу ощущаешь этакую снисходительность, руководящую неприступность. А как только появляются на тебе петлицы с двумя звездочками — куда девается сухой, сдержанный тон, разговор идет на равных, хотя я как был, так и остался прежним Чикуровым. Совершенно уверен в том, что такой человек в обычной для себя обстановке не предложит посетителю присесть, не узнав его ранга. И если тот окажется гораздо ниже собственного, стоять ему перед начальственными очами на своих двоих. Зато вышестоящий товарищ будет непременно усажен в самое удобное кресло со всеми вытекающими отсюда заботами...

Завражная вошла несмело. Она заметно раздалась в теле. Я предложил ей снять полушубок, повесил на вешалку. Пуховый платок она оставила на себе, спустив на шею и подобрав концы на груди и животе.

— Вот, Мария Никаноровна, опять вынужден был вас вызвать.

— Чего уж. Надо, наверное, — согласилась она несмело.

— Я хочу с вами поговорить о производственной, общественной жизни Ани Залесской. Она, кажется, была в группе народного контроля?

— Да. Мы ее от всего коллектива выдвинули.

— Были у нее с кем-нибудь стычки по этому поводу в вашем коллективе?

— Как вам сказать... С Софулей... то есть Софьей Ильиничной Рыбкиной, нашим шеф-поваром.

— Подробней, пожалуйста.

— У нас ведется кампания за экономию хлеба. Везде, наверное, так. Сборы пищевых отходов и еще разное. Собрание в детсаду устраивали по этому случаю. А тут Аня как-то решила с «Комсомольским прожектором» проверить нашу кухню. И захватила Рыбкину, когда она собиралась унести домой пять буханок хлеба.

— Целиком?

— Да.

— Что, ей не хватает хлеба из магазина?

— Для свиней. Она каждый год откармливает двух-трех поросят на продажу. Муж ее в район мясо возит. Ну, значит, поймали ее с хлебом, материалы передали в группу народного контроля в совхоз. Софья Ильинична крик подняла, будто хлеб в магазине купила, не успела домой занести...

— Может, действительно купила?

Завражная покачала головой:

— А если и купила, тоже нарушение. Хлеб не для свиней. Но мы все равно выяснили в магазине. Рыбкина вообще таскала

из столовой ведрами. Отходы, конечно. На собрании работников детсада ее разобрали. Она пришла на следующий день к заведующей — и заявление на стол, что хочет уйти по собственному желанию. Заведующая говорит, пожалуйста, мол. Конечно, срам всему коллективу. А Рыбкина на попятную. Думала на испуг взять. Потом чуть ли не в ножки кланялась. Заведующей стало жалко ее. Да и нам всем тоже. Оставили. С тех пор она на Аню взъелась. В лицо вежливая, обходительная с ней была, а за глаза косточки перемывала.

— В каком смысле?

— Сплетни всякие распространяла.

— Например?

Мария потерла лоб, поправила челку.

— К примеру, почему Аня пошла работать в детсад, хотя и имеет диплом агронома. Говорит, якобы Аня теплое местечко искала. Боится, мол, руки в земле замарать. А наш труд, может, не легче агрономовского. Ответственность большая. Потом, с ребенка-то спрос другой, чем со взрослого. Что бы ни случилось, ребенок не виноват. На то он и дитя малое...

— Что именно труднее — действительно вопрос спорный... А прямых выпадов, угроз со стороны Рыбкиной не было?

— Какие у нее основания? Аня со своими обязанностями справлялась. Так, цеплялась ни за что.

— По вашему мнению, Рыбкина проявляла к ней враждебность или нет? — уточнил я.

— Симпатий не питала. Я имею в виду, после случая с хлебом. А в глаза, как я уже говорила, вежливо обращалась.

— Других конфликтов у Залесской не было?

— Вроде больше не было. Мало ведь она тут пожила.

— Не было или вы не знаете?

— Не было. Аня со мной всегда делилась...

Показания Рыбкиной, как и следовало ожидать, характеризовали Залесскую не совсем положительно.

«...После того как Залесская устроила собрание, где меня осрамили на весь совхоз, я к ней зла не держала. Если до этого мы жили как хорошие соседи, то теперь она даже не здоровалась. Валерий Георгиевич, супруг ее, здоровался со мной и мужем по-прежнему. Он был культурнее ее. На работе поддерживала с Залесской нормальные отношения, потому что всякие личные дела не должны вредить общественным.

Но помню, она один раз устроила мне скандал при детях, будто я распространяю против нее сплетни. А я никакие сплетни не распространяла. То, что Коломойцев рисовал ее у себя дома без одежды, на селе все знают.

Вопрос. Откуда вам известно, что Коломойцев писал ее обнаженной?

Ответ. Спросите у любого.

Вопрос. Вы конкретно от кого слышали?

Ответ. Сейчас уж не помню.

Вопрос. Как ваш муж отнесся к тому, что случай с хлебом

был предметом обсуждения на собрании коллектива детского сада?

Ответ. Не понравилось, что наше имя трепали.

Вопрос. Кого он обвинял в этом?

Ответ. Никого не обвинял. А мне запретил приносить домой даже отходы. Выхлопотал комбикорма.

Вопрос. Как он относился к Залесской после этого случая?

Ответ. Он тихий человек. Мухи не обидит...

Вопрос. Где вы и ваш муж были в ночь с восьмого на девятое июля?

Ответ. На именинах у племянника.

Вопрос. Когда вернулись домой?

Ответ. В пятом часу утра...»

Я проверил показания Рыбкиной. Действительно, они ушли в ночь убийства Залесской от брата ее мужа в пятом часу утра. А по поводу того, что Аня позировала Коломойцеву обнаженной, решил сначала узнать у его хозяйки.

Домик Евдокии Дмитриевны Матюшиной был каким-то заброшенным. Здесь явно не было хозяина. Крыша посередине просела и напоминала седло. Дранка почернела от времени и топорщилась, как перья у курицы на ветру. Оконца скособочились, а плетень только что назывался забором: из каждых десяти кольев едва сохранилось два. Зато их с лихвой заменял чертополох. Его засохшие черные кусты сухо шелестели, раскачиваясь из стороны в сторону.

Изба крылатовской травницы стояла поперек участка, да еще в уголке. И непонятно, где находился ее фасад и боковая стена. Два крыльца, поставленные по неисповедимым законам архитектуры, в то же время несли на себе печать разных стилей: одно — резное, с потрескавшимися деревянными узорами, другое — срубленное абы как, грубо отесанное.

Я поднялся на то, которое претендовало когда-то на деревенское изящество, заключив по логике вещей, что оно ведет в главные покои.

Матюшина появилась на другом. И, увидев меня, тут же захлопнула дверь. Озадаченный ее поведением, я некоторое время топтался на месте, соображая, что бы означал такой прием, и перешел на крыльцо, на котором появилась она. Робко стукнул. А хозяйка Коломойцева уже подзывала меня с первого входа.

— Евдокия Дмитриевна? — спросил я.

— Я и есть. — Она подозрительно посмотрела на меня.

— Разрешите? — Я поднялся под навес.

— Проходите, — не очень любезно предложила она, пропуская меня в маленькие сени.

На двери в комнату висела табличка с черепом и перекрещенными костями: «Стой, высокое напряжение! Опасно для жизни!»

Я толкнул дверь. В комнате раздался мелодичный звон.

От косяка тянулся провод к стене, на которой висели различные бубенцы, колокольчики, колокола, темные старинные и совсем новые, никелированные, с узорами и гладкие, маленькие и большие. Коломойцев, видать, был большой оригинал не только в одежде и внешнем облике.

Занимал он довольно просторную комнату с русской печкой. Помещение было почти пустое. По углам стояло несколько холстов, натянутых на простые рамы. Что изображено на них, видно не было, потому что они были повернуты к стене. Тут находилось и ателье и обитель местной знаменитости: стояла широкая кровать, покрытая серым байковым одеялом, круглый стол и три табуретки.

Мы прошли через нее в другую комнату. Размерами поменьше, зато мебель побогаче. Комод, диванчик, шкаф и кровать, прибранная белой накидкой с кружевным подзором, с горкой взбитых подушек. Сюда, видимо, тоже можно было пройти с улицы, но черным ходом. Почему хозяйка провела меня через жилище постояльца, я не понял.

Присели у стола. Я объяснил ей, что следователь из прокуратуры. Она слушала меня, как показалось, с опаской.

Матюшина не производила впечатления древней старушки. Передо мной сидела крепкая пожилая женщина со здоровым румянцем.

Чтобы как-то начать разговор, я спросил:

— Не мешает?

— Что?

— Музыкальное сопровождение...

— Мне нравится. А то живем как в могиле. Снимал Стасик до меня тут у одних, так они его из-за этой музыки и попросили.

— Да, приятный перезвон. Выходит, как открываешь дверь, всегда перезвон?

— Всегда.

— И не ломается механика?

— Бывает. Но Стасик тут же починит.

— А как же, например, если вы отдыхаете, вам не мешает?

— Я привыкла. Иной раз и не замечаешь...

— Это бывает. Я к вам, Евдокия Дмитриевна, вот по какому вопросу. В ночь, когда погибла Залесская, вы находились дома?

Матюшина задумалась. Видимо, ей надо было переключиться с одного направления мыслей на другое.

— Конечно, дома. А где же мне еще быть?

— Вы знали, что Валерий Залесский заночевал здесь?

— Конечно.

— Вы это хорошо помните?

— Хорошо.

— И пробыл он здесь до которого часа?

— Час не помню. Я встала рано. По хозяйству хлопотала. Часов в восемь-девять слышу, встали. Умылись оба во дворе. Летом у нас сзади, около сарая, рукомойник висит. Ополоснулись

они, значит. И ушли. Все переговаривались чего-то. А через некоторое время соседка проходила. Говорит, Анька, мол, воспитательница из детского сада, руки на себя наложила. Я сразу и не сообразила, что это жена Валерия. Как же, думаю, сам только что тут был, и вот, пожалуйста...

— Вы не можете рассказать, как они, то есть ваш жилец и Залесский, пришли накануне вечером, что делали.

— Пришли еще засветло. Веселые. Не знаю, как Валерий, а Станислава я научилась различать даже за стенкой, когда он того, примет. Сапожищами стучит, аж у меня посуда звякает.

— Значит, они пришли выпивши?

— Было такое.

— И сильно?

— Не так чтобы очень. Но с собой принесли, видать, бутылку. Стасик постучал ко мне, попросил еще один стакан. И говорит: «Мы, Евдокия Дмитриевна, немного гуляем, но шуметь не будем». Я говорю, пейте, мол, на здоровье, если денег не жалко, но и меру знайте.

— Часто они здесь выпивали?

— Не могу сказать, что часто, но случалось.

— Еще с кем-нибудь или всегда одни?

— Пару раз с ними был этот, киномеханик, конопатый такой.

— Ципов?

— Он.

— А в тот вечер они были вдвоем?

— Только Стасик да Валерий.

— А Аня была когда-нибудь здесь?

— Была.

— Выпивала с ними?

— Один раз, когда картины Стасика показывали в клубе.

— Выставка?

— Да. После выставки Стасик угощение устроил. Пригласил Валерия с женой, Ципов был с девчонкой одной, с почты, и какой-то паренек из района. Молоденький, а его все Юрием Юрьевичем величали. Посидели, отпраздновали. Я помогала, пирог сготовила.

— А бывала тут Залесская одна?

— Заходила. Стасик ее портрет рисовал.

— А вы присутствовали при этом?

— Нет. Слышу, разговаривают: «Сядь так, сядь этак». Что мне мешать?

— Как он ее рисовал: в одежде или без одежды?

Матюшина удивилась:

— Разве можно голой! Срам это. Не мог Стасик себе этого позволить. Конечно, в одежде.

— Хорошо. Пожалуйста, продолжайте о том вечере.

— Что продолжать?

— Ну, принесли они с собой, Коломойцев попросил у вас стакан. Дальше?

— Наверное, сели выпивать.

— Почему наверное?
— Для чего же стакан?
— В тот вечер была гроза?
— Сильный дождь хлестал.
— В котором часу он пошел, хотя бы приблизительно?
— Около десяти вечера.
— И долго шел?
— Бог его знает. То шибко, то затихал.
— Так. Ну, а Станислав и Валерий?
— Сидели за рюмочкой. Что-то спорили. Стасик свои картины двигал...
— И сколько это продолжалось?
— Не знаю.
— Час, два, три?
— Ей-богу, не знаю. Я спать легла.
— В котором часу?
— Я позже одиннадцати не ложусь.
— Что было потом?
— Наверное, быстро угомонились. Потому что здорово приняли.
— Из чего вы это заключаете?
— Валерий мучился всю ночь.
— Расскажите поподробней.
— Среди ночи стучит ко мне. Я чутко сплю. «Кто?» — спрашиваю. «Это я, баба Дуня». Слышу, голос Валерия. Я засветила огонь. Накинула халат. Смотрю, на парне лица нет. Зеленый, из глаз слезы, весь в поту. За живот держится. Спрашиваю, что это, мол, с ним приключилось. А он мне: «Помираю, худо». Я сама вижу, у него, сердешного, так живот и сводит. Рвать тянет. Ну, был у меня один пузырек с настойкой, я ему налила. Не успел он выпить, опрометью на улицу. Облегчился. Значит, подействовало.
— В котором часу это было?
— На часы не глянула. Но, наверное, за полночь уже.
— А дождь еще шел?
— Кажись, да. Он с улицы вернулся мокрый.
— Что было дальше?
— Успокоился. Лег спать. Я тоже заснула.
— Больше он вас не беспокоил?
— Нет. Хорошая травка, она и очищает и закрепляет...
— Ясно. А как они разместились в комнате Коломойцева, там ведь одна кровать?
— Стасик спал на полу. Как солдат — фуфайку под голову, пиджачком прикрылся. Да что там, лето, теплынь. Несмотря на грозу, душно было...
— До этого случая Залесский оставался у вас когда-нибудь ночевать?
— Случалось.
— Крепко они выпивали со Станиславом?
Матюшина вздохнула:

— Грешили. Я все Стасику говорю, не доведет эта водка до добра. Молоды еще, здоровье надо беречь. Да и деньги какие на нее, злодейку, уходят. А он все только отмахивается. Потом спохватится — трудно будет. Вон уже с машины сняли, слесарем поставили. Столб объехать не смог. Хорошо, сам не пострадал. А ведь так можно человека убить или себя покалечить. Ведь какой парень способный...

— Раньше кому-нибудь из них, Валерию или Станиславу, бывало так плохо?

— У Валерия бывал грех, он слабее Стасика. Это моему все трын-трава, хоть и пьет все, что под руку попадется...

— Что именно?

Матюшина замялась:

— Парень он неразборчивый. Если надо опохмелиться, шарит, шарит по дому, когда, конечно, денег нет на выпивку. Раз у меня примочку от радикулита ахнул... Да-да. Светленькая такая и спиртным пахнет. Я для себя сделала. На водочке. Главное, только что я ее видела, и Стасик вертелся, вертелся у меня и вдруг у себя затих. Я подхожу к буфету, а настоечки нет. Испугалась, думаю, парень помирает. Она же только для наружного потребления. Я — к нему. А он лежит, ну, упокойник, и все тут. И скляночка на полу валяется. Я его трясти. А он, это же надо, улыбается, как дите. И говорит: «Богиня моя, я за тебя хоть в огонь, хоть в воду...» Думаю, бредить начал, приходит парню конец... Я ему насильно рвотного. Зубы сжал, не пьет. Я так и этак. Стасик, мол, сыночек, пожалей старуху, ведь что случится, век буду себя проклинать. Нет. Отводит меня рукой... — Евдокия Дмитриевна вздохнула.

— Ну и что? — полюбопытствовал я.

— Да ничего. Проспал часов десять. Встал как огурчик...

— И никаких последствий? — улыбнулся я.

— Вроде нет. Правда, стал жаловаться, волос, мол, на голове лезет... А может, это у него порода такая? Не знаю. Только после этого случая лекарства, что пользую сама, храню под замком...

— Еще один вопрос. Залесскому было плохо. А Станислав что в это время делал? Может, помогал другу справиться с дурнотой?

— Что вы! Спал как мышь. Свернулся в калачик на полу, и ни звука. Он выпивши только поначалу храпит. А потом — ни гу-гу.

— Понятно, — кивнул я. Мне оставалось выяснить последний вопрос. — Евдокия Дмитриевна, говорят, Валерий недавно был в Крылатом.

— Слыхала, слыхала, — закивала Матюшина.

— К вам заходил?

— Нет... Приехал, проведал могилку и тут же уехал... Стасик мне рассказывал.

— Никаких, значит, дел у Залесского здесь не было?

— Не знаю. — Она внимательно посмотрела на меня. — А вы у Стасика поинтересуйтесь...

Мы закончили все фомальности, и я, попрощавшись, ушел...

— Игорь Андреевич, а с вас причитается, — сказал старик, когда я вернулся домой. И протянул мне конверт.

Распечатал я письмо у себя в комнате.

«Игорь, дорогой! Наконец-то я решилась встретиться с мужем. Разговор получился трудный. Не буду писать подробности, тебе это, вероятно, неприятно. Кстати, один из его доводов: развод может отразиться на его служебной карьере. Но он обещал подумать. Это уже хорошо. Считаю, что дело на мази. Раньше я не могла даже заикнуться об этом. Мы договорились, что на днях он позвонит. Хочет посоветоваться с адвокатом, как лучше оформить документы. Я дам тебе знать, когда все произойдет.

Живу тихо: работа, Кешка. Он страшно ленится учиться. Получил кол (!) по рисованию. Странная у него почему-то психология: даже за тройку боится больше, чем за единицу. Единица для Кешки — нечто оригинальное и непонятное. Лишила его на три дня телевизора, но мягкое бабкино сердце сводит к нулю всю мою педагогическую деятельность. Более того, его главный аргумент: «А папа бы мне разрешил...»

В своем письме ты спрашиваешь о Дикки. Он здоров, весел и беспечен. На свою собачью жизнь не жалуется. У него появилась симпатия. У соседей ниже этажом — болонка. Очаровательное создание. Бедный Дикки не понимает, что болонка ему совсем не пара...

Что еще написать о своем житье-бытье? Одной из моих моделей платья присвоили Знак качества. Меня премировали.

Была на концерте французской песни. Ансамбль «Менестрели» из Парижа. Полный восторг.

Хоть до Нового года времени порядочно, сообщи, будешь ли на праздники в Москве. Этот праздник я люблю больше всех других. Неужели придется встречать его одной? Крепко целую, Надя».

Наконец-то лед тронулся. В скором времени мы сможем с ней устроиться, как нормальные люди.

Загс, свадьба... Бог ты мой, сколько событий, сколько изменений и метаморфоз предстоит пережить.

Ладно, это переживется. Но дальше предстоит главное. Она с сыном переедет жить ко мне. То, что с сыном, и то, что ко мне, это непременно. Не могу же я въехать к ним в двухкомнатную квартиру, где живет еще мать (теща!) и брат (кажется, шурин). Моя однокомнатная тоже мала для троих. Что я! В скором времени — для четверых. Иначе я себе и не представлял... В общем-то, проблема не из легких. Придется сразу хлопотать о двух- или трехкомнатной. Сколько на это уйдет времени, одному богу известно. И денег...

Никогда не задумывался о том, что есть сберегательные кассы. Они существовали в моем представлении только для других. И когда пять лет назад встал вопрос о взносе в жилищный ко-

оператив, я впервые подумал о том, что «хранить деньги выгодно, надежно, удобно» не умел. Пришлось смирить гордыню и ехать на поклон к родным в Скопин. Мать выдала мне нужную сумму, хотя их пенсия с отцом вдвое меньше моей зарплаты... Долг я вернул в минимально короткий срок (родители готовы были ждать), так как он жег мою совесть. И, решив тогда жилищную проблему, опять вычеркнул из памяти сберкассу... Теперь вновь предстоит...

Сколько зарабатывает Надя, есть ли у нее сбережения, я никогда не интересовался. В моем представлении мужчина должен брать жену на полное обеспечение.

Неужели опять ехать к старикам и бить челом? Как ни прикинь, своими ресурсами не обойтись.

И еще. Понравится ли родителям Надя? После всех их стараний женить меня, после вереницы присватанных молоденьких девчонок заявиться к родным с женой, взятой от другого мужа, да еще с ребенком... Мои-то скорее всего поймут, а в городке пойдут суды да пересуды.

Я усмехнулся: ну что за мысли меня волнуют? Жить мне, а не дяде какому-то. Что, в конце концов, за дело до скопинских сплетен и болтовни?

Опять же, приглянутся ли Наде мои близкие... Простые люди, можно сказать, деревенские, хотя отец полжизни проработал на фабрике. Да и быт наш почти крестьянский: свой домик, участок в десяток соток, благодаря которому родители ухитрялись кормить семью и овощами и фруктами. Держали птицу, корову. Правда, с коровой расстались лет шесть назад: старикам стало тяжело ухаживать.

Надя родилась в Москве. Моя будущая теща никогда не работала. Овдовела недавно, получив за мужа хорошую пенсию. Он был директором парфюмерной фабрики. Брат Нади работает сейчас на этой же фабрике инженером.

Сама Надя — ведущий специалист Дома моделей.

И все же мне казалось, что с матерью и отцом они поладят. Будут ли жить душа в душу, не знаю, но уважать друг друга смогут. Потом, мы — в Москве, они — в Скопине. Летом — родная мне рязанская сторона. Фрукты, овощи для Кешки.

Кешка, Кешка... Самый непонятный вопрос. С Надей у нас все как будто ясно и просто. Он же пока был мне чужим и очень близким ей. Ближе, чем кто-либо на этом свете. Зная его сильную любовь к отцу, наверное, еще более сильную оттого, что отец не с ним, трудно рассчитывать на легкую дружбу. И вообще, предвидеть все нюансы нашего общения просто невозможно.

Меня грело одно — пример Серафимы Карповны. Смогла же она полюбить троих чужих детей. То, что приемные дети любили старшего лейтенанта и почитали как родную мать, мне прожужжали уши в УВД края ее начальство и сослуживцы. Но такое же ли у меня широкое и доброе сердце, как у Ищенко? Смогу ли я преодолеть «неродное»? Сможет ли Кешка?

Гадать сейчас трудно. Лучше пока не думать об этом. Жизнь покажет. Постараюсь, чтобы всем нам троим удалось остаться самими собой. Но в то же время — необходимыми друг другу.

Залесский в Крылатое на допрос не приехал. Вместо этого от него пришла телеграмма из Одессы о том, что он лежит в больнице, в неврологическом отделении. Телеграмма была заверена главным врачом.

По моей просьбе товарищи из Одесской прокуратуры проверили этот факт.

Действительно, Валерий находился на лечении с диагнозом «нервное истощение на почве психической травмы».

Тем временем я ознакомился с деятельностью Ани Залесской в группе народного контроля, кругом ее обязанностей и людей, которые по тем или иным причинам могли иметь на нее какие-то обиды. Мы пришли с Ищенко к заключению, что убийство на этой почве произойти не могло. Более того, Мурзин по моей просьбе произвел тщательную ревизию тех участков своего хозяйства, в проверке которых была занята Залесская.

Кроме мелких неполадок и упущений, которые происходили из-за вечной спешки или неграмотности работников, ничего обнаружено не было. В общем, я не мог ни к чему прицепиться. Сама Рыбкина, хоть баба и бойкая на язык, по всем сведениям, никакого отношения к трагическому событию не имела, а муж ее действительно был тихий, честный и скромный человек. И алиби супругов было очень надежным.

Итак, оставались две версии: незавершенное двойное самоубийство и убийство умышленное.

Кто мог быть близок с Аней? Прежде всего подозрение падало на Ильина. Много дорожек вело к этому выводу. Его любовь к Залесской, поведение во время учебы в институте, затем — когда он приехал защищать кандидатскую диссертацию в Вышегодск. И очень меня смущала встреча с Залесской в кафе Североозерска.

Может быть, разочаровавшись в муже, Аня решила все-таки посвятить свою жизнь Ильину? Но слишком крепки были узы, связывающие с Валерием: Сережка, любовь Залесского, боязнь обидеть, возможно, морально убить его своим уходом... И единственный выход видится Ане и Николаю в том, чтобы обоим — ей и Ильину — уйти из жизни. Убив Аню, Николай не нашел в себе сил покончить с собой. А открыть правду боится, потому что следователю поверить в нее трудно. Одно дело — убить по согласию, другое — убить коварно, в корыстных целях.

Если эта фантастическая версия верна — а правда порой бывает такой невероятной, что трудно себе и представить, — и Ильин до сих пор не открыл свою тайну никому, то добиться признания от него будет трудно. Во всяком случае, без серьезных доказательств это пока не представляется возможным. Уж больно скрытен и упорен Ильин в своих устремлениях.

Никаких серьезных улик я против него не имел. Начинать же разговор в лоб, зная его натуру, означало впустую тратить время.

Не знаю, подвержен ли Ильин депрессиям, но Аня Залесская, судя по показаниям ее мужа, уже однажды в своей жизни помышляла о самоубийстве. Когда потеряла отца.

Может быть, в ее последних письмах, которые она писала крестной или подругам (если у нее имелись таковые), найдется какая-нибудь мысль, деталь, фраза, характеризующая смятенное состояние? Я попросил Серафиму Карповну поработать в этом направлении.

И хотелось бы мне получше разузнать, как близко общался с умершей Коломойцев. Слухи, ходившие в селе, что он рисовал Аню обнаженной, передала мне и старший лейтенант Ищенко. Известны же случаи, когда секретарши влюбляются в своих начальников (и наоборот), а натурщица становится супругой художника...

Но прежде чем я снова вызвал его на допрос, узнал интересную новость. Откопала ее Серафима Карповна. Оказывается, Коломойцев вовсе не самоучка. Он обучался в художественном училище, однако не закончил его. Был отчислен за систематические прогулы (так руководство училища назвало его пьянки) и в итоге — за неуспеваемость.

В совхозе он получил прозвище Бородавка. Я размышлял над этим. Почему? Казалось, оно могло возникнуть, будь у него на лице, шее, руке бородавка или родинка. Но ничего такого у Коломойцева не было. Значит, прозвали его так по другой причине. Скорее всего, не любили.

Мне говорили, что трудится он обычно не в охотку, норовит избежать всяких переработок, хотя за них платят хорошо. А как перевели в слесари, когда он лишился водительских прав, тут уж и вовсе обленился. Получает совершеннейшие гроши (с выработки), а все равно откуда-то берутся деньги на постоянные выпивки. Тоже подозрительно.

Одним словом, когда он опять появился на допросе с неизменной трубкой, холеными бачками, в начищенных сапогах, то ореол некоторой романтической загадочности, привлекшей мое внимание в первый раз, совсем развеялся.

— Станислав, вы писали портрет Залесской? — спросил я у него напрямик.

— Писал, — ответил он, солидно попыхивая погасшей трубкой.

— На память или с натуры?

— С натуры. Но я его не закончил.

— Почему?

— Не то, что хотелось. Он был задуман как портрет русской мадонны. И виделся мне при зимнем освещении. Представляете, молодая женщина с истинно славянским лицом, с младенцем на руках на фоне окна. Большого, без занавесок. А сзади — уходящая далеко снежная степь, с синими полутенями,

вдали одинокое дерево... Ну разве летом напишешь такое? Хотел писать заново зимой... — Он вздохнул. — Не судьба, значит...

— У вас не сохранился портрет?

— Незаконченный?

— Да.

— Сохранился.

— Вы не можете показать?

Коломойцев склонил набок голову и на мгновение задумался:

— Вообще-то у нас, художников, не принято раскрывать кухню.... Но если вы настаиваете...

— Хотелось бы взглянуть.

— Что ж, если вы располагаете временем, я схожу принесу, — милостиво улыбнулся он.

Сбегал домой он довольно быстро. И когда принес и положил на стол завернутый в газету подрамник, мне показалось, что от Станислава слегка попахивает спиртным. Неужели успел где-нибудь приложиться? Наверное, показалось... На вопросы отвечал Коломойцев твердо.

— Вы поверните к окну, лучше будет видно, — подсказал он, когда я стал рассматривать незаконченную картину.

Коломойцев успел довольно детально выписать лицо. Обнаженная длинная шея, плечи и грудь были только набросаны карандашом.

— Это вы домыслили? — спросил я, показывая на контуры торса.

— Зачем, — сказал он серьезно. — С натуры...

— Выходит, Залесская позировала обнаженной?

— До пояса, — кивнул он.

— Как же она согласилась?

Коломойцев пососал мундштук трубки:

— Сначала стеснялась, не хотела. Тут как раз фильм показывали «А зори здесь тихие...». Видели?

— Нет.

— Там есть сцена, когда девушки в бане купаются. Валерий ее убедил. Ведь мы, художники, видим прежде всего красоту. И только ее. А не грубую натуру...

— Выходит, Залесский знал о том, что Аня вам позирует?

— Разумеется. Замысел картины мы обсуждали с ним вместе. Вспомните, мадонны всех итальянцев, Боттичелли, Рафаэля, да Винчи, — это, сразу видно, южные женщины. Пейзаж, интерьер. Русская мадонна непременно просилась быть именно северной. Когда я писал, так и чувствовал — не то. Вот и отложил до зимы. Тем более Аня бы сейчас, с ребенком на руках, смотрелась очень эффектно.

— Когда вы приостановили работу над портретом?

— Давно. В начале июня. Может быть, в конце мая...

— Можно мне пока оставить его у себя? — спросил я, заворачивая подрамник в газету.

— Вообще-то я хотел его закончить... — Он замолчал.

И, встретив мой вопросительный взгляд, пояснил: — Валерий просил.

— Когда?

— В последний приезд, — просто ответил он.

Так мы незаметно подошли к вопросу, который я хотел задать, он обдумывал, как это лучше сделать.

— Для чего он приезжал? — спросил я словно бы невзначай.

— Не кошку похоронил, — сурово ответил Коломойцев. — Памятник надо поставить. Так разве здесь приличное могут сделать? Халтура! Работаю над эскизами... Хотелось бы что-нибудь лирическое. И чтобы проглядывало противоречие, что и есть на самом деле трагедия. — Он помолчал. — В искусстве и жизни.

— Больше у Залесского никаких дел не было? — задал я ему вопрос, как и Матюшиной.

— Обсуждали, где бы могли хорошо выполнить памятник, когда будет готов эскиз... Наверно, придется мне освоить эту технику...

— По-моему, — вставил я, — надо иметь специальное образование. Во всяком случае, навык.

— Я занимался. Вспомнить только. Сделать две-три небольшие вещички. Я обязан увековечить память Ани...

Незаконченный портрет Залесской он согласился оставить мне на время. Я составил протокол допроса. На сей раз записывать показания Коломойцева было легче. Я уже свободней разбирался в его ужасной шепелявой дикции. Когда Коломойцев читал протокол, я еще раз внимательно пригляделся к нему. Но не мог обнаружить ни на лице, ни на руках ни одной бородавки. Даже родинки. Почему же прилепили парню такую неприятную кличку?

После яшинского заключения в ходе дальнейшего расследования необходимо было приготовиться к сюрпризам.

И вот следующий пришел из Института судебных экспертиз, где я побывал перед последним отъездом из Москвы.

Заключение, в частности, гласило:

«От следователя по особо важным делам при Прокуратуре РСФСР советника юстиции Чикурова И. А. на исследование поступила обложка школьной тетради с одним двойным листом в линейку производства Каменногорской бумажной фабрики Ленинградской области ГОСТ 12063—66, артикул 1080. На разрешение экспертизы поставлен вопрос:

1. Имеются ли на страницах обложки и двойного листа тетради отпечатки какого-нибудь текста, оставленные в результате писания на других страницах?

После исследования обложки и двойного листа при помощи четырехобъективного редуктора эксперты пришли к следующему заключению: на первой странице двойного листа в линейку обнаружены вмятины, оставшиеся, очевидно, от текста, выполненного на другой бумаге, которая соприкасалась со страницей. По характеру следов можно предположить, что писали каран-

дашом или шариковой ручкой, так как нажим был почти равномерен, чего не наблюдается при написании перьевой ручкой.

Экспертам удалось восстановить текст:

«Мой любимый! Я любила тебя так, как никого и никогда не любила. Полюбила со дня нашей первой встречи. Но ты раскрылся не сразу. Тогда я не понимала, что тебе для этого нужно время, и сомневалась в тебе, потому что ты говорил, правда шутя, что не женишься на мне. Наверное...»

На других страницах двойного листа в линейку и на страницах обложки следов и вмятин, которые бы указывали на то, что поверхность бумаги соприкасалась с другими, на которых выполнялось письмо, не обнаружено...»

Любому человеку стало бы ясно, что это — набросок письма Залесской, обнаруженного после ее смерти.

«Мой милый! Я любила тебя так, как никого и никогда не любила. Ты же со дня нашей встречи держал свои чувства как бы на тормозе. Тогда я еще не понимала, что тебе трудно раскрыть свою душу и сердце до конца. Ты сомневался во мне, а я сомневалась в тебе. Ты иногда говорил, не знаю, шутя ли, что не женишься на мне. Но все же я верила, что мы будем вместе, потому что любила...»

Прежде всего следовало разобраться, каким образом следы текста оказались именно на первой странице двойного листа?

Скорее всего Залесская открыла тетрадь и стала писать, как писала бы на уроке, — с первой строчки. По каким-то причинам написанное ей не понравилось. Она вырвала лист и уничтожила. С ним, естественно, выпал и последний (вторая половина).

Таким образом, получалось: мне попал в руки второй и предпоследний листы.

Когда она снова принялась за письмо, то стала действовать разумнее: вырвала двойные листы из середины. Вот почему окончательный вариант дошел до нас не на вложенных один в другой, а на сложенных друг к другу листах.

Более того, писала она его, отложив тетрадь в сторону. Этим и объясняется тот факт, что на других страницах двойного листа и на обложке отпечатков не было.

Приходилось лишь сожалеть, что Залесская не подкладывала под листы тетрадь. В таком случае можно было бы выяснить, был ли еще набросок.

Почему еще? В целой тетради двойных листов шесть. Как мы знаем, три ушло на последний вариант. Один испорчен, другой остался в обложке. Итого пять. Судьба шестого неизвестна. Не исключено, что его использовали раньше и к событию он никакого отношения не имеет...

Я изрядно повозился, прежде чем восстановил картину действия Залесской. Растерзал и исписал несколько тетрадей, пока не нашел самое разумное и простое объяснение.

Итак, Аня писала письмо, тщательно все обдумывая и анализируя. Ни в коем случае не наспех. У нее было время.

еще. В наброске текста, восстановленного экспертами, не было помарок.

Возможно, что между первым и последним вариантами прошло время. Может быть, часы, а может быть, и дни. Она колебалась: писать или нет? Или обдумывала, как лучше составить письмо. Это тоже важно.

Если говорить о стиле изложения, второй текст более энергичен, закончен. Написанный тоже без исправлений, он говорит о решительности автора, о его эмоциональном настрое.

Итак, предсмертное письмо является плодом каких-то размышлений и колебаний. А не актом отчаяния в состоянии аффекта... Выходит, событие, происшедшее в ночь с восьмого на девятое июля, подготавливалось заранее.

Но кем? Что был второй человек? Соучастник? Или убийца? Кто он? К этим вопросам и сводились все мои поиски.

Буквально сразу после получения заключения экспертизы открылся еще один свидетель с любопытными сведениями. Так как он был несовершеннолетний, учился в третьем классе, то допрос велся в присутствии его классного руководителя.

Вот протокол показаний.

«Перед началом допроса присутствующему педагогу, классному руководителю Шульц Г. И., разъяснили ее права и обязанности, предусмотренные ст. 159 УПК РСФСР.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УПК РСФСР Кыжентаеву Б. Е. разъяснена необходимость правдиво рассказать все известное ему по делу.

Свидетель показал: «В субботу вечером восьмого июля я возвращался к себе домой от приятеля Валерки Пимкина, у которого смотрел по телевизору многосерийный фильм «Адъютант его превосходительства», так как наш телевизор не работал.

Проходя мимо забора Залесских, я заметил, что в крайнем левом окне горит свет. Через окно был виден мужчина. Он сидел за столом в куртке и шляпе. Разглядеть лицо я не успел, так как лил дождь и я шел быстро».

Вопрос классного руководителя Шульц Г. И.:

— Болот, а как ты отличаешь шляпу от других головных уборов?

Ответ свидетеля Кыжентаева Болота:

— У шляпы высокая середина и широкие края. Мой папа такую носит летом. Вся в дырочках. А фуражка с козырьком. Я отличаю их хорошо.

Вопрос классного руководителя Шульц Г. И.:

— Болот, а чем отличается куртка от другой одежды?

Ответ свидетеля Кыжентаева Болота:

— На куртке бывает «молния», маленький воротник. У меня есть куртка из болоньи. Бабушка привезла из Кокчетава. А на пальто пуговицы.

Вопрос классного руководителя Шульц Г. И.:

— Болот, ты хорошо видел лицо сидевшего?

Ответ свидетеля Кыжентаева Болота:

— Нет, лицо я совсем не видел. Он нагнул голову, и я под шляпой не мог разглядеть, кто это.

Вопрос классного руководителя Шульц Г. И.:

— Скажи, Болот, а ты видел, чтобы кто-нибудь приходил к тете Ане в куртке и такой шляпе?

Данный вопрос классного руководителя Шульц Г. И. отведен следователем на основании ч. 3 ст. 159 УПК РСФСР.

Протокол записан с моих слов и прочитан следователем вслух.

Право делать замечания, подлежащие внесению в протокол, мне разъяснено. Кыжентаев».

Удалось установить, что в тот вечер по системе «Орбита» Москва показывала фильм «Адъютант его превосходительства». Шла первая серия. И закончилась она без четверти одиннадцать. На следующий день, девятого, отец Болота пригласил к себе Ципова (киномеханик разбирался не только в кино-, но и в радиоаппаратуре), и тот сменил испорченную лампу в телевизоре, так что мальчик остальные серии смотрел дома. Значит, видеть сидящего человека в доме Залесских (крайнее левое окно — кухня-прихожая) он мог только именно восьмого, в день убийства.

Насчет шляпы — тоже как будто можно было верить.

При первом осмотре места происшествия я обнаружил у Залесских старую летнюю шляпу из итальянской (так, кажется, ее называют) соломки, принадлежавшую Валерию.

Но в одиннадцать часов он находился у Коломойцева.

Во-вторых, такие шляпы носили многие работники совхоза.

Когда я слушал показания Болота, у меня перед глазами стоял Ильин. В неизменной кожаной куртке. Замки-«молнии» были у нее на всех карманах и посередине. Свидетель почему-то «молнии» запомнил. С другой стороны, «молния» у него вообще ассоциировалась с этой одеждой. Трудно ее разглядеть при свете лампочки на расстоянии семи-восьми метров. А впрочем, ребята бывают иной раз очень наблюдательны...

Короче, факт крайне важный. Первое упоминание о человеке, который находился в доме Залесских в то время, когда могло произойти убийство.

Из троих мужчин, которые пока, по моим сведениям, имели близкое знакомство с убитой, о двоих я знал, где они находились в ночь убийства. Это Залесский и Коломойцев. Что делал третий, мне неизвестно.

И поэтому я позвонил Ильину по телефону и попросил, если он свободен, зайти побеседовать. Он сказал, что освободится через час-полтора.

Я его нетерпеливо ждал. Он пришел через два часа. Сухо, скорее для формальности, извинился.

Опять в своей куртке на «молниях».

— Когда вы узнали, что произошло с Залесской? — был мой первый вопрос.

— В тот же день, — он ответил быстро, без размышлений.

— Часы не помните?

— Около двух приблизительно.
— Почему вы запомнили время?
— Заехал обедать в столовую.
— От кого вы узнали?
— Не помню. Там только об этом и говорили.
— Вы пообедали, а дальше?
Он помедлил с ответом.
— Я не обедал...
— Вы сказали, что заехали около двух пообедать.
— Я не обедал, — повторил главный агроном тише.
— Почему?
— Кажется, ясно почему...
— Мне неясно. Причин могло быть много. Закрыта столовая, кончилась еда или те блюда, которые вы любите... — Я говорил подчеркнуто размеренным тоном.
— Я не мог есть...
— Куда вы отправились из столовой?
Он мучился. Я это ощущал.
— Я хотел пойти туда... к ним. Но не пошел. Я вообще не помню, что делал.
— Вы были в трезвом состоянии?
— Совершенно.
— Значит, не помните, как провели несколько часов?
— Не знаю. Я не помню этот день...
— Сколько же времени продолжалось ваше такое состояние?
— Не знаю.
— Вы же были на работе, разговаривали, наверное, с людьми...
— Наверное, разговаривал...
— Хорошо, Николай Гордеевич. А до того, как вы узнали в столовой о случившемся, что делали?
— Был на втором участке. У нас полным ходом шла косовица озимых...
— Итак, до прихода в столовую вы помните, что делали?
— Я уже сказал.
— А как провели ночь, помните?
— Точно сказать не могу.
— Где вы были до этого?
— Не помню... Наверное, в поле.
— Какая была погода?
— Какой это был день?
— Восьмое июля. Суббота.
— Постойте. — Он потер лоб. — В воскресенье утром я был на втором участке... Там сильно полегли хлеба... Да, дождь. Ночью шел дождь. Гроза.
— Значит, вечером восьмого во время грозы вы были в поле?
— Не помню.
— Во что вы были одеты?
Он провел руками по куртке:
— В ней.

— А на голове?
— Шлем. Я ведь на мотоцикле.
— Вы и летом, в поле, в нем ездите?
— Я выполняю правила дорожного движения безукоризненно.
— Хорошо, а если вы на машине?
Он подумал:
— Летом это редко бывает. Тогда вообще без ничего.
— А когда очень печет?
— В соломенной шляпе, — сказал он.
— Ладно, прошу все-таки вспомнить, где и как вы провели вечер восьмого июля, — настойчиво повторил я.
Ильин нахмурился:
— Я действительно не помню.
— По вашим словам, вас совершенно выбило из колеи известие о гибели Залесской. Не так ли?
— Да. — Он опустил голову.
— Вы, наверное, в связи с этим вспомнили предыдущий день?
— Я не помню, что делал, — повторил главный агроном. — И какое это имеет значение?
— Мне бы все-таки хотелось знать...
Ильин пристально посмотрел на меня:
— Что вы этим хотите сказать? — Последние слова он почти выкрикнул.
— Успокойтесь, Николай Гордеевич... Мне нужны факты. Убедительные и неопровержимые факты, как вы провели тот вечер. И чтобы вы их подтвердили...
— Я? — усмехнулся Ильин.
— Вы.
— По-моему, что-то подтверждать или утверждать должны вы.
Я проглотил пилюлю. Потому что он был прав: доказывать — мое дело.
— Где вы проживаете? — задал я вопрос.
— Вам это должно быть известно.
— Прошу отвечать на вопрос.
— Я живу в отдельном доме, который предоставил совхоз.
— У вас бывают друзья, знакомые?
— Редко. По существу, я прихожу домой только ночевать. — Он отвечал отрывисто и хмуро.
— И сейчас, зимой?
— Зимой тоже работы хватает.
— А в каких вы взаимоотношениях с соседями?
— Для плохих нет оснований, — буркнул Ильин.
— Вы общаетесь с ними, заходите к ним?
— Общаюсь, как и все люди, но захожу редко.
— Что вы делаете после работы?
— Обычно сплю, — усмехнулся он.
— В семь-восемь вечера?
— В десять-одиннадцать, — зло сказал Ильин. — А в период

сева или жатвы — в два-три ночи. А бывает и так, что вообще не сплю.

— Таких дней, наверное, не очень много... Неужели не остается времени для отдыха, для развлечений?

— Для меня лучший отдых — книга.

— Беллетристика?

— И беллетристика. Что, не верите?

— Из чего вы заключили?

— Потому что я вам одно, а вы... — Он махнул рукой.

— Я выясняю, где вы находились вечером в день смерти Залесской, — сухо произнес я. — Вы же находились в Крылатом, встречались с какими-то людьми, что-то делали. Верно?

— Верно.

— Назовите их, они подтвердят, чем вы занимались вечером восьмого июля.

— Лично я не помню, — сказал он упрямо. — И еще раз повторяю: почему я должен что-то доказывать?

— Хорошо. Я вам даю на это время. Мы встретимся еще. — Он было поднялся. — Подождите. Сейчас закончу оформлять протокол, распишетесь.

Ильин уселся снова. Я писал, стараясь изложить беседу как можно подробнее. Ильин прочел протокол. Молча поставил на каждой странице свою подпись. Принимая от него документ, я спросил:

— Николай Гордеевич, помните, как вы осенью взялись подвезти в район одну женщину?

— Помню, — сказал он. — И что?

— Вы знали, что это моя жена?

Он посмотрел мне прямо в глаза и спокойно ответил:

— Я узнал, что эта женщина приезжала к вам, только тогда, когда она села в машину.

Я молча кивнул. Не знаю, как он понял мое молчание. Потом он добавил:

— Элементарное внимание к человеку, оказавшемуся в чужом городе. Наверное, москвичам это кажется диким... Я могу идти?

— До свидания.

Холодно кивнув, Ильин вышел. Я еще раз внимательно прочел протокол допроса.

Доводы главного агронома меня мало убедили. А с другой стороны, может быть, он в самом деле запамятовал? Мне припомнилась съемка для телевидения в кабинете Эдуарда Алексеевича. Замначальника следственного управления прокуратуры республики не замечал, что каждые полчаса в метре от него бьют часы. Изо дня в день... Работа Ильина однообразна. Поля, заседания, комбайны, сеялки. Дни мало чем отличаются друг от друга.

Если он не виноват, восьмое июля могло потонуть в потоке будней.

Если не виноват...

Но почему он упорно не хочет пойти мне навстречу? Без причины ничего не бывает...

Ищенко приехала в совхозную гостиницу ночью, с последним автобусом из района.

Она нетерпеливо стряхнула с коридорчике снег с шубы и вошла.

— Вижу, у вас что-то важное? — пригласил я сесть Серафиму Карповну. — Может, чаю с дороги?

— Спасибо. Попью дома.

— Ну тогда выкладывайте.

— Не знаю, может, это и пустой номер... Вот. — Она протянула мне бумажку.

«Савчук, Федор Тихонович, 1948 года рождения. Разыскивается по подозрению в убийстве. Скрывается под фамилией Данилов, Федор Евграфович. Приметы: рост средний, брюнет, волосы волнистые, глаза карие, худощав. Особые приметы: на мочке правого уха родимое пятно величиной с горошину, на безымянном пальце левой руки наколка в виде кольца...»

— Какое отношение имеет к нам Савчук? — спросил я, закончив читать.

— Может быть, и не имеет, — сказала Серафима Карповна. — Только он работал в совхозе летом. Сезонно.

— Под какой фамилией?

— Данилов. Позвонила из РОВДа в бухгалтерию совхоза. Они, конечно, покряхтели — кому охота возиться в таком ворохе бумаг, — но справочку дали. Действительно, работал такой.

— Позвонили бы мне, я сам бы поговорил с бухгалтером...

— А если ошиблась? Вас от дел отрывать...

— Дело-то общее, Серафима Карповна. Такие деликатности ни к чему... Какое убийство?

— Официантку ресторана в Алма-Ате в городском парке нашли.

— Чем совершено убийство?

— Ножом. Множественные ранения в области шеи.

— Понятно. Когда?

— В апреле этого года.

— Значит, дело расследуется прокуратурой Казахской ССР. Я спросил Серафиму Карповну, так ли это. Она подтвердила.

Появление на сцене нового человека с таким «хвостом» заставило меня крепко задуматься. Недаром многие сельчане, даже Емельян Захарович, в один голос заявляли: убийство мог совершить только чужой человек.

— Хорошо бы узнать подробности... — размышлял я вслух.

— Ранение в области шеи... — произнесла Ищенко.

— Конечно, определенная аналогия имеется. Правда, там — нож, здесь — бритва....

— Опять же, молодая женщина..

— Все это так, Серафима Карповна... Кем он работал здесь?

— Разнорабочим на строительстве коровника.

— В какой период?

— С третьего июня по шестое июля.

— А Залесскую убили восьмого. При чем здесь он?

Серафима Карповна пожала плечами:

— Это шестого он получил расчет. А сколько времени пробыл еще в Крылатом, неизвестно.

— Резонно, в общем-то. Ну что ж, займемся еще и Савчуком-Даниловым...

Наутро я зашел к Мурзину.

— Кто у вас ведает делами строительства? — спросил я у директора совхоза.

— Зама по строительству не имею. По положению. Вот и приходится следить самому. Вообще-то наблюдать поручено главному инженеру, но это такая штука, нужен глаз да глаз.

— Кто обычно вам строит? Ну, подрядчики...

Емельян Захарович засмеялся:

— Кому не лень, тот и строит. В генеральный план мы до конца пятилетки не вошли, так что строим хозспособом. В управлении говорят: деньги дадим, а лимита на стройматериалы и рабочих нет. Вот и выкручивайся, Мурзин. Верно я говорю?

— Вы коровник закончили в этом году?

— Дай-то бог осилить в будущем.

— Рабочих откуда брали?

— Студенты в основном.

— Строительный отряд, по путевке комсомола?

— Если бы! Сами договорились.

— И хорошо строят?

— Я уж на качество смотрю сквозь пальцы. Лишь бы стены были, крыша, пол. Какая у них может быть квалификация? Никакой. Да и мы больших претензий предъявлять не можем, потому что с материалами туго. Залили, к примеру, фундамент, а когда кирпич завезем, одному богу известно. Кирпич завезли — оконных и дверных коробок нет. Вот и работают студентики через пень-колоду.

— Как же вы им заработок гарантируете?

— В совхозе работа всегда найдется. Я имею в виду, по строительству. Заложили силосную башню, ток расширяем, дождевальную установку на плантации задумал. Обстраиваемся, короче.

— Распыляете средства, так, кажется, это называется.

Емельян Захарович развел руками:

— Ведь все надо. Верно я говорю? И коровник, и силосная башня... — Он вздохнул. — И клуб не мешало бы новый. Конечно, можно тихонько сидеть и ждать, когда там решат, — он ткнул пальцем вверх. — А там думают: раз молчат, не просят, значит, все есть. Более того, раз все есть, давай-ка план увеличим.

— А когда просишь?

— Тоже увеличивают, — улыбнулся директор совхоза. —

А с другой стороны, продукции действительно больше нужно. Население растет, растут запросы. Верно я говорю?

— Но ведь вам помогают?

— Конечно, помогают! А как же без этого? Но не всего хватает... Особенно стройматериалов. Строимся интенсивно. А ведь, с другой стороны, хорошо, что строимся, верно я говорю?

— Хорошо, — засмеялся я. — Ну, давайте снова вернемся к коровнику.

— Он у меня вот здесь, — Мурзин хлопнул себя по шее. — Будет висеть еще и висеть. А дело очень нужное. Хотим механизацию разворачивать. Знаете, какая это трудоемкая штука — доение, например? Кажется, чего там, водит доярка руками — вжик-вжик, и готово. А на это часы уходят. Теперь аппараты доильные ставим. Но ведь какая история: аппараты, оказывается, хоть и быстрее доярки, но коровы хуже отдают молоко. Приходится додаивать руками.

— Так что же лучше?

— Теленок. Вот самый хороший аппарат. Я недавно прочел в одной книжке: оказывается, когда корову сосет теленок, у нее появляются какие-то биотоки. Попробовали во время доения аппаратом создавать у нее эти биотоки искусственно. Хорошо доится, чертяка. Вот хочу написать ученым, чтобы нам прислали такую аппаратуру. А как в старый коровник ставить новую технику, а? Верно я говорю?

— Конечно. Строить действительно надо. Но вы хоть людей, которые приезжают на временную работу в совхоз, знаете?

— В каком это смысле?

— Паспорта проверяете, интересуетесь личностью?

— Конечно, для этого есть отдел кадров.

— И у строителей?

— Обычно имеем дело с бригадиром.

— Но можете кого-нибудь и не знать, не так ли?

Емельян Захарович почесал затылок. Вопрос я поднял щекотливый.

— Конечно, каждого не проверишь.

— А если у вас работает преступник?

— Хоть черт, хоть дьявол, лишь бы рабочие руки, — засмеялся Емельян Захарович. — Я его буду держать на работе до тех пор, пока милиция не посадит в каталажку.

— Тогда вы окажетесь в укрывателях.

— Понятно, понятно, — кивнул он. — Я шучу, конечно. По правде говоря, — серьезно сказал он, — село не город. В городе больше строгости. Порядок, короче, суровый. На завод или фабрику поступаешь, будь добр, все документы по самой правильной форме. Я согласен с вами, на деревне у нас проще по этой линии пройти. А с другой стороны, людей мало, их запомнить легче и уследить за нарушением. Верно я говорю?

— Да, в деревне человек на виду. Вы ребят из строительной бригады всех знали?

— Как будто всех, — неуверенно сказал директор.

— А Данилова помните?

— Данилов, Данилов... Это кто же? Студент?

— Нет, не студент.

— Не помню.

— А главный инженер?

— Поговорите с ним. Он должен вспомнить. Строителей-то было всего человек двадцать, не больше...

Главный инженер припоминал временного работника, строившего с бригадой студентов коровник, долго и мучительно.

— Какой он из себя хоть? — спросил он.

— Среднего роста, темные волосы, вьются. На безымянном пальце левой руки наколка — кольцо, — перечислял я приметы Данилова.

Главный инженер вытирал лоб платочком. У него было жарко. Да я еще насел...

— Данилов, Данилов. Федор, говорите?

— Федор.

— Студент, говорите?

— Данилов не студент.

— Тьфу, забыл. — Наконец он не выдержал, поднял телефонную трубку: — Тонь, зайди ко мне. — А мне пояснил: — Комендант.

В кабинет вошла молодая женщина. В меховой безрукавке и в валенках.

— Тоня, вот товарищ следователь интересуется... Студентов в школе ты размещала?

— Я, — испуганно посмотрела она на меня. — Но они не жаловались. Выдали раскладушки, одеяла... С простынями было хуже...

— Не то, — поморщился главный инженер. — Ты такого Данилова не помнишь? Ну, Федьку, черный, курчавый... На руке кольцо...

— Наколка в виде кольца, — уточнил я.

— Помню, — обрадованно закивала женщина. — Как же не помнить! Только он попрежь студентов рассчитался и уехал.

— Вот видите! — повернулся ко мне главный инженер. — Мы всех работников знаем. Временный или постоянный, а учету подлежит... Тонь, ты скажи прямо, что это за птица Федька Данилов? — снова обратился он к своей подчиненной. — Только честно...

— Простите, — сказал я ему, — не буду вас отвлекать от дел. А мы побеседуем у меня.

— Пожалуйста, пожалуйста, — с готовностью согласился он.

Комендант Тоня имела хорошую память.

— Вообще-то он парень не шибко примечательный. Тихий из себя. Что ему ни сделаешь, все хорошо. На гитаре играл. Наш артист, то есть завклубом, из студентов какой-то ансамбль составил. Да вы спросите Ципова. Они по вечерам в клубе собирались.

— И Данилов?

— Он тоже в этой компании. Пели — прямо за душу брало.

— Когда он уехал?

— Рассчитался и уехал.

— Сразу?

— Нет, — произнесла комендант уверенно, — дня два-три еще болтался в совхозе.

— Итак, — уточнил я, — расчет Данилов получил шестого июля, и вы говорите, что после этого он находился еще несколько дней в Крылатом.

— Находился.

— Попробуйте вспомнить точнее. Вы выдавали ему постельные принадлежности?

— Обеспечили, а как же. Матрац, подушка, байковое одеяло...

— Когда он их сдал?

— Этого сказать не могу. Как раз история с воспитательницей случилась. К строителям я не заглядывала несколько дней. Потом еще Емельян Захарыч взбучку дал за питание на полевых станах... В общем, все грехи на Тоню... О Данилове и забыла. Поинтересовалась, правда, через недельку. Уехал, говорят. Ну, уехал так уехал. Постелька его свернутая лежит.

После разговора с комендантом я дал задание Ищенко подробней разузнать о тихом, малозаметном парне, работавшем со студенческой бригадой. В Томск полетело отдельное требование с просьбой допросить ребят, которые строили летом в совхозе коровник. В тот же день я пригласил к себе через участкового инспектора Линева киномеханика Ципова. Он также охарактеризовал Данилова-Савчука как ничем не примечательного человека. Еще я выяснил, что по просьбе Залесского несколько ребят, в том числе и Данилов, ездили в район на смотр сельской художественной самодеятельности. В маленькой комнатке заведующего клубом висела грамота районного комитета комсомола и отдела культуры райисполкома, которой был награжден вокально-инструментальный ансамбль «Ритм» совхоза «Маяк».

Награда, полученная на районном смотре, была «обмыта» в доме Залесских всеми участниками выступления.

Я решил съездить в район. Во-первых, форсировать через прокуратуру проверку данных о Данилове-Савчуке, а заодно познакомиться с Юрием Юрьевичем, инспектором отдела культуры райисполкома. Он был на вечеринке, устроенной у Коломойцева после «вернисажа», и у Залесского после возвращения ансамбля «Ритм» с грамотой райкома комсомола.

Зашел к Мурзину попросить машину. Он что-то подсчитывал, щелкал костяшками счетов, листал документы, подшитые в нескольких папках-скоросшивателях.

— Трудимся? — спросил я.

— Работаем. — Емельян Захарович минут пятнадцать отчитывал кого-то по телефону, казалось забыв о моем присут-

ствии. Положив трубку, он сказал: — У вас в городе как: что-нибудь возникает — начинают обдумывать, согласовывать, прикидывать. Одним словом, решать. Верно я говорю? А у нас решать некогда. Нам надо действовать. Земля ждать не может. Задержался хоть на один день с уборкой — хана дело. Ей, пшеничке, наплевать, есть у Мурзина запчасти для техники или нет. Или, возьмем, подходит зима. Вот-вот снег ляжет. А коровник не покрыли. Это я к примеру. Мурзин опять же должен не решать, а крыть коровник. Скотине не объяснишь, что фондов нет и другое прочее. Верно я говорю? Так и крутимся.

— Машину бы мне, до района, — сказал я. После таких слов было не очень удобно его просить.

— Пожалуйста, Игорь Андреевич, берите. — Он вдруг сам замялся: — Хочу одну штуку вас попросить, раз уж вы в районе будете.

— Ради бога, — сказал я.

— Пустяк. Отдать одну бумагу. И все дело.

— О чем разговор.

— Ну вот и хорошо. Спасибо вам заранее. — Он протянул мне сложенный пополам листок. — В отдел сельского строительства. Заявка на шифер. Весной надо коровник крыть, а нечем. Готовь сани летом... Верно я говорю?

— Мне нетрудно. С удовольствием выполню ваше поручение.

В Североозерске я первым делом связался со следователем по особо важным делам при Прокуратуре Казахской ССР и попросил его по возможности выслать мне копии некоторых документов по делу Данилова-Савчука.

Потом я направился в райисполком, потому что он был в соседнем здании. Весь отдел культуры располагался в одной большой комнате. И почти все его сотрудники, я не знаю, сколько их числилось по штату, отсутствовали. Через канцелярию мне удалось найти инспектора Юрия Юрьевича. Инспектор действительно выглядел очень молодо. Но я специально называл его по имени-отчеству, а не по фамилии, что он принимал как должное.

Остренький носик, волосы на пробор, маленький круглый подбородок, торчащие уши, очки. Ни дать ни взять — старшеклассник-зубрила.

Я начал разговор о Залесском.

— Хороший организатор, с перспективой, — отозвался о нем Юрий Юрьевич. — Вот два примера. Проработал завклубом меньше полгода, а провел два таких интересных мероприятия, как выставка самодеятельного художника и организация вокально-инструментального ансамбля... Заметьте, с выходом в районную прессу. О выставке Коломойцева писала наша газета. А ансамбль «Ритм» получил от райкома комсомола диплом. Это кое-что говорит о Залесском как о человеке, который умеет поднять таланты на селе.

Я представил себе инспектора на трибуне. И невольно улыбнулся.

— Конечно, для Москвы это не звучит, — смутился он, — но для нас — достижение. Честное слово, вы бы посмотрели, как работает большинство сельских клубов!.. — Юрий Юрьевич замолчал.

— Нет, нет, я не могу вам ничего возразить.

«Самобытность» Коломойцева мне была известна. Как и совхозный ансамбль «Ритм». Но я не стал опровергать инспектора культуры. Не для этого я встретился с ним.

— Юрий Юрьевич, вы, кажется, были у Коломойцева после выставки и еще в доме Залесских на небольшой вечеринке по случаю присуждения грамоты совхозному ансамблю на районном смотре?

— У Коломойцева был действительно. Не больше часа. Торопился на автобус. Ну а насчет вечеринки у Залесских... Знаете, силком затащили в машину после выступления ансамбля. — Он виновато развел руками. — Пришлось поехать. А что?

— Нет, я ничего плохого в этом не вижу.

— Студенты, боевые ребята... — выпалил он, улыбаясь.

— Вот хочу о чем спросить: помните ли вы среди ребят из ансамбля Федора Данилова?

Инспектор долго двигал очки средним пальцем вверх-вниз. Наконец извиняющимся тоном сказал:

— Не помню.

Я показал ему фотографию, распространенную милицией. Он внимательно рассмотрел ее. Вернул мне.

— Да. Один из участников ансамбля.

— Он тоже был на вечеринке у Залесских?

— Они все там были.

— Вы не заметили, как он вел себя в тот вечер?

— Если бы вы не показали фотографию, я бы его и не вспомнил. Не выделялся. Ребята играли, пели. Все вместе. Потом разошлись. Им ведь с утра на работу.

— А по отношению к жене Залесского, Ане?

— Ничего не могу сказать.

Мы еще некоторое время побеседовали с ним. Ничего интересного для следствия инспектор отдела культуры мне больше не сообщил.

Я отправился выполнять просьбу директора совхоза.

Меня направили с бумажкой Мурзина к самому начальнику. И когда девушка-секретарша недовольным тоном спросила, кто я такой, посматривая на часы и явно давая понять, что вряд ли меня примут под самый конец рабочего дня, я машинально сказал:

— Следователь по особо важным делам при Прокуратуре РСФСР.

Надо было видеть, с какой резвостью упорхнула она за обитую дерматином дверь.

Через мгновение оттуда появился сам хозяин кабинета и, пропустив вперед, любезнейшим образом устроил меня в кресле у стола.

— Слушаю вас, товарищ следователь. — Начальник отдела сельского строительства присел рядом на стул.

— Собственно, — сказал я, — меня попросили доставить к вам бумагу. Так сказать, по пути, оказией. — И протянул ему листок.

Он пересел на свое место во главе стола.

— А какие претензии у товарища Мурзина? — с опаской спросил начальник отдела. — Мы его заявки по мере сил удовлетворяем. Но, сами понимаете, фондов не хватает. По лимиту приходится иной раз отказывать...

— Да никаких претензий, — сказал я. — Просто просили передать. Я, понимаете, в район ехал. Вот и все.

— Значит, шифер. Если просят, надо людям помочь. — Он поставил на заявке свою резолюцию, нажал кнопку звонка.

В кабинет вошла секретарша.

— Колотова срочно ко мне.

Девушка замялась:

— Ушел.

— Тогда Лившица, — нетерпеливо приказал начальник отдела.

— Вы же сами послали его на базу.

— Мог бы уже вернуться. — Он недовольно постучал карандашом по столу. Потом повернулся ко мне: — Сами понимаете, конец рабочего дня. Но передайте товарищу Мурзину, что все будет в порядке. Пусть завтра переводит деньги и может забирать. А я лично прослежу, чтобы не было задержки. Знаете, у нас отдельные товарищи любят поморочить голову...

— Благодарю вас. Извините, что оторвал от дел.

— Какие могут быть разговоры! Вот наше дело, — он потряс в воздухе мурзинской заявкой. — Помогать хозяйствам...

И проводил меня до самого порога.

Меня мучил вопрос: кого видел Болот Кыжентаев на кухне Залесских? Кто он, человек, сидевший за столом в куртке и соломенной шляпе?

Куртка и шляпа... Это очень много и очень мало. Человек сидел один. В каком он был состоянии? Размышлял, переживал, может быть, читал... Удивительно, мальчик запомнил такую деталь, как застежки-«молнии», а лица не заметил. Странно...

Я поинтересовался у коменданта Тони, не имел ли Данилов-Савчук куртки и шляпы. Она помнила, что обычно он носил полосатую шелковую трикотажную тенниску, пиджак и кепку. Но у других ребят-строителей куртки были. А у бригадира — соломенная шляпа. Зная артельную жизнь, можно было предположить, что Данилов позаимствовал на один вечер у кого-нибудь куртку и шляпу. В этом ничего невероятного нет.

Мои подозрения по поводу него усилились после того, как пришел ответ из Томской прокуратуры. Из показаний студентов, которые работали летом в совхозе на строительстве, выходило,

что Данилов влился в бригаду уже на месте, в Крылатом. Причину, почему он приехал на заработки именно в «Маяк», никогда не объяснял. Особенно в компанию никому не набивался, но и не сторонился, когда студенты устраивали общие гулянки. Ночевал в школе, где строителей определили на жительство. За исключением двух или трех раз. Последний раз отсутствовал за десять-двенадцать дней до гибели Залесской. По обыкновению никто из ребят не интересовался, где Данилов проводил ночь. Над ним шутили, говорили, что, вероятно, тут замешана какая-нибудь девица. Он не отпирался, хотя и не подтверждал. В ночь с восьмого на девятое июля, когда произошло убийство, пришел поздно, часов в двенадцать, вымокший и слегка навеселе. Студенты только что сами возвратились из клуба, где по случаю субботнего дня Ципов проигрывал магнитофонные записи модных танцев. Данилов взял гитару и стал играть. Его товарищи по бригаде попросили прекратить: всем поутру рано вставать на работу. Он сказал: «Тоска смертная, даже душу нечем согреть». И улегся спать. На следующий день, когда студенты вернулись с работы, Данилова не было. Больше он не появлялся.

Помимо его поведения в день убийства Залесской, я обратил внимание еще на две детали. У бригадира строительной бригады был штык от австрийской винтовки, который он использовал вместо ножа для резания хлеба, колбасы и вскрытия консервных банок. Данилов несколько раз просил подарить ему этот штык, в крайнем случае продать или обменять на что-нибудь. Но бригадир так и не согласился.

Второе. Участвовать в районном смотре Данилов отказался категорически. И только после того, как Залесский долго упрашивал его и пообещал, помимо вечеринки для всего ансамбля (за выступление в районе), выставить лично ему две бутылки водки, Данилов уступил.

По словам самодеятельных артистов, Данилов хорошо пел песни под гитару.

Из материалов, полученных из Прокуратуры Казахской ССР, мне было известно, что Данилов имел судимость, отбыл срок в колонии, где тоже участвовал в художественной самодеятельности. Мотивы убийства официантки оставались невыясненными. Данилова-Савчука видели с ней раза два. Близким знакомым он ей не был.

Схожая ситуация. Может быть, психически ненормальный, маньяк?

Но пока его не нашли. Да и мы с Серафимой Карповной не имели прямых улик, подтверждающих причастность Данилова-Савчука к гибели Залесской.

Стараниями Североозерского РОВДа было установлено, что его видели возле автовокзала девятого июля. Дальше следы опять терялись. Страна наша так велика и столько в ней дорог, автомобильных, водных, воздушных, что он мог нахо-

диться где угодно. В тундре, в горах, на море, в тайге, в степи. Или, что тоже вероятно, где-нибудь рядом.

Да, личность Данилова-Савчука оставалась у меня на подозрении.

В последнее время я все чаще и чаще вспоминал наш разговор с Иваном Васильевичем. Особенно слова Шейнина. Не знаю, предполагал ли мой бывший начальник, что я попаду, и довольно скоро, в ту самую ситуацию, когда мне потребуются выдержка, изобретательность и воля. Дело Залесской пока что приносило только неожиданности. Я им занимался уже более двух месяцев, а истина все еще находилась под семью замками... Конечно, до отчаяния не дошло и руки у меня не опускались. Но слишком много загадок. Собранные сведения пока не выстраивались в цельную картину. Дело виделось пока что грудой наваленных в кучу событий и фактов. Оставалось одно: искать, думать, проверять одну догадку за другой...

...Наконец речушку Чарысуйку, протекающую недалеко от Крылатого, прочно сковало льдом. В полыньях женщины полоскали белье. Когда-то я был «моржом».

Мои миндалины не шалили, и я позволил себе раза два искупаться в ледяной воде. Это видели пацаны, катавшиеся на санках с пригорка, и вскоре молва о чудачествах московского следователя расползлась по всему совхозу.

Савелий Фомич как-то заметил мне, что не следует этого делать. И не по соображениям здоровья, а так... еще взбредет кому-нибудь в голову написать куда следует... Я высказал старику, что ничего предосудительного в моем купании нет.

— Глядите сами, Игорь Андреевич, я только предупредил. Вот вы и без шапки ходите...

Больше мы на эту тему не говорили. Вскоре после этого я обнаружил на своей кровати в совхозной гостинице что-то завернутое в газету. Мягкое. Развернул. Мохнатая шапка-ушанка из серого кролика. Рассмотрел со всех сторон. Ни штампа фабрики, ни ярлычка с ценой. Не хватало мне еще получать анонимные подарки...

Я тут же позвал Савелия Фомича. Он зашел ко мне с несколько виноватым видом, но в то же время довольный.

— Чья это шапка? — спросил я у него.

— Не обижайте старика, Игорь Андреевич, от всей души... Для вас старался...

— Я не могу принять подарок, — сказал я сурово.

— Так ведь не покупная. Сам шкурки выделывал. А моя старуха сшила. Гляжу, как вы по морозу с непокрытой головой ходите, аж жалко смотреть. Вот, думаю, надо сообразить шапку. В магазине такую не купите.

— За внимание спасибо. — Я снова завернул ушанку в газету и вручил сторожу. — Но прошу больше мне ничего не дарить. Иначе обижусь всерьез...

Савелий Фомич смутился. И вышел с таким огорченным видом, что мне стало жаль старика. Я подумал даже: може

быть, зря обидел его? Он мне вроде не подчиненный, по делу не проходит даже свидетелем. С другой стороны, в деревне ничего не утаишь. Хватит с меня истории с приездом Нади.

Старик действительно больше ничего не дарил. Я вскоре забыл об этом случае, потому что еще больше закрутился в работе.

Вызывал еще раз Завражную. Она заметно пополнела. И теперь уже меньше обращала внимания на свой глаз, почти не пыталась скрыть недостаток. Держала она себя раскованно, спокойно. Передо мной сидела совсем другая женщина, чем та, которую я впервые увидел в кабинете заведующей детским садом. Беременность преобразила ее.

— Маша, меня интересует вот какой вопрос. Дней за десять-двенадцать до гибели ничего не изменилось в поведении Ани?

— Как будто нет.

— Может быть, она была чем-то расстроена?

— Дайте вспомнить.

Завражная некоторое время сидела, скрестив руки на животе, перебирая концы платка, укрывающего ей плечи.

Я смотрел на нее и почему-то отчетливо представил себе Надю, если бы она вот так же, как Маша, была в положении. Любопытная ситуация: Надя, стройная, изящная, ревниво оберегающая талию — и беременная!

Я поймал себя на мысли, что думаю о том, о чем совершенно неподходяще думать в данный момент.

— Нет, — сказала Завражная. — Приходила каждый день на работу, нормально трудилась, вспоминала Сережку. Иногда говорила о том, кто у нее будет — девочка или мальчик.

— А о личных огорчениях?

— Обыкновенно. Муж там с приятелями выпил. Огорчительно, конечно...

— Так. А помимо этого, может быть, что-нибудь необычное?

— Необычное, необычное...

— Да, что не касается мужа, детей.

— У нее все касалось лишь Валерия да Сережи. Хотя из себя и видный был Валерий Георгиевич, но тоже мужик. Приятели... А где приятели, там выпивка. А это может привести к нехорошему. Дом у них был открытый. С одной стороны, хорошо: люди любили, а с другой — приятели разные бывают. И дурные...

— Постойте, она жаловалась на то, что у них бывают плохие люди?

— Как вам сказать? Высказывала, конечно.

— О ком-нибудь конкретно говорила?

— Например, Коломойцева не очень жаловала. Он Валерия подбивал на выпивку. Особенно в последнее время. Обидно, конечно. Она в положении, а муж пьянствует. Да, наверное, не только с ним.

— А с кем еще, она не говорила?

— Еще у них бывал, правда редко, из района какой-то Юрий Юрьевич.

— Она вам жаловалась?

— Недовольная была. Помню, незадолго до смерти, может за неделю, пришла вечером. Опять, говорит, этот тип приехал.

— Какой тип?

— Не знаю. Говорит, тип.

— Погодите, погодите, попробуйте вспомнить точно, как это было. Зачем она пришла к вам?

Мне показалось, Завражная смутилась.

— Ну, она иногда просто так заглядывала. Поболтать. Подруги все-таки...

— А почему вам запомнился именно этот вечер? — Я чувствовал, Мария чего-то недоговаривает.

— Она попросила опять... — Завражная опустила голову.

— Что?

— Икону...

— А откуда у вас?

— От бабки несколько осталось...

— Кто-нибудь верует в семье?

— Да, — тихо ответила Мария. — Мать. Я с ней раньше спорила, а теперь... — она махнула рукой. — Получается, дочь — комсомолка, а мать...

— Вы говорите, попросила опять. Выходит, Аня и раньше обращалась к вам с той же просьбой?

— Да. Валерий однажды заходил, ему одна особенно понравилась. Но мама не хотела расставаться с ней... А я бы все отдала. Тем более Валерий интересовался ими как произведениями древнерусского искусства. Так он говорил... И выбрал небольшую, темную всю... — Она замолчала.

— Продолжайте о том вечере, — попросил я.

— Ну я намекнула мамане. Не знаю, что на нее нашло, говорит, отдай, мол. Если человек интересуется, надо уважить. Святое, мол, дело. Аня обрадовалась. Но я вижу, все равно что-то не так. Спрашиваю. А она говорит: «Опять этот тип приехал».

— Пришел или приехал?

— Приехал.

— Так, дальше.

— Я поинтересовалась, чем она недовольна — выпивают, что ли. Она говорит, что не в этом дело. И собирается уходить. Я предложила ей малосольных огурчиков, как раз приспели. Она не отказалась...

— Все?

— Все.

— Залесская потом что-нибудь говорила об этом вечере?

— Ничего. Наверное, мужики опять сильно выпили. Потому что назавтра Аня еще шибче была расстроена. Душа, говорит, болит за мужа...

— Скажите, Маша, почему вы раньше не рассказали мне об этом вечере?

Завражная смущенно ответила:

— Не знаю... Забыла, наверное... И еще — икона... А вдруг подумали бы, что мы отдали за деньги... У нас как-то из милиции приезжали лекцию читать. Предупреждали, что разные жулики скупают старинные иконы...

— И все-таки надо было мне сообщить.

Она виновато пожала плечами.

После ее ухода я проанализировал последние показания Завражной. Что все-таки было в них ценного?

Участившиеся в последние дни перед смертью Ани выпивки Валерия с Коломойцевым, вечеринка, устроенная для «ансамбля»... Короче, местная богема. Тот вечер был, очевидно, похож на многие.

Икона. Ну и что? Ими многие увлекаются. И Валерий, наверное, тоже мечтал случайно найти какой-нибудь шедевр. Главное, что это за «тип»? Может, Данилов-Савчук?

Я решил исследовать до конца эту историю, раз уж она всплыла.

Юрий Юрьевич у Залесских быть не мог: находился в это время в отпуске, на курорте «Боровое».

Тогда я вызвал Коломойцева. Он стал уверять меня, что до рокового дня, восьмого июля, не заходил к Залесским по меньшей мере месяц.

— Я очень уважал Аню, — сказал он. — А ей в последнее время особенно действовало на нервы, если Валерий выпивал. Выступала против.

— Но ведь и вы с ним выпивали.

— Не скрою, случалось. Но не у них дома.

— А почему же вы зашли восьмого июля?

— Валерий просил. Очень. Я думал, Аня на меня больше не сердится...

— Значит, раньше сердилась?

Коломойцев потупился:

— Видимо.

— Из чего вы это заключили?

— Выступала: «Если вы уж так не можете без бутылки, прошу хотя бы не у нас дома». Я парень смышленый, намек понял.

— Когда она это сказала?

— Приблизительно за месяц до этого самого случая, ну, когда ее...

То, что он говорил, было похоже на правду. Я представил себе, как мучился он, когда был отлучен от дома своего дружка и покровителя. Вот чем еще можно было объяснить, что собутыльники встречались на его квартире, нарушая покой и сон Евдокии Дмитриевны.

Тогда кто же был тот, кого Аня назвала «тип»? «Опять этот тип приехал...»

— Что, Залесский увлекался иконами? — спросил я у Коломойцева.

— Не иконами, а настоящей живописью, — поправил меня

он. — В церковной живописи были такие же халтурщики, как и в мирской. Но там были и настоящие мастера.

— Ведь один увлекается, например, русской пейзажной живописью, другой — персидской миниатюрой, третий — импрессионизмом. Так что можно, наверное, говорить о собирателях-икономанах, не так ли?

— Вообще-то вы правы, — согласился Коломойцев.

После позора, который я испытал у Ивана Васильевича, оценивая работы его матери, признаюсь, прочел несколько книг по живописному искусству. Большим эрудитом не стал, но чушь пороть никогда уже не буду...

— Ну и как Залесский?

— Особого пристрастия я не заметил. Он мне подарил одну. Работы неизвестного деревенского маляра. Впрочем, как память о нашей дружбе, когда уезжал. Он сам понимал, что иконка не того...

— Она у вас сохранилась?

— Лежит дома...

В тот же день выяснилось, что это была икона, которую Аня взяла у Завражной.

Итак, приблизительно за десять дней до убийства у Залесских был некто. У него пока не было ни имени, ни облика, ни каких-либо примет, кроме того, что Аня его недолюбливала. Настораживали слова Завражной, что после его посещения Залесская стала болеть душой за мужа.

Передо мной встал вопрос: стоит ли гнаться за призраком? И может ли иметь он и его посещение отношение к гибели Ани?

Мы с моим предшественником наделали глупостей. Пусть результаты первой судебно-медицинской экспертизы были ошибочны. Но и я хорош, повторную назначил не сразу. Это отняло время. Наверное, в Одессу надо было ехать не Серафиме Карповне, а мне самому. Теперь же ехать туда значило оставить нерешенные вопросы здесь, в Крылатом. А их немало.

Данилов-Савчук, например. Версия насчет него пока не доказана и не опровергнута. Ищенко тут тоже пока ничего нового не разыскала.

Короче, сплошные неизвестные. Не разбрасываюсь ли я впустую? Время идет. Имею ли я право в этой ситуации бросаться на любую подозрительную деталь?

Но поздний приход Ани к подруге и странная просьба подарить икону (нельзя как будто выбрать более подходящую обстановку) необычны. А вообще жизнь супругов? Их брак, появление в Крылатом (цель — написать роман!)? Может быть, «странности» для Залесских являлись нормой? Чужая жизнь не всегда и не во всем понятна. Поди разберись...

Правда, писателем Залесский не был. Во всяком случае, справка, которую я получил из Всесоюзной книжной палаты, утверждала, что ни одна его книжка никогда не выходила в издательствах страны. Он печатался только в одесских газетах. Со своими стихами и заметками. Судя по ним (я получил вырезки и кое-

что из сохранившихся в редакциях оригиналов), Валерий был способным человеком. Со свежими мыслями, легким, живым слогом. Это понимали и редакторы: сравнивая его рукописи с напечатанными в газетах материалами, нетрудно было заметить, что правили Залесского незначительно.

Писал он неплохо. Наверное, язык был подвешен тоже хорошо. Что ж, для видного парня иметь еще и такие таланты... Недаром Аня быстро простила его, едва ему стоило приехать в Вышегодск...

Но вернемся к дружку Залесского, которого Аня назвала «типом». Не он ли сидел в шляпе на кухне в ночь убийства?

Что ни говори, этот человек еще одна загадка. Их у меня и так предостаточно.

Когда речь идет о трудном, запутанном деле, всегда приводится фраза, ставшая даже избитой: преступник обязательно оставляет следы, надо лишь уметь их найти. Словно эти следы отмечены особой краской или на них написано: оставил преступник.

Помню одну фотографию. Отличную художественную фотографию, напечатанную в каком-то иллюстрированном журнале. Она поразила меня лаконичностью и выразительностью. Городская улица, снятая, видимо, из окна третьего-четвертого этажа. Ни одного человека. Только следы на мокром снегу. Их много. Во всех направлениях. Пересекающихся, петляющих, перекрывающих друг друга. Абстрактный символ человеческих судеб.

Я частенько вспоминаю этот снимок. Занимаясь расследованием, всегда получаешь много информации. Вопрос в том, чтобы отсеять все лишнее. И учесть, что качество, то есть истинная ценность и достоверность, у многих показаний бывает сомнительным.

В конце концов все сводится к нескольким ясным и четким вопросам: кто, когда, где, каким способом, с какой целью? И на эти простые вопросы порой ответить очень трудно. Потому что пересекаются, путаются, накладываются друг на друга следы поведения и поступков очень многих людей. И я никогда еще не встречал преступников, которые ставили бы указатели для следователей — по какой дорожке идти. Правда, попытки скрыть содеянное иногда как раз и разоблачают уголовную личность, но все-таки они стремятся прежде всего спрятать концы в воду. А кто прячет — в более выгодном положении, чем тот, кто отыскивает. Истина, не требующая доказательств...

Короче говоря, поразмыслив так и этак, я все-таки попросил Серафиму Карповну, загруженную донельзя, посмотреть, нет ли у Залесских друзей в районе, помимо инспектора райотдела культуры. Она два дня просидела в Североозерске и вернулась в некоторой растерянности.

— Не пойму, — сказала она, когда докладывала о результатах проверки в райисполкоме, — кто больше виноват: Ципов или Залесский...

— В чем дело? — поинтересовался я.

— Райфо однажды проводил ревизию в клубе и обнаружил

незарегистрированные билеты на киносеансы. Значит, безотчетные.

— И что?

— Да вот думаю, чья это работа — киномеханика или завклубом?

— А кто отвечает за реализацию билетов?

— Ципов. Но вряд ли это можно сделать, чтобы не узнал завклубом.

— Товарищи разобрались?

— Непонятная история. Ципову объявили выговор, Залесскому — обратить внимание на слабый контроль за соблюдением правильного оформления финансовых документов...

— Ясно... Да, история некрасивая...

— И еще... Тоже как посмотреть... С одной стороны, как будто для дела старался, с другой — опять непорядок.

— Ципов?

— Теперь уж один Залесский. Левые гастролеры.

— Не понимаю. Частные, что ли, предприниматели?

— Да нет, государственные вроде. Но любая гастрольная группа, любой коллектив артистов или один исполнитель имеет право выступать по строго утвержденному маршруту. Некоторые договариваются прямо с руководителями клубов или Дворцов культуры. И работают без разрешения отдела культуры.

— И вы думаете...

— Что заведующие привечают их за красивые глазки? Нет, здесь прямая возможность заинтересованности.

— Но ведь коллективы законно оформлены. Почему обязательно искать злоупотребления? Можно ведь так понять: заботился о крылатовцах, хотел пошире и поинтереснее развернуть работу.

— Вот и я рассуждаю, — улыбнулась Серафима Карповна, — может, впрямь болел за совхозных зрителей...

Я не понял, хитрила она или соглашалась со мной. Скорее лукавила старший лейтенант.

— А за эти грехи Залесскому сильно досталось?

— Да вовсе ничего.

— Вот тебе на! Прямо богадельня, а не руководящий орган.

— С инспектором отдела культуры захаживали в ресторанчик, — сказала Ищенко.

— С Юрием Юрьевичем?

— Именно. А когда Залесский взял расчет и уехал, справку ему выдали. И характеристику такую — хоть в замминистра культуры.

— Справку для чего?

— «По требованию».

— Ну и с кем он встречался в районе?

— Больше, говорят, ни с кем не общался. Останавливался даже у этого Юрия Юрьевича, когда ночевал в Североозерске.

— Значит, никакого приятеля, который бы запросто приехал к Залесским в дом, выпивал с ним, в районе не прослеживается?

— Вроде нет.

— Человек, который был у Залесских в конце июня, не мог перенестись в Крылатое по воздуху, — как бы рассуждая вслух, сказал я.

— Если бы знать хоть какие-нибудь приметы, — вздохнула Ищенко. — А может, проверить по автобазам в районе, в совхозном гараже?

— А если он приезжал на автобусе или на частной машине?

— Это, конечно, хуже, — сказала она. — Но пока проверим то, что доступно...

Не согласиться с ней было невозможно.

Взять хотя бы Коломойцева и Залесского. Оба в сильном подпитии находились в доме Матюшиной. Более того, Евдокия Дмитриевна видела и того и другого среди ночи, когда Валерию с перепою стало плохо. Казалось бы, алиби точно установлено. Но... Дойти от Матюшиной до Залесских — пятнадцать минут хорошим шагом. Можно ли выйти и вернуться незаметно для тех, кто оставался в доме? Видимо, можно.

Теперь рассмотрим каждого в отдельности.

Коломойцев. Безвольная натура, подверженная импульсам собственных привязанностей. В основном — к бутылке. Преувеличенное отношение к своей персоне. Сколько я ни анализировал его поведение, высказывания, у меня сложилось впечатление, что, в сущности, он человек совершенно несамостоятельный. И личина независимой и свободомыслящей личности, как он любит выражаться, есть не что иное, как желание преодолеть, прямо скажем, свое жалкое положение. Художника-недоучки, раба водки.

По тому, что Аня Залесская его недолюбливала, именно недолюбливала, а не питала более достойного «личности» чувства, например ненависти, можно было сделать вывод, что вряд ли человеком, о котором намекалось в предсмертном письме, являлся Коломойцев.

Но почему Аня согласилась позировать ему обнаженной? Насколько я понял из разговоров с людьми, характеризующими ее, Залесская сама вряд ли решилась бы на такое. Тут, несомненно, сказалось давление Валерия с его проповедью широких взглядов. Видимо, она пошла на это, чтобы угодить мужу. Не выглядеть мещанкой, что в его понимании недостойно современного человека. А Валерий, вероятно, использовал это для того, чтобы еще больше подчинить своему влиянию Коломойцева.

И еще один факт, говоривший о том, почему подозрения по поводу Коломойцева шатки: решительно все знавшие его в один голос твердят, что он пьянеет теперь с очень небольшого количества алкоголя. И очень быстро засыпает. Причем спать может где угодно — в машине, в гараже на старых баллонах, при любом шуме и гаме. Из двоих приятелей скорее уж Залесский мог встать среди ночи и незаметно отлучиться.

Между прочим, я попытался выяснить, откуда пошло прозвище Коломойцева — Бородавка. Никто не мог объяснить толком. Лишь один из шоферов сказал:

— Бородавка, она бросается в глаза, а ведь штука бесполезная. Можно сказать, некрасивая...

Уничтожающее определение.

Теперь о Залесском. Начнем с того, какие мотивы могли бы заставить его пойти на убийство жены? Ревность? Исключено. Он пять лет слонялся на стороне, не заботясь, соблюдает она верность или нет. По-моему, забота об этом вообще не занимала его мысли.

Могло ли испугать Залесского рождение второго ребенка? Сам по себе только этот факт — вряд ли.

Не задумываясь, он бросил жену в первый раз. Пожалуй, в более тяжелом положении. Одинокую, почти без средств, не имеющую никакой специальности. И теперь знал, что жена не пропадет. Есть у нее диплом, работа, значит, оправданный достаток, а при упорстве и трудолюбии, в чем нельзя отказать погибшей, — даже хорошее положение.

Короче, он вполне мог надеяться, что если надоест совхоз, Аня, дети, то он сможет уйти без скандала и сцен: Залесская доказала уже ему свою гордость и самостоятельность.

Для убийства он должен был бы иметь очень серьезные мотивы. Их я не видел. И еще его последний приезд сюда. Ищенко выяснила, что в Североозерске Залесский заходил в мастерскую, где изготовляли плиты на могилы. Его не удовлетворили представленные образцы. В Барнауле Залесский посетил одного армянина, делающего надгробия. Но тот брал за свою работу очень дорого. Наверно, Залесский не располагал такими средствами. Они не сошлись в цене.

Сам факт, что человек приехал за тридевять земель, чтобы отдать дань памяти жене, о чем-то говорил...

Встречаясь с Мурзиным, я обращал внимание, что Емельян Захарович выглядел последнее время неважно. Усталый вид, красные глаза. Узнал я обо всем совершенно случайно от человека, с которым я давно хотел встретиться.

Он появился в совхозной гостинице вечером. Постучался ко мне:

— Можно?

— Пожалуйста, входите, — предложил я.

— Разрешите представиться: я тот самый Зайцев, что на вас жаловался. — Он широко улыбнулся.

— А я несколько раз забегал в райисполком, чтобы лично ликвидировать то недоразумение, — сказал я, предлагая гостю сесть.

— Мне товарищ Червонный говорил. — Он положил руки на стол.

— Не хочу на кого-то перекладывать вину, но меня тогда подвели, — сказал я.

— Это бывает, конечно, — согласился он. — Недаром говорят: доверяй, но проверяй. Я сгоряча, понимаете, сразу в райком...

— Приношу свои извинения. Конечно, получилось не по форме и бестактно...

— Ну ладно, спишем. Обиды обидами, а дело есть дело.

— Да, я хотел с вами поговорить, потому что вы старый работник, бываете здесь часто, знаете совхоз. А мне не мешало бы узнать о взаимоотношениях между людьми, о жизни в «Маяке»...

Зайцев скрестил полные руки на животе, наклонил голову набок, отчего полная его щека легла складками на воротник пиджака.

— Вообще-то я действительно наезжаю сюда. Мы с Емельяном Захаровичем бывалые целинники. Вместе приехали. Тридцатитысячники. Только он остался на земле, а меня перетянули в Советы. Мурзин шутил: «Сбежал с трудового фронта...» Я предлагал поменяться.

— А Емельян Захарович? — я принял шутливый тон.

— Говорит, в совхозе и похоронят. Рано ему думать об этом. Если выдержал войну, такому орлу до ста лет жить.

— Но мне что-то показалось в последнее время, что Емельян Захарович устал, — сказал я.

— Он! Признался сам?

— Нет. Но я вижу.

Павел Евдокимович покачал головой:

— Иногда его мучает ревматизм перед сменой погоды. Но он привык как будто... Наверное, спит мало. Вы бы видели его, когда надо собраться, поднять людей. О черных бурях слышали, наверно? — Я кивнул. — Все растерялись, а он нет. Многие не знали, что делать. Емельян Захарович один из первых поверил в науку. Можно, говорит, обуздать эрозию. Как узнал, что Бараев занимается в Шортандах этой проблемой, — к нему. Совхоз «Маяк» стал едва не первым полигоном в районе по проверке идей Бараева... Вот что значит верить! Бараев теперь видный ученый, лауреат Ленинской премии. Кажется, Мурзин до сих пор с ним переписывается... — Зайцев мельком посмотрел на часы.

— Вы спешите?

— Да нет, еще есть время.

— А отчего же ему сейчас не отсыпаться? Зима. Ни сева, ни жатвы.

Зампредседателя райисполкома усмехнулся:

— Зимой у нас другая страда. Кстати, вы где смотрите телевизор?

— Нигде, — удивился я.

— Как это? — больше моего удивился Зайцев. — Хоккей. Чехословакия — СССР.

Все ясно: болельщик. Выходит, Емельян Захарович тоже. Вот откуда у него красные глаза и усталый вид. Ну и ну...

— Это же, наверное, поздно, — сказал я. — Разница во времени...

— Часа в четыре закончится, — подтвердил он. — А что?

Пуще неволи... Может, вместе пойдем, посмотрим у Емельяна Захаровича?

— Спасибо. Я не увлекаюсь.

Зайцев посмотрел на меня как на марсианина:

— Это живя в Москве! — Он покачал головой, все еще не веря. — У вас же там только и смотреть хоккей... Нет, вы действительно не болельщик? А мы тут все выкрадываем время у сна. А как же иначе? Хоккей!

— Сочувствую, — улыбнулся я и развел руками. — Но...

А сам подумал: если бы показывали по телевизору в четыре часа утра, например, «Ромео и Джульетту» с Васильевым и Максимовой, я бы пожертвовал сном? Наверняка... Как же можно не понять их?

— Мы не отвлеклись? — спросил Павел Евдокимович.

— Нет, не отвлеклись. Я хотел еще узнать мнение об Ильине.

Павел Евдокимович снова наклонил голову набок. Наверное, привычка.

— Что вам ответить? Одержимый... Взялся, например, даже за то, чего в районе пока никто не делал. Много у нас земель пропадает. Под ненужными дорогами, старыми карьерами. Все это хлопотно. А он действует. По его инициативе принято решение райсовета о рекультивации пустующих земель. Ну, еще что? — Зайцев немного подумал. — Какой он агроном — говорить еще рано. Всего один год работает. Хотя план совхоз выполнил.

— А обязательства?

— Немного недотянули. Вообще, скажу честно, Ильин — трудный человек: если что не по его — не успокоится, пока не добьется. А может, это и к лучшему? — Он улыбнулся. — Емельян Захарович, видать, смекнул: Николай Гордеевич на своем настоять умеет. Вот он его и шлет на заседания вместо себя... Мурзин, скажу вам, большой стратег. Он знает, как на начальство действовать, где взять лаской, где человека подпустить... — Зайцев улыбался. В его словах сквозило не осуждение, а одобрение. И у меня внезапно возник перед глазами кабинет завотделом сельского строительства. С какой легкостью была подписана бумажка-заявление на шифер...

То, что Емельян Захарович попросил именно меня отнести заявку в отдел сельского строительства, было отлично задумано. Об этом я догадался еще тогда. Мурзин — стратег! Мне показалось, что под словами «подпустить человека» подразумевался я. Зайцев, вероятно, узнал об истории с шифером.

Он посмотрел на часы и заторопился.

К Мурзину. На телевизор. Еще раз попытался соблазнить меня, но безуспешно.

Я хотел уже лечь, но в это время в коридоре раздались шаги. Я узнал по походке Ищенко.

Она вошла румяная с мороза, принесла с собой запах снега. На ее торжествующем лице так и пробивалась с трудом сдерживаемая улыбка.

— Был у Залесских гость! — выпалила она с ходу. — Был, залетный. Двадцать пятого июня... Да, простите, Игорь Андреевич, что поздно, не успела на последний автобус, пришлось на попутных.

— Что вы, какие могут быть извинения!

— Понимаете, заболталась с парнем. Хороший паренек. Умница.

— Этот самый гость?

— Да нет. Шофер, что его подвез. Помнит, как будто вчера дело было. Улицу, дом, куда подбросил. Все сходится — Залесские.

— Так-так-так, — я заразился ее настроением. — Что же это был за попутчик?

— Чудной, говорит.

— А именно?

— Передать на словах трудно. Завтра этот шофер к вам сам подъедет. А то, знаете, из вторых рук...

— Шофер где работает?

Старший лейтенант достала бумажку, отстранила подальше от глаз.

— «Спец...», — она махнула рукой, — в общем, какой-то «монтаж». Фамилия Веселаго Андрей. Действительно, Веселаго. Путевый парнишка.

Я хотел было расспросить подробнее. Но, несмотря на явное удовлетворение, Серафима Карповна выглядела уставшей. Понять ее нетрудно: она отыскала иголку в стогу сена.

Куда делся сон! Закрутились мысли, я проворочался чуть ли не до первых петухов.

Веселаго приехал в середине дня. Улыбчивый парень, с казацким чубом, пришлепнутым ко лбу от шапки. Он мне кого-то напоминал. Его упругие плечи теснились в костюме, предназначенном, видимо, для особых случаев. Он чувствовал себя в нем неловко. Мал был и воротничок белой рубашки с косо повязанным галстуком.

Я предложил сесть. Парень продолжал улыбаться. Разве что только не подмигивал. Мне было немного неловко. И еще смущало ощущение, что мы где-то виделись. Я думал об этом и не мог сразу собраться с мыслями.

— Ну что ж, товарищ Веселаго, давайте побеседуем.

— Можно, — кивнул он. Солидность и серьезность обстановки погасили его улыбку.

— Вы часто ездите в Крылатое?

— Через день, считай, не меньше.

— Возите что?

— Сами знаете, цемент.

Теперь настала моя очередь расплыться в улыбке:

— А я вас сразу и не узнал. Значит, быть богатым...

— Я самый. — Он похлопал себя по груди, по коленям. — Как видите, жив-здоров.

— По-прежнему по двое суток за рулем сидишь? — Я невольно перешел на «ты». Как со старым знакомым.

— Бывает, — нехотя сознался он. — А что поделаешь? Приходится.

— Да, техника безопасности, смотрю, у вас не на высоте, — сказал я серьезно. Он хотел что-то возразить, но я продолжил: — Все ведь до случая. И геройства тут нет, поверь. Нельзя чье-то головотяпство замазывать с риском для своей жизни... О семье подумай.

— За-ради нее и работаю.

— И жена терпит, что ты по две ночи дома не ночуешь?

— Терпит. Любая стерпит, когда приносишь в получку столько да еще маненько...

— А маненько это что, с леваков?

Он нахмурился:

— Я, кажется, с вас, гражданин следователь, ни копейки не взял. Я сам могу кому хошь подбросить, если кто бедный...

Это был промах с моей стороны.

— Не гражданин, а товарищ следователь, во-первых. Во-вторых, обижаться не стоит. Встречаются ведь и рвачи. Не так ли? — пытался я выкрутиться. Не очень ловко...

— Может быть, — угрюмо ответил Веселаго. — А подвез того малого не из-за денег. Так же, как и вас. Пылишь, пылишь один, а с попутчиком веселее, хоть словом перекинешься...

— Он предлагал деньги за проезд?

— Деньги не предлагал. Натурой.

— Как это?

— На выбор. Хошь, бутылочку такую маленькую спиртного — коньяк, виски, водка. Или пачку сигарет заграничных. Не хошь — галстук, а не галстук, так зажигалку. У него в чемоданчике всякого добра навалом. Как в киоске, что на вокзале.

— Значит, деньги не предлагал?

— Говорит, деньги в наше время ничего не стоят. Бумажки, они и есть бумажки. Чудак! Деньги в кармане, так сам себе купишь все, к чему душа лежит.

— И вы взяли что-нибудь? — улыбнулся я.

Шофер смутился, но весело ответил:

— Натурой ведь... Пачку сигарет. Верблюд с негром нарисован.

— «Кэмел», — подсказал я.

— Разве это камыл?

— Не можешь забыть? — покачал я шутливо головой.

— Ладно уж, — махнул он рукой. Доверительность была восстановлена. Я почувствовал себя свободнее.

— Не можешь ли ты, Андрей, подробнее описать его внешность?

— Запросто. Пониже вас будет, жидковат. Чернявый. Золотая фикса спереди на зубах. Держится культурно.

— Как ты это определил?

— На интеллигентность давил. Мы уж сюда подъезжали, к

Крылатому. Девчата на дороге. Я сигналю. Не слышат. Высунулся я и, понимаете, по-нашенски, чего, мол, варежки разинули... Все-таки у меня не телега, а ЗИЛ, махина, пять тонн груза берет. Чтоб затормозить, прикидываю за сто метров. А он, значит, головой покачал. «Дамы, — говорит, — неудобно». Я оправдываюсь, они, мол, и не услышали. А он опять: «Культура — это прежде всего для себя самого...»

— Сколько ему лет?

— Сорок будет. Может, чуть поболее. На висках седина.

— Одет как?

— Дорогой костюмчик. Модный. Плечи вот так, и по бокам, как у баб, прилегает...

— В котором часу вы приехали в Крылатое?

— Еще не так темно. Часиков в полдесятого.

— Где он остановил тебя в районе?

— За автовокзалом. Как завернете, там обычно частники из района стоят.

— А там были машины?

— Не было. Да и кто согласится в такую даль? Обратно возвращаться — посреди ночи приедешь.

— Как он попросился?

— Я, значит, делаю поворот. Смотрю, голосует. Ну, отъехал от перекрестка на положенное расстояние, встал. Нет и нет никого. Может, раздумал... Выглянул. Идет. «До Крылатого, — говорит, — не подкинешь? Не обижу». Я думаю: взять или нет? Страсть не люблю такого подхода. А он уже в машине. Я все размышляю. Ей-богу, противно, когда тебя за подонка считают. Нужен мне его рубль! А он подмигнул мне: «Отдать швартовы». Ладно, думаю, хрен с тобой, поехали...

— Как ты думаешь, в Крылатом он раньше был?

— Не был. Говорит, вези по этому адресу.

— А фамилий, имен не называл?

— Нет. Сказал, что к дружку.

— О чем вы беседовали?

— Какой там беседовали! Молчит. Я спрашиваю: «Издалека?» Он говорит: «Издалека». Ну, я опять, мол, как, наши края нравятся? Он что-то буркнул. Ладно, думаю, не хочешь, набиваться не стану. Едем дальше. Я уж забыл об нем. Он вдруг ни с того ни с сего: «Бабушка есть?» — «Какая бабушка?» Уж не чокнутый ли, думаю. А он: «Обыкновенная, старенькая, родная или родственница». Говорю: «Есть родная. А что?» А сам все не пойму, к чему это он? «Верует?» — спрашивает. Ну, думаю, баптист какой-нибудь. «А шут ее знает», — отвечаю. «Иконы старинные имеются?» — «Нет. Но могу поспрашивать». Он говорит: «Не надо. У тебя нет, значит, нет». Помолчали. Скушно. Думаю, может, хоть теперь разговорчивее станет. «На что они тебе, эти иконы?» — спрашиваю. «Интересуюсь», — отвечает. И все. Понимай так, что не лезь туда, куда не следует. Ну, думаю, ты так и я так. До самого совхоза словом не обмолвились. Подвез я его к самому дружку, это рядом, свер-

нешь с шоссе, третий дом, я ведь Крылатое знаю как свои пять пальцев. Он говорит: «Прошу получить за фрахт». И предлагает свои цацки. Я ему: «Ладно, обойдется». — «Нет, — говорит, — надо поддерживать принцип материальной заинтересованности». Не хотелось его обижать. Да и батю решил побаловать. Сам-то я не курю. Он спрашивает: «Когда назад?» — «Часа через два». Он подумал. «Вот если бы утречком, часиков в пять...» А что мне загорать без дела? «Не могу», — отвечаю. Он махнул рукой. Я уехал. Между прочим, загорал до самого утра: зажигание забарахлило. Возвращался назад, еще подумал, не стукнуть ли в окошко. Шесть было. Так и не решился...

— Какого числа ты его вез?

— Двадцать пятого. Можно по путевке проверить. И бурильщики подтвердить могут. Я у них ремонтировался...

Уточнив еще ряд деталей, я отпустил Веселаго, договорившись встретиться с ним в Североозерске, чтобы при его помощи составить в лаборатории фоторобот посетителя Залесских.

Но прежде я связался с прокуратурой Одессы. Так как Залесский еще болел, я попросил срочно допросить его в больнице по поводу гостя. Это было сделано в минимально короткий срок.

Залесский показал, что вечером двадцать пятого июня к ним домой никто из знакомых и друзей не приходил, тем более не приезжал издалека..

Его ответ насторожил. Неужели Веселаго ошибся? Но адрес, который был показан шоферу?

Может быть, незнакомец приезжал к прежним хозяевам дома, ведь Залесские жили в Крылатом всего полгода?

Выяснилось, что до них домик занимало несколько жильцов. Сначала семья агронома, потом ветеринара, а последнее время, перед Залесскими, шоферы. Люди поразъехались кто куда, найти их было можно, но требовалось много времени...

И все-таки мне думалось, что «коробейник», как я назвал про себя приезжего, мог приехать именно к Валерию и Ане.

На авось махнуть в совхоз, не зная, живут там еще знакомые или нет... Не очень согласуется с человеком, судя по описаниям Веселаго, весьма практичным.

И еще одно обстоятельство наводило на мысль, что он приехал к Залесскому: это морские словечки: «отдать швартовы», «фрахт». Валерий ведь из Одессы. Совпадение более чем подозрительное.

Но для чего ему скрывать приезд гостя? Просто так это быть не может. Неужели у него настолько плохая память?

Во всяком случае, надо искать подтверждение тому, что «коробейник» был у Залесских.

Поэтому я вызвал на допрос соседей.

Сналача Рыбкину, ту самую, что имела конфликт с погибшей. Вот что она показала:

«*Вопрос*. Часто у Залесских были гости?

«*Ответ*. У них пьянствовали чуть ли не каждую субботу.

А Валерий, тот даже из дому уходил. Я его понимаю, разве с такой женой можно чинно-спокойно жить?

Вопрос. Почему вы так решили?

Ответ. Все время попрекала его.

Вопрос. Вы сами слышали, что у них происходили ссоры?

Ответ. Своими собственными ушами. В деревне не спрячешься. А их дом от нашего шагах в пятнадцати, не более.

Вопрос. В чем выражались их неурядицы?

Ответ. Как-то Залесская сказала мужу, что уйдет из сада, не хочет работать... Конечно, такая готова сесть на шею мужу. Я считаю, ей не с людьми надо работать, а с бессловесными тварями, тем более не с детьми... Ее государство выучило, а она не захотела по своей специальности работать, в поле...

Вопрос. А Валерий заставлял работать ее агрономом?

Ответ. Этого я не знаю.

Вопрос. Значит, вы утверждаете, что между супругами Залесскими были ссоры?

Ответ. Были.

Вопрос. Не скажете конкретно, когда?

Ответ. Да хотя бы недели за две до смерти Залесской.

Вопрос. Точнее?

Ответ. Точнее сказать не могу.

Вопрос. Они были дома одни?

Ответ. Не знаю. Мы не бывали друг у друга...

Вопрос. Вы не помните, приезжал ли к ним кто-нибудь незнакомый, не крылатовский?

Ответ. Я же говорю, что мы не дружили...»

Да-а, Рыбкина, видимо, никак не могла простить Залесской истории с хлебом...

Соседка с другого края, Раиса Ивановна, дала следующие показания:

«...Жили Залесские культурно. Зайдешь к ним вечером поговорить, или книжку взять почитать, или там в хозяйстве чего не хватает, приятно смотреть. Валерий с книжечкой на диване, Аня хлопочет над обедом... Начитанный он человек. Про все знает. С таким и поговорить хочется. Анечка, между прочим, тоже образованная была. И простая. Я к ним, как к своим, привыкла. Валерий иной раз в районе по делам бывал, не возвращался к ночи. Дома скушно, я иду к Анечке. Она дверь никогда не закрывала, да и что тут, в деревне, воров бояться? Вот мы с ней и коротали вечерок. Чайком угостимся, всякие наши дела обговорим...

Вопрос. А скандалы между ними случались?

Ответ. Скандалов не помню. Что и бывало, так житейское. Милые, говорят, бранятся — только тешатся.

Вопрос. Значит, вы утверждаете, что ссор у них не было?

Ответ. Какие ссоры? Жили культурно.

Вопрос. Люди у них часто бывали?

Ответ. Бывали. В хороший дом тянутся. А без гостей что за дом? Это уж какие-нибудь скупердяи или не люди вовсе...

Вопрос. И кто больше бывал? Здешние, крылатовские? Может быть, какое-нибудь незнакомое лицо? По одежде, по манерам нездешние?

Ответ. Студенты, что строили в совхозе. И этот, с остреньким носиком, из района. В очках.

Вопрос. Юрий Юрьевич?

Ответ. Да, он. Остальные наши. Коломойцев, Ципов...

Вопрос. Вы никогда не слышали, чтобы, например, ночью к их дому подъезжала машина?

Ответ. Нет.

Вопрос. Вы летом спите с открытыми окнами?

Ответ. С открытыми, если нет дождя.

Вопрос. Если бы около их дома остановилась машина, было бы слышно?

Ответ. Думаю, что услышали бы...

Вопрос. Такого случая не помните?

Ответ. Нет.

Вопрос. Вы не знаете, кто-нибудь захаживал к ним в куртке и соломенной шляпе?

Ответ. Куртки у многих есть. И шляпы. Наверное, заходили.

Вопрос. Кто именно?

Ответ. Не помню.

Вопрос. Валерия Залесского в такой одежде не видели?

Ответ. Видела. У него старая шляпа и куртка была. В ней он поливал цветы, копался в огороде.

Вопрос. Кто из супругов больше любил ухаживать за участком?

Ответ. Аня больше. Гвоздики любила. Как-то у нее пацаны оборвали все гвоздики. Переживала. Они с Валерием после этого на ночь оставляли в кухне свет и пугало ставили.

Вопрос. Какое пугало?

Ответ. Приставляли к столу швабру, а на нее вешали куртку и шляпу. Похоже, что человек сидит. Чтобы пацаны не лазили в сад...»

История с пугалом выглядела настолько невероятно и просто, что я сразу не поверил этому.

Насчет «коробейника» я так ничего у соседей и не выяснил. Но зато, кажется, прояснилось одно «белое пятно»: показания Кыжентаева, мальчика, видевшего мужчину в доме Залесских вечером, в день убийства.

Чтобы покончить с историей, доставившей мне столько хлопот, я провел следственный эксперимент.

В освещенном окне кухни все еще пустующего дома Залесских выставили пугало в куртке и шляпе. И Болот Кыжентаев признал в нем того самого «мужчину», которого видел в день убийства. Вызвал я на допрос и старушку, что жила через дорогу и была понято́й при моем первом осмотре места происшествия.

Она тоже подтвердила, что Залесские прибегали к уловке с чучелом, чтобы не покушались на их цветы.

Так была развеяна улика, которая путала мне все карты. Ларчик открылся просто...

Я все думал: как «коробейник» уехал из Крылатого? Первый автобус уходил в райцентр в восемь тридцать. Но, по-видимому, гость Залесских хотел выехать пораньше, если просил Веселаго на обратном пути подскочить часиков в пять.

Если он не отправился автобусом, значит, опять воспользовался попутной машиной или его подвез кто-то из местных.

Ищенко выяснила, что Станислав Коломойцев ночью двадцать пятого июня машину в гараж не ставил. Иногда совхозные шоферы оставляют транспорт возле дома, чтобы пораньше отправиться куда надо.

Более того, Коломойцев приехал на ток двадцать шестого в одиннадцать вместо семи часов утра.

У меня возникла уверенность в том, что отвозил «коробейника» именно он. Если надо было скрыть посещение гостя, Станислав подходил для этого случая лучше других: для Залесского он свой в доску.

...Коломойцева в гараже не оказалось. Он не появлялся второй день. И все же я отправился к Матюшиной, чтобы встретиться с Коломойцевым. Мело. Мороз пощипывал уши и нос, и я с тоской подумал о том, что в такую погоду Станислав вряд ли удержится от соблазна выпить. Люди, подобные ему, рады любому поводу. В дождь — от мокроты, в мороз — от простуды, в жару — от дремоты. Если парень будет хоть чуть-чуть навеселе, о допросе не может быть и речи. Не имею права. А мне непременно хотелось поговорить с ним как можно скорее. Я стал с особой силой ощущать, как бегут минуты, часы, дни, как уплотняется время.

На половине Коломойцева горел свет. Я постучал с «парадного» крыльца. Через двери глухо прозвенели бубенцы. Открыла Евдокия Дмитриевна. И когда я спросил, дома ли постоялец, она ответила с благоговением:

— Известное дело, дома. Художничает.

Я облегченно вздохнул. Если Станислав занимается живописью, то скорее всего трезвый.

Так оно и оказалось. Он поспешно встал от мольберта, вытирая руки о тряпицу в разводах всех цветов радуги. Хозяйка удалилась на свою половину. Мне показалось, что она задержалась у дверей. Потом на другой половине воцарилась абсолютная тишина.

Коломойцев вытер той же тряпкой стул и предложил сесть, что я и сделал, с опаской посмотрев на сиденье. Сам он пристроился на кровати.

— Рисуете?

— Работаю, — скромно сказал он.

— А освещение? — показал я на довольно тусклую лампочку.

— Ничего, рисунок набрасываю. В цвете доделаю днем. —

Он машинально пододвинул мольберт к стене, чтобы я не мог видеть набросок.

Помолчав, я спросил:

— Станислав, мне нужно уточнить у вас кое-какие вопросы... Кого вы подвозили в район утром двадцать шестого июня?

Коломойцев пожал плечами:

— Двадцать шестого июня? Не помню... Какой это был день?

— Понедельник.

— Понедельник, понедельник... — Он виновато хлопал глазами. — Давненько, надо припомнить...

— Припомните, пожалуйста. Вы опоздали из-за этого на ток.

Он снова пожал плечами, как бы говоря: «Мало ли я опаздывал на работу...»

— Бывало так, чтобы вае кто-нибудь просил отвезти в Североозерск? Я имею в виду частным образом?

— Ну, попутно, — смутился он. — Если еду, почему не взять?

— Нет. В данном случае вас попросили сделать это специально.

— Я не имею права использовать машину в личных целях. — Он подчеркнул слово «машину». В его произношении оно прозвучало «масыну».

— Станислав, вы же понимаете смысл моего вопроса.

— Может быть, действительно подвозил, — задумчиво произнес он. — Напомните хоть внешность.

— Лучше, если вы вспомните сами.

— Не тот ли стильный мужчина с чемоданчиком? Европейский шик. Напоминает фокстерьера... — неуверенно произнес Коломойцев.

Все-таки у Станислава глаз художника. Сравнение любопытное.

— Чем?

— Где надо, подстриженный, где надо, обрубленный. Породистый человек. Или сделанный. Не знаю.

— Расскажите, пожалуйста, как все это происходило?

— Что именно?

— Каким образом вы взялись его подвезти? Подробней.

— Машину я оставил на ночь у ворот, потому что приехал поздно. А с петухами опять в поле. Выхожу утром, какой-то гражданин прохаживается.

— Назовите время.

— В шестом часу это было. Я сажусь в машину, он подходит. Просит отвезти в Североозерск. Говорит, что опаздывает на самолет, а первый автобус уходит в полдевятого. Я, конечно, отказываюсь. Уборка. Он не отстает. Я ему предлагаю вместе поехать на ток, загрузиться зерном — и в район. Не успел я глазом моргнуть — он уже в кабине. Я тронул. Выехал на шоссе, он выступает: «Капитан, ты романтик?» Я спрашиваю: «Почему капитан?» Он смеется: «Вылитый капитан. Например, сэр Джеймс». Это, наверное, за то, что баки ношу и трубку ку-

рю. Он продолжает: «Дорогой сэр, а не поднять ли нам фок-брамсель и не махнуть ли сразу в Североозерск?» Я попытался насчет того, что зерно, мол, идет, урожай. Бог его знает, как он умеет в душу влезть. Выступает: «Да теперь в России человек не стоит и понюшки табака. Центнеры, гектары, проценты. А ты хоть помирай — нет до тебя никакого дела». Знаете, как бывает порой, проймет, действительно позарез надо человеку. Повез прямо в район. До самого аэропорта. Он так благодарил, так расчувствовался, что подарил зажигалку. — Станислав открыл тумбочку, пошарил в ней, достал небольшой изящный цилиндрик из прозрачной пластмассы. — Французская. Газовая. Горючее, правда, вышло, а заправить негде.

— За поездку заплатил?

— Вот только это. Выступал, что деньги, как вода, утекут, а вещь останется.

— Он назвал себя?

— Нет.

— Говорил, к кому приезжал в Крылатое?

— Нет.

— А почему он выбрал именно вас?

— Откуда я знаю. Случайно, наверное.

— А к Залесским он не мог приехать? — спросил я.

Коломойцев искренне удивился:

— Он бы отрекомендовался, что от Валерия. Проще разговаривать. Если он очень спешил, думаю, Валерий сам бы подошел ко мне и попросил отвезти дружка в район...

Похоже, Коломойцев не врал.

Прямо какая-то дьявольски точно рассчитанная конспирация. Залесский знал, что Коломойцев вряд ли откажет (думаю, что, помимо французской зажигалки, «коробейник» презентовал шоферу и бутылочку спиртного), но все было сделано так, что тот не догадался, чьего гостя вез. Выходит, Залесский не доверял Станиславу...

— Что он вам еще преподнес из своих припасов — коньяк, виски, водку? — спросил я.

— Действительно, — растерялся Коломойцев. — Я забыл сказать, что он сунул мне сувенирную бутылочку коньяка. Маленькую, пятьдесят грамм. — Станислав низко наклонился к тумбочке и долго возился там, перебирая вещи. — Куда-то девалась...

— Ладно, бог с ней. В пути он не просил вас о чем-нибудь, не интересовался чем-либо?

— Вроде нет.

— Хорошо. А теперь вопрос о другом. Когда вы пришли к Залесским утром девятого июля, не припомните, что было в кухне? Вы ведь прошли через нее?

— А что там могло быть?

— Какие вещи, что где лежало...

Коломойцев посасывал трубку, так и не выпустив ее изо рта после того, как изобразил «сэра Джеймса».

— Было прибрано. Стол пустой. Что еще, что еще... Какие-то вещи на табуретке.

— Какие именно?

— Точно не помню. Кажется, плащ. Нет, старая куртка. И шляпа. Когда мы сидели с Валерием и ждали милицию, я, помню, вертел ее в руках...

Значит, убийца сложил чучело на табуретку.

При составлении протокола я особое внимание уделил описанию внешности ночного гостя. Предстояло составлять фоторобот...

Меня смущало, что Залесский скрыл от Станислава знакомство с «коробейником».

Ищенко объяснила это тем, что незадолго до того у приятелей была небольшая размолвка. Выяснилось, что Коломойцев только что закончил картину для клуба. Пейзаж. Колхозное поле. Работу принимал завклубом. Ципов сказал, что Стасик поспорил с Валерием насчет каких-то денег.

Когда Серафима Карповна изучила в районе некоторые документы, оказалось, что Коломойцев через Юрия Юрьевича (а значит, и Залесского) получал аналогичные заказы в других хозяйствах. Счета оформляли через бухгалтерию как за текущие производственные работы.

Это уже было серьезное нарушение. И не подготовить представление в райком я не имел права. Я знал, что не для того приехал в Североозерский район. Однако это уже было мое, следователя, дело.

Да, милую компанию сколотил вокруг себя Залесский...

Я свел в Североозерском РОВДе двух шоферов — Коломойцева и Веселаго. При их помощи был составлен словесный портрет и фоторобот таинственного гостя Залесских.

На этот раз очень пригодился художественный навык и глаз Станислава. Особенно при монтаже фоторобота.

Андрей путался, когда надо было охарактеризовать ту или иную часть лица.

«Коробейник» выглядел приблизительно так: мужчина на вид лет 40—45, южного типа. Волосы темные, с сединой, средней густоты, слегка вьются, зачесаны на пробор (справа), баки до нижней линии челюсти; лицо овальное, профиль слегка выпуклый, лоб высокий, узкий, прямой, слегка скошен; нос средней высоты и ширины, спинка носа прямая, тонкая, кончик носа круглый; брови длинные, тонкие, овальные, с сильно опущенными хвостиками; глаза круглые, горизонтальные, под глазами небольшие мешки; рот средней величины, губы тонкие, углы рта слегка приподняты; подбородок узкий, овальный, выпуклый, с ямочкой посередине; уши слегка оттопырены, правое ухо овальное, противокозелок выпуклый, мочка узкая, слитная.

По этому словесному портрету и был составлен фоторобот.

Повозиться пришлось изрядно. Я больше доверял Станиславу. Помимо всего прочего, он видел «коробейника» при дневном освещении.

Андрей Веселаго, увидев окончательный вариант, сказал: «Теперь здорово смахивает».

Вдруг объявился важный свидетель. Настолько же важный, насколько и неожиданный. Я встречался с ним ежедневно. Чаще всего просто не замечал. Молоденькая жена участкового инспектора Галя Линева, секретарша Мурзина.

Она пришла в кабинет главного зоотехника, который я все еще занимал в связи с отсутствием такового в совхозе.

Линева села без приглашения и, запинаясь, произнесла:

— Игорь Андреевич, можно с вами поговорить?

— Мы уже говорим, — улыбнулся я, все еще теряясь в догадках о цели столь необычного визита. Может, хочет похлопотать за своего мужа? При чем здесь я? Он в системе МВД, я — в прокуратуре... Она выкручивала себе один за другим пальцы на левой руке и все собиралась с духом. — Говорите, Галя, — подбодрил я ее.

— Скажите честно, Николаю Гордеевичу... Вернее, вы Николая Гордеевича... — Она замолчала.

Вот уж не ожидал, что она заговорит о нем. Неужели это ход Мурзина? Нет, непохоже.

— Ну, Галя, что вы хотите спросить? — попытался я помочь ей справиться с волнением. Или же собраться с мыслями, не знаю.

— Это, конечно, нехорошо, я понимаю... — Она опустила глаза. — Я нечаянно подслушала ваш разговор с Емельяном Захаровичем...

— Подслушивать, разумеется, некрасиво. Но вы же говорите, что нечаянно...

— Честное слово! — Она произнесла это как «честное пионерское». Только что не отсалютовала. — Дверь была неплотно закрыта... Вы приказали... попросили не пускать пока Николая Гордеевича в командировку... Он нужен для следствия. — Голос у Линевой дрожал. И я не мог понять, отчего она собирается расплакаться: из-за Ильина или потому, что подслушала.

А что, если она знает содержание и других наших бесед? Неприятно такое узнать. Ругать ее? Но она же пришла «с повинной».

— Воспитанный человек, когда знает, что ему не следует слушать чужой разговор, прикрывает плотно дверь, — сказал я сдержанно.

— Я только один раз. И не в этом дело. Все равно никому не сказала. Ильин каждый раз уходит от вас — на нем лица нет... Я же не какая-нибудь дура... И Женя, мой муж, иногда рассказывает про свою службу... Понимаю...

— Что вы, Галя, понимаете?

— Я к вам давно хотела прийти. Я знаю, где был Николай Гордеевич в ту ночь...

— В какую? — спросил я.

— Когда Аню Залесскую убили...

Меня, как говорится, словно обухом по голове ударили. Но я постарался сказать ей ровным, спокойным голосом:

— Насколько я понимаю, вы хотите дать показания по всей форме?

Она спросила, посмотрев на меня умоляюще:

— А нельзя без бумаги? Я вам все расскажу, а вы...

— Нет, Галя, так нельзя. — Я достал бланк протокола.

Она обреченно кивнула:

— Тогда пишите. — Подумала и добавила: — Если так надо... А кто имеет право читать?

— Никто из посторонних.

— А работники милиции? — тихо спросила она.

— Я вам сказал. Никто.

Я стал заполнять форму пункт за пунктом. И когда дошел до образования, у меня в авторучке кончились чернила. Достал из ящика пузырек, он тоже оказался пуст.

Трагикомическая ситуация. Передо мной сидел свидетель, который собирался прийти столько времени, наконец решился, и вот на тебе. Как в мелодраматическом фильме. Хоть плачь, хоть смейся. В самый интересный момент у следователя кончаются чернила в ручке, и свидетель так и не решается дать важные сведения...

— Я сейчас принесу чернила, — предложила Галя, видя мое затруднительное положение.

— Позвоните, пусть кто-нибудь принесет нам, — сказал я. Мне и впрямь почудилось, что она вдруг уйдет и больше никогда ничего не скажет.

Галя набрала номер:

— Анастасия Ильинична, будьте добры, принесите в кабинет главного зоотехника бутылочку чернил. Для авторучки. — Она спросила у меня, прикрыв рукой микрофон: — Фиолетовых или синих?

— Синих.

И пока несли из отдела кадров чернила, мы сидели и молчали. Мне показалось, прошла вечность, пока несли чернила... Вот что показала Галя Линева:

«...В июне на летние каникулы приехала моя подруга Люба Шульга, которая учится на втором курсе Томского университета. Как-то она зашла ко мне на работу в контору и увидела там главного агронома Николая Гордеевича Ильина и попросила меня познакомить ее с ним. Он ей понравился. И чтобы они могли ближе подружиться, мы договорились с Любой устроить восьмого июля у нее дома вечеринку, как будто по случаю ее дня рождения, куда пригласить и Николая Гордеевича. Приглашен был также и Рудик Швандеров, который работал в совхозе в бригаде студентов-строителей. Мы пришли с Рудиком часов в семь. Дома у Любы никого не было. Ее отец и мать уехали в Североозерск.

Николай Гордеевич приехал на мотоцикле около десяти ча-

сов, привез бутылку шампанского и шоколадный набор. Он извинился, что задержался на работе. Мы сидели приблизительно до часу ночи. Слушали пластинки, немного танцевали. Когда мы с Рудиком собрались уходить, то увидели, что Николай Гордеевич уснул прямо сидя на диване. Люба сказала, что будить его не надо, пусть немного отдохнет. Мы со Швандеровым ушли, а Ильин остался. На следующий день Люба рассказала, что Ильина она не будила. Он, по ее словам, проснулся часов в пять и тут же уехал...»

После протокола мы еще говорили с Галей «не для протокола».

Девушкой Ильин так по-настоящему и не увлекся, хотя Люба страдала по нему. Щекотливость ситуации мне была понятна. Обстоятельство усугублялось тем, что отец Любы — секретарь партбюро совхоза... Провести ночь один на один с девушкой... Для деревни слишком предосудительно. Поэтому Ильин и молчал.

Я подумал, что у Гали была и своя причина таиться. За два месяца до свадьбы прийти с приезжим студентом к подруге, провести у нее с ним чуть ли не всю ночь... Наверное, Женя Линев очень ревнив...

Насколько в деталях правдивы показания Гали, судить трудно. Главное, алиби Ильина как будто бы доказано.

Я злился на Ильина и понимал причину его скрытности. Прямо рыцарь из романов Дюма.

Я заверил Галю, что сведения, которые она сообщила, не узнает никто, кому знать не следует. В том числе и ее муж...

Показания Линевой подтвердил тот самый Шавырин, сосед Савелия Фомича, которого сторож просил меня вызвать на допрос.

Шавырин работал истопником в бане. В четыре часа утра девятого июля он шел «разводить пары». Возле двора секретаря партбюро стоял мотоцикл с коляской. По всем приметам — главного агронома.

Странно только, что истопник был до того перепуган, что я едва не заподозрил его в нечестности. Вдруг Шавырина подговорили? С виду он какой-то пришибленный, согнутый, в латаных валенках, в старой, потертой фуфайке...

Не дожидаясь ответа Томской прокуратуры, которая должна была по моей срочной просьбе допросить Любу Шульгу и Рудика Швандерова, я вызвал Ильина.

Забегая вперед, скажу, что Люба и Рудик, за исключением незначительных деталей, рассказали то же, что и Линева...

Когда явился Ильин, я без всякого предисловия спросил его:

— В котором часу вы ушли из дома Шульги?

— В четыре семнадцать, — ответил он, даже не моргнув.

— Почему такая точность?

— Когда проснулся, посмотрел на часы.

— Почему вы отказывались сообщить о таком важном факте? Это же ваше алиби.

— Вы его доказали сами. — На лице Ильина промелькнула усмешка. А может, удовлетворение.

— Если уж заниматься казуистикой, то вы, кажется, давали подписку о том, что несете ответственность за дачу заведомо ложных показаний... Значит, обманывали, когда говорили, что не помните, где провели ночь с восьмого на девятое июля. — Он хотел что-то вставить, но я его остановил: — Вы все помните. Четыре семнадцать....

— В этом вопросе я готов признать свою вину.

Я отложил ручку:

— Николай Гордеевич, вы, кажется, альпинист?

— Бывший. Уже года четыре как не ездил в альплагерь. Да и не знаю, когда теперь выберу время. Наверное, уже дисквалифицировался...

— Хорошо, все равно поймете. Как это у вас называется — идти в связке?

— Да, так.

— Представьте себе, что один из альпинистов решил вдруг на самом опасном месте, так сказать, выбыть из связки. Обрезать веревку, связывающую его с товарищами. Как это называется?

— Самоубийство, — сказал он спокойно.

— По отношению к себе — да. А каково остальным?

— Могут погибнуть тоже. Смотря каким он идет.

— Теперь вы можете понять, чего стоило ваше молчание? Из всей картины жизни Ани выпадало одно звено, вы...

— Но ведь я...

— Подождите, дайте мне закончить. Чтобы доказать вашу невиновность, у меня ушло много времени. Понимаете, может, по вашей вине где-то совершено еще одно преступление. Я вас не пугаю. И говорю самым серьезным образом. — Я замолчал.

— Мне казалось, что мое... наши отношения с Аней сугубо личные и к делу не относятся. Да какие там были отношения... — Он махнул рукой.

— Николай Гордеевич, вы же не знаете, что такое работа следователя. Вы не специалист. Представьте себе, вам, главному агроному, который из многих составных должен найти неизвестное, ответить на вопрос, когда и что сеять, метеорологи дают неправильную сводку или вообще молчат. Гадай, мол, сам. В какое положение вас поставили бы, а? Вот и вы за меня решили, что я должен знать, а чего нет.

Ильин передернул плечами. Разговор задел его за живое.

— Откровенно хотите?

— Опять за свое. Я вас упрекаю за неоткровенность, а вы...

— Мне казалось, вы меня ловите на чем-то...

— Недаром говорят, если ничего не можешь придумать лучше правды, говори только ее... Ведь вы были близким Ане человеком. Во всяком случае, понимающим и любящим. Находились рядом в тяжелое время...

— Давайте не будем об этом, — прервал меня Ильин. —

Да, у меня все не выходило из головы, помните, вы говорили, будто я ночевал у Ани, помните? Прямо как хозяин в своей квартире. Та история, ну, когда я утром умывался. Вспомнил я. Действительно, умывался. После того как наколол дров... но ведь вы бы мне не поверили...

— Почему же? Неужели вы думаете, что я не умею отличить правду от лжи? Тогда грош бы мне цена в базарный день... Если уж откровенничать, — улыбнулся я, — вам я действительно раньше мало верил. Сейчас склонен больше.

Он невесело усмехнулся:

— Значит, не до конца...

— А ведь вы действительно мне не все еще открыли.

— Что я должен еще рассказать? — нахмурился Ильин.

— Хотя бы то, зачем вы встречались с Аней в кафе. За бутылкой сухого вина...

— Я люблю иногда выпить стакан сухого. У нас дома на Кубани свой виноградник. И домашнее вино подается к обеду, как, например, лимонад или квас...

— Так вы встретились случайно?

— В Североозерске — да. А потом пошли перекусить.

— И о чем вы беседовали?

— Игорь Андреевич, прошу вас, не надо. — Впервые у него были умоляющие глаза. — Это действительно сугубо личное. — Он вздохнул. — Что могло быть, чего не могло... Вот о чем мы говорили.

И опять стена. Единственное, что я выяснил, так это то, что во время разговора ни о ком, даже о своем муже, не говоря уже о третьем лице, Аня не вспоминала.

Я решил не бередить его память. А к воспоминаниям об Ане Ильин относился свято.

Итак, из числа подозреваемых он был вычеркнут. Но как фигура в игре пока нет.

Самой загадочной, самой важной для раскрытия истины фигурой мне представлялся теперь «коробейник». Действительно, приезд его в Крылатое предшествовал тревожному состоянию Залесской, а потом наступила ее смерть.

Слишком загадочный он человек. Я ловил себя на мысли, а не завораживает ли меня именно эта загадочность? Если это пустой ход, как говорят изыскатели, «бросовый»? Но все же его приезд настораживал. «Коробейник» явился к Залесским с определенной целью. При этом хотел остаться незамеченным. С честными намерениями приезжают открыто.

Ночной визит был очень важен для гостя. Появление его было неожиданным для Залесских. Во-первых, в Крылатое он приехал впервые. Если б не впервые, то зачем ему называть шоферу адрес? Он бы сам показал дорогу или сошел в другом месте, на шоссе. Во-вторых, знай о его приезде супруги, Валерий уж, во всяком случае, встретил бы его непременно. И скорее всего в Североозерске, принимая во внимание то обстоятельство, что приезд гостя пытались скрыть.

Зачем он приезжал? Почему так таинственно и скоропалительно уехал? При этом он знал, что его визит продлится буквально несколько часов.

«Коробейник» посещал супругов раньше («Опять этот тип приехал»). Может быть, в Вышегодске? Нигде больше Валерий и Аня вместе не жили.

И еще я много думал о предсмертном письме, которое, ей-богу, лучше бы не существовало вовсе. Только все запутывало.

Письмо бросалось в глаза при первом знакомстве с делом. На него обратил внимание и Иван Васильевич, судя по отметкам карандашом. Оно мало походило на обычные записки, оставляемые теми, кто в порыве отчаяния или депрессии лишал себя жизни. Как правило, предсмертные письма несут на себе печать душевного расстройства. Слова положены на бумагу неровно, мысли неясные, лихорадочные, обрывистые. И мало фраз. Конечно, случаются и обстоятельные объяснения, но чрезвычайно редко.

Последнее письмо Ани Залесской, странное и необычное для самоубийцы, держало меня в состоянии недоверия и поиска. И до сих пор смущало ум, вносило путаницу в любые мои построения, оставаясь непостижимым.

Во всяком случае, сидение в Крылатом себя исчерпало. Надо расширять географию своих действий. Первое — постараться отыскать ночного гостя Залесских. Второе — более тщательно исследовать это злополучное письмо. Как говорится, во всех ракурсах. А это можно было сделать только в Москве. И вот я решил отправиться в столицу...

До Североозерска мы с Ищенко ехали вместе. В машине у нас произошел любопытный разговор.

— Между прочим, — сказала она, — дочь Савелия Фомича, Клава Шамота, работает на кроликовой ферме...

Я уже достаточно изучил старшего лейтенанта. Она мне никогда не сообщает того, что не имеет никакого отношения к нашей работе. И главное, я теперь разбирался в интонации моего помощника. О дочери сторожа она сказала как-то туманно.

— Ну и что? — спросил я, не понимая сначала, куда клонит Серафима Карповна, но чувствуя подвох.

— Работает недавно. Кролики в совхозе — новое дело...

— Молодец все-таки Мурзин. Еще одна статья дохода в хозяйстве.

— Я слышала, большие потери...

— Кролики, я читал, очень подвержены всяким болезням. Очень капризное животное.

— Да нет, болезни, говорят, опять же здесь ни при чем... Мясо у них вкусное. Да и шкурки красивые... Клаву заметили на североозерском базаре.

Больше она ничего не сказала. Но и этого для меня было достаточно. Я вспомнил вечер, когда, расчувствовавшись и размякнув от «Степной украинской», нахваливал жаркое, которым с такой охотой угощал меня сторож. Шапку из кролика...

Можно поздравить достопочтенного следователя. Представляю, если бы финал состоялся в народном суде. Советник юстиции Чикуров проходит свидетелем. В качестве ценителя жареного кролика «по-крылатовски» и обладателя шапки из ворованного материала.

Но Серафима Карповна преподнесла мне еще один сюрприз:

— Говорят, Савелий Фомич свой забор переставил. Всего метра на полтора. Глядишь, почти полсотки у соседа оттяпал...

— У Шавырина? — спросил я.

— У него, — Ищенко улыбнулась. — Вы тоже знаете?

Что мне было отвечать? Теперь-то я понял, почему хитрый старик просил вызвать в качестве свидетеля своего соседа. Запугать. И почему тот так боялся на допросе. Ну и жох этот Савелий Фомич! И подъехал как: чаек с мятой, сочувствие, лекарствами народными соблазнял... Это ж надо: из ничего пытался создать себе положение! Разносил повестки...

— Мои смеялись, — продолжала старший лейтенант. «Мои» — это у кого она останавливалась. — Он в жизни в поле не выходил. То почтальоном, то банщиком, то сторожем... Все удивляются, за что ему дирекция премию выдала...

Короче, окрутил меня Савелий Фомич вокруг пальца.

— А вы хоть Линеву рассказали про Клаву Шамоту? — спросил я.

— А это он мне сам рассказал.

Я дал себе слово, если опять надо будет ехать в Крылатое, от услуг сторожа отказаться насовсем...

Через две недели — Новый год. Московские магазины принарядились. Везде елочки, от крохотных, сантиметров десять-пятнадцать, до больших, во всю вышину зеркальных витрин, украшенные ватным снегом, завесой переливающегося дождя. Елки были большей частью искусственные, но до того увешаны стеклянными шарами, бусами, фигурками зверей, что в сверкающей мишуре и впрямь походили на настоящие... На меня особое впечатление производили деревца целиком из блестящей фольги. Казалось, притронься к ним, и они зашелестят, зазвенят. Я знал, что не принято уже восторгаться поделками нашего супериндустриального века, что елка из лесу ценится куда выше, но ничего с собой поделать не мог. Видимо, из жизни в Скопине, где все всегда было только натуральным, всамделишным, вынес тайную мечту о городских игрушках, которых у меня не было. Мои сверстники, дети военных и послевоенных лет, помнят елочные украшения, сделанные своими руками. Бумажные фонарики, хлопушки. И цепи. Бумагу для них мы тоже красили сами.

По-моему, никакой другой город так не украшается к новогоднему празднику, как Москва. Этот праздник, мой самый любимый, в столице я чаще всего проводил скучно и впопыхах.

В Москве я находился к отчему дому ближе, чем когда бы то ни было, но ни разу не выбрался на Новый год в Скопин, хотя мечтал об этом еще с первого курса консерватории. Удалось бы уговорить Надю поехать туда, посидеть за столом с моими родителями, братом, наесться до отвала пирогов и солений, на которые горазда мать, а потом, когда уже пройдет торжественный час, и впереди снова забрезжит триста шестьдесят пять дней, и будет спокойно и весело от этого, выйти на снежную улицу, пройтись вдоль домов, не засыпающих в эту ночь до утра, и счастливо поздравлять соседей, которые обязательно высыплют посмотреть на звездное небо. А то еще лучше — задней калиткой выкатиться прямо в овраг и промчаться на санках до далекого дна так ухарски, чтобы выскочить на середину противоположного склона.

Интересно, катаются ли еще там в новогоднюю ночь мои земляки? Я бы обязательно вспомнил свою молодость...

О поездке с Надей в Скопин я подумал, когда она заговорила о том, что Новый год не хочет проводить одна. И вообще — прекрасный повод свести ее с моими родителями. Все равно это надо сделать, рано или поздно. Конечно, лучше всего в Новый год.

Я хотел сказать ей об этом при нашем первом разговоре сразу по приезде в Москву, но случай оказался совсем неподходящим.

Мой модельер-конструктор едва добрался до телефона:

— Игорь, дорогой, у нас дома настоящий лазарет. Гриппуем все.

Голос у нее был простуженный. Надя кашляла и говорила с французским прононсом. Заводить речь о поездке в Скопин, о новогоднем катании на санках и вообще о снежных развлечениях было бы издевкой.

— Давно у вас домашний госпиталь?

— Я уже забыла. Сначала мама, потом Кешка. Теперь я, а мама еще не встала. Ужас.

Я несмело предложил:

— Наденька, я мигом буду у вас. Может, купить что надо?

— Спасибо, Игорь. Дома все есть. Нас не забывают. Брат опекает. Я говорю ему: «Из просто брата ты превратился в медбрата...»

— Я приеду, — вырвалось у меня решительно.

— Нет-нет. Грипп. С этим не шутят. А ты вообще простужаешься легко.

Но я настоял на своем.

Мне хотелось чем-нибудь обрадовать Кешку, и я забежал в зоомагазин. Но там мне предложили лишь чучело куропатки и сушеного мотыля для корма рыб.

Короче, поехал на встречу с Надиным сыном без подарка.

У меня так всегда: самое важное, самое ожидаемое случается внезапно и в неудобное время.

Но цветы для будущей тещи я все-таки купил.

Открыла мне Надя. В халатике, но с хорошо уложенными волосами. Я потянулся поцеловать ее (в коридоре никого не было), она отстранилась:

— Не надо, схватишь грипп. Раздевайся, не шуми. Мама спит. Пойдем на кухню.

Это меня устраивало. Честно говоря — проголодался. Наконец-то придется отведать ее разносолов.

Кешка. Худенький мальчик в джинсах с иностранными нашивками. Большая голова на тоненькой шее. Совсем не Надины глаза. Круглые, черные, как сливы. Курчавые темные волосики. Он деловито помешивал ложкой какое-то варево в кастрюльке.

На стуле лежал сиамский кот. Гордый и ужасно брезгливый. Во всяком случае, он почти не смотрел на мою персону.

— Кеша, познакомься с дядей Игорем, — сказала Надя, складывая апельсины в ажурную вазочку.

Мальчик протянул мне левую руку (в правой он держал ложку) и спросил:

— Вы следователь по особо важным делам?

— Я самый.

— Есть с нами будете?

— С удовольствием, — ответил я, удивляясь его взрослой манере держаться.

— Хочешь вымыть руки? — предложила Надя и показала мне ванную. Расположение ее я знал и сам. Как у меня. Как в сотнях, тысячах квартир в Москве.

Вытирая руки полотенцем, я лихорадочно обдумывал, что бы рассказать Кешке. Какое-нибудь дело? Или экспертизу? Но в голову ничего не шло.

Я вернулся к столу. Надя поставила передо мной тарелку... покупных пельменей, что варил Кешка.

Может быть, по случаю болезни ей не до готовки? Наверное, так.

Во время еды послышался странный крик из комнаты. Я удивленно посмотрел на Надю. А она сказала сыну:

— Принеси Ахмеда. Разбудит бабушку.

Кешка ушел и вернулся с попугаем. Небольшой, не очень яркий, он все время наклонял голову, словно пытался что-то разглядеть.

— Какаду? — спросил я наугад.

— Лори, — ответил Кешка, сажая птицу на специально прибитую к стене жердочку. Попугай стал маршировать по ней то в одну, то в другую сторону, перехватывая прутик лапками. — Они самые способные к речи, — пояснил мальчик. — Вернее, к звукоподражанию. Они ведь не понимают, что произносят.

— Он уже много знает слов?

— Двенадцать. — Кешка подошел к птице, легонько постучал по жердочке. — Ахмед, здравствуй. Здравствуй, Ахмед.

Лори косил на него глаз и перебирал крыльями.

— Здравствуй, Ахмед, — сказала Надя.

Попугай раскрыл клюв и произнес:

— Х-р-р-ш-о.

— Это значит «хорошо», — перевел Кешка.

— Ну а как у тебя дела с удавом? — поинтересовался я, чтобы показать осведомленность о его желаниях.

— Я уже договорился с одним человеком поменяться. Он из Индии приехал. Да бабушка против, — вздохнул Кешка.

— Хороший удав?

— Да, очень красивый горный питон. Они, понимаете, не очень большие... Может, еще уговорю бабушку.

— А что ты предлагал в обмен?

— Макаку-резус.

Я невольно оглянулся:

— У вас, значит, обезьяна живет? Ты, Надя, ничего об этом не говорила.

— Нет, не живет, — ответил за нее сын. — Но папа обещал привезти, как только я попрошу. Он часто летает в Гавану. Через Африку.

При упоминании об отце мне сделалось неуютно. Разговаривая с Кешкой, я не выпускал из поля зрения и Надю. Она молчала. Как мне показалось, наблюдала.

Мы кончили есть. Надя занялась посудой. И я видел теперь только ее спину.

— Да, животные — это очень интересно, — сказал я, чтобы как-то перехватить нить разговора и увлечь Кешку. — Особенно в век техники, урбанизации. Я читал где-то, что теперь львов ввозят не из Африки в Европу, а наоборот. Разводят в зоопарках и потом выпускают на волю, в привычные условия.

— Это только опыты, — рассудительно произнес мальчик. — Звери, рожденные в зоопарке, не умеют добывать себе пищу. И большей частью гибнут на воле.

Надя неожиданно повернулась:

— Может, вы пройдете в столовую? Кеша, пригласи дядю Игоря. Неудобно на кухне...

— Нет, — запротестовал я. — Здесь уютней. Да и не разбудить бы Варвару Григорьевну...

На самом деле я еще не решался оставаться с Кешкой наедине. При Наде мне было легче с ним общаться.

— Ну смотри, — ответила она.

— Техникой ты не увлекаешься? — спросил я Кешку.

Он отрицательно покачал головой.

— Книгами?

— О животных.

— А приключенческой литературой, детективами? — Мне надо было перекинуть мостик в область, где я был на коне.

Мальчик состроил кислую рожицу и протянул:

— Ску-ушно... Все равно знаешь, чем все кончится, а преступника поймают.

Надя опять повернулась и улыбнулась мне.

— В книгах, наверное, так. А вот я, например, могу рассказать случай, когда преступник не был найден.

Мальчик пожал худенькими плечами:

— Это, наверное, тоже скушно. — И без всякого перехода сказал: — А вы давно были в зоопарке?

— В общем, давненько.

— Теперь там и ткачики есть. Папа мне обещал привезти. Очень интересные птицы...

Но о ткачиках я так и не узнал. В коридоре позвонили.

— Кеш, открой, это медсестра. Проводи к бабушке. — Мальчик вышел. — Вот видишь, Игорек, прямо лазарет... Сейчас уколы маме будут делать, банки ставить... Ты посиди, поговори с Кешкой, а я минут через десять освобожусь. Надо помочь. Не обижаешься?

— Ну что ты! Ты уж прости, навязался не ко времени... Знаешь, Надя, я пойду.

— Посиди... — Большой настойчивости в ее голосе я не заметил.

— Пойду, — решительно поднялся я.

В коридоре она спросила:

— Как тебе Кешка?

— Смышленый парень. Люблю увлеченных людей.

— Звони. Хорошо? — Она, забыв о гриппе, чмокнула меня в щеку.

— Обязательно. Привет Варваре Григорьевне.

Я надел пальто.

— Кеша! — позвала Надя. Мальчик вышел в коридор. — Попрощайся с дядей Игорем.

Он протянул мне руку:

— До свидания. Заходите.

И по этому «заходите» я понял, что мой приход не произвел на Кешку никакого впечатления. Не смог я его заинтересовать. Может быть, я слишком настойчиво предлагал дружбу? Ладно, надо положиться на время... А вдруг не получится у нас этой дружбы?

Чтобы как-то отвлечься от этих размышлений, я позвонил Ивану Васильевичу. Дела — моя работа и мой отдых.

— Чикуров? Голубчик, как это вы догадались позвонить мне именно сегодня? Я приезжаю в Москву раз в полмесяца, и то на час-другой. Хотите встретиться? Ради бога, приезжайте. Жду. Только помните, вечером я снова уезжаю на дачу.

На дверях моего бывшего шефа была приколота записка. Я немного опоздал и расстроился, увидев ее. Она, конечно же, предназначалась мне. Наверное, с дурными вестями — Иван Васильевич не смог ждать. Но тут мне повезло больше. «Игорь Андреевич, спустился буквально на минуточку в магазин. Вам откроют соседи слева, я предупредил». Не успел я дочитать послание, как внизу хлопнула дверь. Иван Васильевич поднял-

ся по лестнице с большой кожаной хозяйственной сумкой почти бегом.

— Заждались? — спросил он, опуская ношу на пол. На нем была куртка из синтетики на меху, с капюшоном, откинутым на плечи, фетровые с кожей бурки, толстые вязаные варежки. Я удивился: полутурист-полусторож. Единственное, что осталось от прежнего подтянутого заместителя прокурора республики, — меховая шапка пирожком из серебристой нерпы.

Но никогда прежде я не видел его таким молодым, розовощеким и крепким.

— Совсем не ждал. Только-только подошел, — сказал я, берясь за ручки сумки, собираясь помочь хозяину, когда тот открывал замок. Поклажа весила не меньше пуда.

— Э, голубчик, не балуйте меня. Я с такими грузами променады закатываю — не всякому молодому одолеть.

— Приличная сумочка, — подтвердил я, внося ее в прихожую.

— Тут и половины не будет, — засмеялся Иван Васильевич. Он толкнул дверь в кухню. На столе стоял туго набитый походный рюкзак. — Вот стоит, родимый. Мамаша называет его фараоном. Но думаю, фараоны весили гораздо меньше... Еду к маме, на дачу. Раздевайтесь, будьте как дома.

Он скинул куртку и остался в мохнатом сером свитере с высоким отложным воротником. Я был совершенно уверен, что вязала его Екатерина Павловна.

Мы прошли в комнаты, где ничего не изменилось с моего первого посещения. Я первым делом поинтересовался здоровьем его матери.

— Превосходно! Лучше быть не может. Вы знаете, такое это чудо — дача.

— Представляю...

— Нет, не представляете. Вы знаете летнюю дачу. Суррогат отдыха. Комары, жара или беспросветные дожди. Запомните: нет ничего лучше зимнего отдыха. И обязательно — самому колоть дрова, топить печь, ходить по воду к колодцу. Я уж не говорю — таскать «фараон» в мороз. А зимний лес! Тишина, чистота. Какой колорит, какое освещение! Готовые пейзажи.

— Ваш вид — лучшая реклама, — сказал я.

Иван Васильевич провел ладонями по раскрасневшимся щекам, которые в тепле еще больше разрумянились:

— Отъел, хотите сказать...

— Нет, поздоровели. И помолодели.

— Ну, Чикуров, давай подхалимаж в сторону.

— Я серьезно.

— С другой стороны, какой резон тебе теперь мне комплименты отвешивать? — Он засмеялся.

— Может, есть...

— Интересно.

— А вдруг вы снова, как говорится, вернетесь в строй?

— Нет, Игорь Андреевич, такого не будет.

— Все не бывает до тех пор, пока не случается. Ваши же слова.

Он покачал головой:

— Конечно, может и наскучить сидеть дома без дела, которым занимался всю жизнь. Пойду в какие-нибудь референты, консультанты... Не знаю. — Он вдруг подозрительно посмотрел на меня. — А что ты об этом?

— Просто так.

— Что-нибудь говорят у нас?

— Ну что вы! Ничего не говорят. Конечно, кое-кто удивлен. В расцвете сил...

Иван Васильевич улыбнулся:

— Расцвет сил, расцвет сил. Иди знай, когда он начинается и когда кончается. Как говорят артисты: самое главное — уйти со сцены вовремя. Пока не освистали... Раз уж зашла об этом речь, признаюсь: не последнюю роль в моем решении сыграла мама. Да, да, не удивляйся. Не подумай, что она уговаривала меня, нет. Но я видел, чувствовал — одиноко ей, тоскливо. Особенно теперь, после того, как она перенесла операцию. Должность мою знаешь: командировки, почти ежедневная работа по вечерам. А Екатерина Павловна все время одна, в четырех стенах. Человек она тонкий, наверное, талантливый, я в живописи не очень разбираюсь. Мне ее работы нравятся. Когда-то и у нее были друзья, интересы. Когда за восемьдесят — друзей остается мало, многие уже ушли из жизни, да и старческие недуги — большая помеха для общения. Некоторые умеют выдерживать одиночество, некоторые не умеют. Особенно те, кто всю жизнь был общительным и пользовался расположением других. Старость, дорогой Игорь Андреевич, — неизведанная страна. Молодым неинтересная. О ней в ваши годы никто не думает, никто не верит, что останется одинок, потому что не хочет верить.

Иван Васильевич замолчал. Молчал и я. Он осветил сокровенный уголок своей жизни. Обсуждать это было нетактично. Да и что я мог сказать? Хозяин неожиданно заговорил совсем о другом. Собственно, о том, зачем я пришел. О делах.

— Ну, что новенького? Крылатовское дело продвинулось?

— С мертвой точки, кажется, сошли.

— Скромничаешь или действительно успехи невелики? Я разговаривал с Яшиным. Кстати, как он тебе показался?

— Очень опытный эксперт. Свое дело сделал блестяще. Чем, увы, не могу похвастаться я.

— Та-ак, — протянул Иван Васильевич. — Вы исследовали письмо?

— Написано Залесской. Это подтвердила и повторная графологическая экспертиза.

— Кажется, в этом сомнений не было.

— Веду следствие, словно до меня его никто не проводил, —

напомнил я с улыбкой слова самого Ивана Васильевича при получении крылатовского дела.

Он же серьезно сказал:

— Лишняя проверка, конечно, не помешала. Особенно после повторной судмедэкспертизы. Но буквально меня понимать не следовало. Нужен совершенно другой взгляд на событие, на взаимоотношения людей. Истина, казавшаяся для всех неоспоримой, может быть на самом деле не истиной. Я недавно одну любопытную статейку про художников прочел. Какой, например, цвет тумана?

— Туман есть туман. Белесый... Нет, скорее серый. — Я вспомнил московские осенние утренники, серую промозглую мглу.

— Самые туманные туманы в Лондоне, это уже истина. Значит, самые серые. Так их и изображали художники. Даже был в Англии певец лондонских туманов Джозеф Тернер. А Моне взял и написал его розовым. И что ты думаешь? Пошумела критика, газеты, и все-таки признали.

— У художников есть свои излюбленные цвета. Врубель, например, тяготел к голубому и синему.

— Нет. В Лондоне действительно туманы розовые. И по очень простой причине. От красного кирпича, из которого в основном были построены здания. И от печного отопления. Уголь, искры. Казалось бы, Моне, импрессионист, фантазия красок. На поверку — открыл реальную зависимость. А лучше сказать — увидел.

— Мне трудно спорить, я не знаток.

— Думаешь, я знаток? — засмеялся Иван Васильевич. — Поневоле начнешь кое в чем разбираться, когда тебя это окружает. — И неожиданно спросил: — Кстати, ты не можешь достать набор цветных японских фломастеров? Может, кто из знакомых бывает за границей?

Я хотел сказать: только бывший муж моей будущей жены...

— Нет.

— Жаль. Отличная, говорят, вещь для набросков. Особенно на холоде. Мама увлеклась зимним пейзажем. — На его лице промелькнула извинительная улыбка. — Видишь, что теперь меня занимает?

— Это огромный мир, — сказал я многозначительно.

Но Иван Васильевич понял не так:

— Не говори! Достать хорошие кисти, холст, заказать нужный багет... Одним словом, серьезное мероприятие.

Бывший зампрокурора задумался. Мне начало казаться, что ничего путного из нашей встречи не выйдет. Его мысли совсем о другом. Какое там убийство, какое следствие...

Иван Васильевич поднялся:

— Ну вот что. Чувствую, разговор будет большой. Пойдем-ка на кухню, чайку попьем. И спокойненько потолкуем. — Потом добавил, словно перед кем-то оправдываясь: — Не маленький, приеду на два-три часа позже...

На кухне мы разговорились по-настоящему.

— Сомнительно, стоило ли приплетать к убийству Залесской Данилова-Савчука, — сказал он, выслушав до конца.

— Почему же. Он подозревается в убийстве, ведет себя странным образом...

— Естественно. Человек скрывается, боится своей собственной тени.

— Исчез на следующий день...

— Элементарно сдрейфил. В деревне что-то случилось. И он дал тягу. Свистните посреди улицы в милицейский свисток. Кто попытается скрыться? Преступник. Хотя, может быть, совершил преступление десять лет назад. Это не довод.

— Он бывал у Залесских...

— Ну и что? Голубчик мой, представь себе ситуацию: беременная женщина, вот с таким животом. Ну что может быть между ней и этим парнем? Глупость. Я понимаю, убить с целью грабежа. Нет его, грабежа-то.

— Так ведь и официантка в Алма-Ате убита не с целью ограбления. Может, он просто психопат.

— Нет и еще раз нет, — категорически отрезал Иван Васильевич. — На убийство в психопатическом состоянии это не похоже. Вы плохо слушали лекции по судебной психиатрии. Более того, Яшин все разложил вам по полочкам. Обратите внимание, как убийца все рассчитал, стервец. Милицию обманул, врача, следователя. А ты говоришь — психопат, истерик...

Мой бывший шеф был в ударе. И хотя говорил резко, такая беседа меня устраивала.

— Но проверить все-таки надо было, — попытался оправдаться я.

— Надо. Проверил, не сходится — со счетов этого Данилова-Савчука. Поехали дальше. Теперь об этих двух гавриках, крепко спавших в ночь убийства. О Коломойцеве и Залесском. Алиби. Ничего не поделаешь. — Иван Васильевич посмотрел на меня выжидательно.

— Думал, не беспокойтесь, — сказал я, упреждая новый натиск. Но натиска не последовало.

Он раздумчиво признес:

— Мотивы... Какие у них могли быть мотивы? Но ведь и не придумаешь...

— Выдумывать нельзя. Надо знать точно.

— Все это верно. — Иван Васильевич продолжал обдумывать какую-то мысль. — Один — алкоголик, опустившийся человек...

— Безвольный Коломойцев человек. Трусоват. Аню побаивался.

— Это ничего не значит. Есть такие, терпят, терпят, а потом с отчаяния натворят бог знает что. На пьяную голову мелочь может показаться чуть ли не смертельной обидой. Сколько случаев, когда пьяные не помнят, что совершили.

— А кровь? На одежде, на руках.

— И отмоют, и затрут, и выстирают, но все равно не вспо-

мнят. Игорь Андреевич, — вдруг встрепенулся он, — ты не поговорил с его хозяйкой, не было ли у него когда-нибудь что-то вроде сомнамбулического состояния?

— Разумеется, спрашивал. Как выпьет — сразу доберется до постели и спит.

— Не бродит, не возникает идеи сделать что-нибудь?

— Спит как мыша, — вспомнил я выражение Матюшиной.

— Не лечился от запоев?

— Пока нет. Думаю, допьется...

— А что в совхозе смотрят?

— Там ли только?

— Верно, верно... Да, жаль, — сказал он. И было трудно понять, относилось это к тому, что Коломойцева не подвергли принудительному лечению, или к тому, что парень не страдал навязчивыми идеями при патологическом опьянении, что давало бы возможность развить эту версию... —А ну-ка посмотрим, что супруг любезный? Говоришь, ветреный человек? Без царя в голове?

— Летун, — подтвердил я. — Но свои грехи не очень-то пытается скрыть. Может быть, даже перед кем-то и гордится. Если прячут — хуже.

— Что в лоб, что по лбу. Подать свои пороки покрасивее — это, конечно, мозгами шевелить надо. Но суть остается.

— Любила его Аня.

— Не характеристика человеку. Любят и подлецов, и проходимцев, и даже убийц. Как ОН к ней относился, вот в чем дело.

— Подумайте, зачем Залесскому возвращаться к жене через столько лет? Никто его за уши не тянул.

— Разумеется. Может, она стала ему мешать?

— Допустим. Тогда он ноги в руки и подался в бега. У него это недолго.

— А второй ребенок?

— А первый? — в тон ему спросил я. — О первом он не думал. Более того, ну, убил он жену и этим только бы связал себе руки. Мальчик-то на его шее...

— У родителей.

— Так ведь возраст у них какой? Ну, еще пять-десять лет, а там скажут: сын твой, тебе и воспитывать.

— Кстати, где сейчас Залесский?

— В Одессе.

— Какие у вас личные впечатления?

— Я его сам еще не допрашивал.

Иван Васильевич внимательно посмотрел на меня:

— Объясни. Это интересно.

— Я вызвал его в Крылатое, но он лежит в больнице... Может, и хорошо...

— Хорошо, что лежит?

— Нет, что мы пока не встретились на допросе.

— Чем он болеет?

— Нервное потрясение... Понимаете, Иван Васильевич, он очень реальная фигура на роль убийцы.

— Понимаю, — кивнул бывший зампрокурора республики. И улыбнулся: — А я думал, боишься, что его папаша снова телегу накатает.

— Не этого я боюсь. А что папаша адвокат — принимаю во внимание. Сын далеко не глуп. И по-моему, искушен в юриспруденции. У него алиби...

— Отлучиться из дома своего дружка среди ночи — пара пустяков.

— Но у меня нет никаких фактов!

— Допрос, если его с умом...

— Нет, Иван Васильевич. Я думал об этом. С Залесским надо разговаривать, имея очень веские и убедительные улики. А их нет! У меня такое ощущение, что, если я сейчас решусь на его допрос, он увидит это. Не хочу рисковать. Если хотите, не имею права.

— Так-так, — задумался Иван Васильевич. — А за что он мог ее убить?

— Думаю...

— Ревность исключаешь?

— Совершенно исключено.

Он подумал. Кивнул:

— Я согласен. Не та птица... Но возможно, еще что-нибудь? — неуверенно спросил он.

Я улыбнулся:

— Вот над этим «еще что-нибудь» я и бился столько времени. И нет ничего. Более того, я глубоко убежден, что Аня очень подходила ему. Не знаю, подходил ли он ей, а если любила, выходит, жаловала и могла позволить Валерию и дальше любые чудачества, за это я ручаюсь. С другой стороны, в Крылатом за ним измен не знают. Прикладывался — это да...

— Жульничал. С билетами.

— Как посмотреть. А может, его подчиненный, Ципов? Наверняка сказать невозможно. И все равно она простила бы его в любом случае.

Иван Васильевич пожал плечами:

— Тебе должно знать лучше. Даром, что ли, столько времени ухлопал? И в душах русских женщин разбираешься, — он чуть усмехнулся. — Насколько я понимаю, есть еще одна загадка. Кто этот самый «коробейник» и зачем он приезжал к супругам? Да, чтобы не забыть. Ты упомянул, что до возвращения блудного отца в лоно семьи он торчал некоторое время в Москве. Из-за какой-то или у какой-то женщины. Было?

— Эти сведения получила Ищенко в Одессе.

— Эту женщину нашли?

— Пока нет. — Я почувствовал, что Иван Васильевич подбирается к уязвимому месту моих исследовательских действий.

— Сколько времени Залесский обретался в Москве?

— Около полугода.

— И ты прекрасно осведомлен, чем он занимался? — не удержался он от иронии.

— Здесь, в столице?

— И здесь.

— Здесь, честно говоря, не знаю. До этого работал в газете в Одессе, Львове, потом плавал. Сначала на внутренних линиях, потом за границу. Последние четыре месяца жил в Москве. Наверное, были деньги. У моряков часть зарплаты переводится на лицевой счет... Кончились деньги, поехал в Вышегодск.

— Скорее всего, именно поэтому, — согласился Иван Васильевич. И замолчал.

— Так мы говорили о «коробейнике»...

— К этому и веду.

— Хотите сказать, что через московскую приятельницу Залесского я мог выйти на «этого типа», как назвала его убитая?

— Отчасти. Тут может здорово повезти или не повезти совсем. Меня удивляет другое: ты прошел мимо такого важного момента, как пребывание Залесского в Москве. Чем он занимался в Одессе, Львове и так далее, известно. А вот почему его потянуло в столицу? С кем он здесь общался? Насколько я понимаю, решение вернуться к Ане возникло в Москве. В результате чего? Это очень серьезный шаг. Я бы даже сказал — отчаянный. Может быть, у него здесь что-то произошло? Вот тут, возможно, и выяснится, что же все-таки за человек этот Залесский. Правда, найдешь ли ты женщину, у которой он жил... Думаю, это невозможно...

— Занимаюсь этим, — не выдержал я. — Сделал запрос в паспортный стол. Может, Залесский был прописан временно...

— Хорошо. Очень хорошо. Ведь интересно, как проводит время молодой человек, нигде не работая, не имея ни близких, ни родственников в Москве. Если мы берем на вооружение женские души, они уж нашу, мужскую, чувствуют и понимают отлично. Какие планы были у Залесского здесь, какие намерения? Ведь ему пришлось по какой-то причине уехать все-таки из Москвы. Познав его характер, можно строить предположение, какую роль в его жизни играет «коробейник»... Ты сам что собираешься делать?

К его неожиданным вопросам я привык.

— Займусь «предсмертным» письмом. И приятельницей Залесского. Как только получу сведения от Ищенко, буду думать. Может быть, придется ехать в Одессу. Или еще куда.

Иван Васильевич молча кивнул головой. Это был жест одобрения.

— Ты ничего не знаешь о «коробейнике»... Во всяком случае, с какого он боку припека. Но направление мне импонирует. Письмо... Игорь Андреевич, исследуй его со всех сторон. Правдиво ли оно? Начать... Бросить и написать снова. Почему?

— Оно у меня самого как гвоздь в голове. Я знаю в нем каждую строчку, каждую букву. Вообще мне странно. Ухватиться за человека, который бросил ее когда-то. Вступить с ним

в брак, обрести мужа, отца своего ребенка — и изменять ему... Не могу я этого понять.

Мы засиделись до тех пор, пока Иван Васильевич вдруг не сказал:

— Вот что, голубчик. Говорить с тобой приятно. Но надо пожалеть мою старушку. Заждалась небось. Звони, звони почаще. У меня определенного графика нет. Кончаются продукты — я приезжаю. Сие зависит от аппетита. Скажу честно, думаю о твоих делах. Сдается, сейчас ты на правильном пути.

Распушить, «потрясти за грудки», а потом похвалить, если дело движется, — излюбленная манера Ивана Васильевича. Мы это называли тренировкой мозгов.

Я не удержался:

— Все-таки, Иван Васильевич, жаль... — Я недоговорил: «...что вы ушли на пенсию». Он понял сам. — Сколько еще пороху в пороховницах!

— Не береди старые раны, — шутливо погрозил бывший зампрокурора. — Они самые болезненные.

— У вас есть возможность еще здорово действовать.

— Какая?

— Писать, писать и еще раз писать. Сколько опыта, сколько случаев! Я же знаю, рвали все редакции на части...

Иван Васильевич махнул рукой:

— Теперь никто не звонит.

— Как же так?

Когда он был зампрокурора, то его буквально одолевали просьбами выступить по телевидению, по радио, консультировать кинофильмы. А редакции газет и журналов стремились заполучить от него хоть статейку, заметку, любой материал...

— Вот так, голубчик. Оказывается, нужен был не я, а вывеска. Вывески теперь нет. Простой персональный пенсионер. Ну а насчет писать... Признаюсь, пробую, пишу. Но это все равно не заменит живого дела.

Он замолчал, посмотрел грустно куда-то мимо меня. И я понял, что не все так полно в его жизни, как пытается представить Иван Васильевич. Хотя бы тот факт, с каким интересом он говорил со мной. Он словно угадал мои мысли.

— Но, видно, не так просто отделаться, — он улыбнулся. — Вот ты приходишь... Нет, я рад, честное слово. Кстати, Екатерина Павловна ждала тебя на седьмое ноября. Есть шансы оправдаться в ее глазах — Новый год. Запиши, кстати, адрес дачи...

Дело, начатое еще месяц назад, принесло неожиданно хорошие результаты. Я имею в виду просьбу к знакомым и просто знавшим Залесскую прислать ее письма.

Пришло немного. От одной школьной подруги, от Анфисы Семеновны, от подруг по работе в институте.

Совершенно неожиданно откликнулись Нырковы. То, что при-

слали они, было редкостной удачей. К увесистой посылке, которую мне передали из канцелярии, было приложено письмо.

«Уважаемый тов. Чикуров! Вы просили прислать вам письма, открытки или телеграммы, если мы получали от Ани. Мы ничего от нее не получали. Нам дали квартиру, а дом будут ломать. Когда мы собирали свои вещи, то на чердаке обнаружили старые Анины тетради. И решили послать вам. Не знаю, пригодятся ли. Извините за беспокойство. Г. Нырков».

Я развернул посылку. Стопка пожелтевших от времени тетрадей, школьных и общих.

Я взял наугад одну из них. Ученицы десятого класса «В» Ангелины Кирсановой. По литературе. Перелистал. Сочинение на тему «Образ нашего современника в произведениях Фадеева». Или еще: «От Павки Корчагина до Юрия Гагарина». Одна из общих тетрадей в ледериновой обложке — конспекты по курсу растениеводства. Наверное, лекции профессора Шаламова.

Так я просматривал их, пока не наткнулся на фразу: «В. мне очень нравится. Он нравится многим девчонкам в институте. Что происходит между нами, похоже это на настоящую л.? Не знаю. Если он пригласит меня в свою компанию на 1 Мая, значит, я ему нравлюсь серьезно...»

Дневник! Дневник Ани Залесской, когда она училась в сельскохозяйственном институте. Когда у них возникла любовь с Валерием. В. — это, несомненно, он...

Я углубился в чтение. Какая она была тогда, Аня? Я впервые по-настоящему прикоснулся к тому, что ее волновало, что заставляло радоваться или грустить, любить и ненавидеть. И поэтому старался не пропустить самое важное, что помогло бы понять, узнать ее характер.

Ясный ровный почерк. Совершенно такой же, каким было написано ее последнее письмо. Что меня поразило — простота выражения мыслей... Например, она писала: «29 мая. Только что ушел В. Слушали старые пластинки. В. говорил, что Хампердинк — очень современно, но иногда надо слушать Утесова. До войны люди были более сентиментальными и добрыми. А я считаю, после того, что все пережили и остались жить, надо быть лучше и добрее. В. удивляется, почему Н. перестал с ним здороваться. Не стала объяснять. Понятно и так. Вообще, жалею Н., но ничего поделать не могу. Сказала ему вчера, не надо на меня обижаться, мы можем быть всегда друзьями. Н. ответил: «Я не обижаюсь и не хочу ссориться». Но все-таки видно, что он на меня обижен. За что? Ведь мы никогда даже не целовались. Томка тоже дуется. Сказала, что сразу после сессии съедет от меня. Странно, нам с В. хорошо, а всем остальным плохо. Надо готовиться к сессии, а я читаю учебник и ничего не могу запомнить. Если завалю хоть один экзамен, плакала стипендия. Что тогда делать?! Лучше об этом не думать. И заставить себя заниматься».

Н. — Николай Ильин. Томка — это Анина однокурсница, из деревни, которая снимала у Залесской комнату. Выходит,

она также была влюблена в Валерия, поскольку увлечение Залесского будущей женой задело девушку за живое.

Дальше. «12 июня. Сдала растениеводство. На «хор». Думала, будет «уд». Но впереди — политэкономия. Боюсь страшно. В. заявился сегодня в пять утра. Принес большой букет ромашек. Он всю ночь не спал, был за городом, чтобы увидеть рассвет «в лугах». Сумасшедший. У него завтра почвоведение, а он ни в зуб ногой. Завалился спать. Пошли с Томкой на экзамен, оставив его одного в доме. В. хотел остаться на ночь, с трудом выпроводила. Очень неудобно перед Томкой. Еще подумает, что у нас любовь, совсем как у взрослых. Когда В. ушел, она разревелась. Кричала, что невозможно готовиться к экзаменам. Истеричка. Но что я сделаю, если В. любит меня? Я тоже. Очень. Только бы не завалить политэкономию. Если бы верила в бога, попросила бы крестную поставить свечку в церкви...»

Ситуация типично студенческая. Любовь и сессия. Но у Ани хватало здравого смысла проявить волю. А может быть — жизненная необходимость? Стипендия для нее — вопрос настолько важный, что пренебречь ею было нельзя.

«26 июня. Сессия позади. Проскочила. В. завалил экономику сельхоза. Переживаю больше его. Хвост, наверное, очень неприятная вещь. Все лето думать об этом. Томка уехала в деревню. Советовалась с крестной, где лучше подзаработать: пионервожатой в лагере или поехать в колхоз? Пока не решила. В. уедет на каникулы в Одессу. Мы еще не расстались, а хочется плакать. Сегодня они обмывают окончание сессии. Ходили по нашей улице геодезисты. Что-то измеряли. Хорошо бы, если бы нас к осени снесли. Здорово жить в новом доме, с горячей водой, паровым отоплением...»

Аня поверяла дневнику события своей жизни не каждый день. Наверное, в самые знаменательные дни.

Следующая запись — через неделю.

«В. продал заграничный транзистор. Я получила за лето стипендию. Живем! Он не пускает меня на заработки и в Одессу пока не едет. Можно хоть один раз наплевать на все и ни о чем не думать?! Была крестная. Предостерегала от необдуманного шага. Сначала, по ее мнению, надо сходить в загс. Смешная! Верю, знаю, В. никогда меня не бросит. Соседи думают, что мы уже расписались. В. сказал, что мы это сделаем обязательно. Завтра едем в Таллин. В свадебное путешествие. В. — замечательный. Ему ничего для меня не жалко...»

Насколько я понял, Залесский переехал к Ане. Любопытно, с кем и как они проводили время в Прибалтике.

«6 июля. Таллин — красивый, чистый город. Старинные средневековые улицы. Большой собор. Ночью — светло, можно читать книжку. Белые ночи. Устроил нас в гостиницу «Ранну» знакомый В., Генрих. Дали отдельный двухместный номер, хотя мы еще не расписались. В. спит. Очень хорошо посидели в ресторане «Палас». Все очень необычно и здорово. Никогда не

встречала таких умных и культурных людей, как Генрих. Он старше В. лет на пятнадцать. Наверное, хорошо зарабатывает...»

Меня охватило волнение. А что, если Генрих и «коробейник» одно и то же лицо?

«...Неужели все это происходит со мной?! Я счастлива, счастлива, счастлива! Хочется поцеловать В., но боюсь его разбудить...»

Удивительная непосредственность, искренность.

«10 июля. Ходили купаться в заливе. Вода холодная. В. говорит, что у них в Одессе море значительно теплее. Генрих возил нас на такси в Тарту. Тарту меньше Таллина, но такой же чистенький и уютный. В. сказал, что Генрих работает в порту по снабжению кораблей, которые уходят в загранплавание. Были дома у Генриха. Дорогая мебель, ковры, хрусталь. Слушали пластинки. Битлзы, Элла Фитцджеральд, Луи Армстронг. Потрясающе! Жарили в камине шашлык. В. читал свои стихи. Генрих собирает иконы...»

Неужели просто совпадение? Я старался не пропустить ни слова.

«...В. похвастал, что у меня тоже есть старинная икона. Имел в виду «Параскеву Пятницу», что подарила мне тетя Фиса. Смешно. Откуда у крестной может оказаться действительно редкая икона? Генрих заинтересовался. Пили через трубочки коктейли из высоких стаканов. Вкусно. Но потом болит голова. Генрих сказал, что завидует В. Он всю жизнь ищет такую девушку, как я, но пока не нашел. Приятно, когда о тебе так говорят. В. простыл. Чихает и кашляет. Мне нравится за ним ухаживать. Я все больше люблю его...»

Итак, скорее всего неизвестный гость Залесских и есть тот самый Генрих. Морские словечки, возможность приобрести иностранные безделушки у моряков, вернувшихся из заграничного плавания, интерес к иконам. Мои предположения, что он жил и работал в портовом городе, оправдались. Только это была не Одесса, а Таллин. Но где и как Залесский познакомился с Генрихом, оставалось неизвестным. Во всяком случае, в дневнике Ани об этом не сказано ни слова. Вполне может статься, что знакомство их началось в Одессе. Вполне. Точно утверждать это рискованно. И все же такую возможность я не исключал. Видать, «коробейник» очень благоволил к своему юному другу, если водил его по дорогим ресторанам, катал на такси в другой город и вообще проявлял такое расположение, которое допускается лишь при очень близких родственных или дружеских отношениях. А может быть, это аванс на будущее или плата за прошлое? Отец Залесского — адвокат, с очень солидной практикой и репутацией...

Но если все-таки родственник? Нет. В таком случае Аня обязательно упомянула бы об этом. Так уж принято — брат, сват, дальняя или близкая родня. Этого не скрывают.

Но что за личность Генрих? Мало ли чудаков на свете. Они

до самозабвения любят коллекционировать марки, ради редкого экземпляра аквариумной рыбки готовы мчаться в другой город или просаживают все свое время и деньги в тотализаторе на бегах. Это не значит, что страсть обязательно толкает на преступление. В плохих книжках сомнительные личности обязательно кутят в ресторанах, сорят деньгами, и если имеют хобби, то лишь ради нечестных махинаций. Подобные романы вызывают у меня недоумение.

По своей сути почти каждое преступление подразумевает скрытность. Этакие лихие молодчики, проматывающие награбленное при всем честном народе, давно уже канули в Лету. Как открытая проституция, налетчики, притоны, злачные места и подобные атрибуты прошлой, дореволюционной жизни. Это уже история. Если говорить о моем личном опыте, то большую часть преступников приходится искать в тщательно замаскированном быту, снаружи обыкновенном и ничем не выделяющемся. Между прочим, подпольное существование — уже наказание за содеянное. Правда, не для всех. Но для многих.

Подумаешь, Генрих угощал Аню и Валерия в ресторанах, приезжал за тысячи километров за приглянувшейся ему иконой... Это само по себе еще ничего не значило. Если бы...

Конечно, не произойди убийства в Крылатом, может быть, и не стоила бы внимания личность странного богатого холостяка, помешанного на иконах и иностранной мишуре.

Я вернулся к Аниным записям.

«20 июля. В. едет в Одессу. Говорит, надо сказать родителям. Он любит и уважает мать и отца. Жаль, моих нет. В. вызовет меня в Одессу. Боюсь, как меня встретят его родители...»

По всей видимости, Аня и Залесский уже в Вышегодске. Да, точно.

«Крестная хочет, чтобы мы зарегистрировались. Но мы решили — в Одессе. Как полагается, в день свадьбы. Голова идет кругом. Надо подумать о платье и туфлях. Наверное, лучше купить готовое. Еще крестная сказала, что мне положено сделать подарок жениху, а он — мне. Узнать бы точно. А кто покупает кольца? В. обсуждать это не хочет. Говорит, что в Одессе все сделает сам. Мой милый, любимый В.!»

Счастливый ребенок, да и только. Без тени сомнений и раздумий. Неужели Валерий так умел притвориться влюбленным? А если и он верил в то, что обещал? Сдается мне, верил. Ведь ему стукнуло двадцать лет... Ромашки, собранные на рассвете в лугах, романтическая поездка в Таллин, беспечность и бездумность. Нет денег — побоку транзисторный приемник, получил двойку на экзамене — чепуха...

«21 июля. В. уехал. Буду ждать от него телеграмму. Люблю. Люблю. Люблю».

Очень короткая запись. Сделанная на следующий день после предыдущей. Снова Аня вернулась к дневнику только 28 июля.

«От В. ничего нет. Забегал Генрих...»

Вот те раз!

«...Забегал Генрих. Сказал, проездом».

Странно. Вышегодск в стороне от магистральных дорог, сюда проездом не попадешь. Надо сворачивать специально. И уж никак не командировка, Генрих работал в порту...

«Выпили чаю, показала икону. Генрих сказал, что это очень старинная работа, не позже XIII — XIV века. Скорее всего псковская школа. Вообще, может быть. Крестная говорила, что «Параскева Пятница» досталась ей от матери, той — от своей. Это их семейная реликвия. Генрих предлагал за нее любые вещи...»

Опять вещи. «Коробейник» верен себе.

«...Но я ни за что не могу обидеть тетю Фису. Сколько она для меня сделала. Генрих уехал, передал В. привет и японские носки. Приглашал в Таллин. Написала письмо В. Чем больше дней его не вижу, тем больше о нем думаю. А как он? Наверное, так же».

Запись от 20 августа. Почти через месяц.

«Неужели В. не приедет? Наверное, родители против. В. обязательно приедет к началу учебы. До 1 сентября еще целых десять дней. Была в поликлинике. Кажется, беременная...»

И вот наконец последняя. 12 сентября.

«В. не приехал. Говорят, от него в деканат пришло письмо с просьбой отослать его документы в Одессу. Выходит, бросил институт... И меня. Что делать? Надо жить...»

Я перелистал всю тетрадь. Больше ни строчки. Ни единой. Странно и неожиданно оборвался Анин монолог.

Но почему? Снова и снова просматривая ее недлинную исповедь, я обнаружил закономерность: начало дневника совпало с зарождением их любви. Записи прекратились, когда она поняла, что Валерий не вернется.

Казалось бы, в горе возникает потребность излить душу. Здесь наоборот: только светлое, радостное заставило ее взяться за перо и попытаться запечатлеть свое состояние.

Вот я и узнал историю любви Ани и Валерия. Кроме того, я знал, что Валерий вернулся. Покаялся, женился, усыновил своего ребенка, увез Аню подальше от города, где она, по словам Анфисы Семеновны, «намыкала горюшка», и был, во всяком случае, верным мужем. Пусть не всегда путевым, но верным...

Может, надо было ему перебеситься, перебродить, возможно, тоже понять, почем фунт лиха? Или его действительно настроили родители против «неравного брака», а он, послушный телок, одумался лишь тогда, когда всерьез научился разбираться в отношениях между мужчиной и женщиной? А не сыграл ли основную роль Сергей, сын Залесского? Неисповедимы пути человеческих чувств. Слава, положение, деньги — все это в какой-то степени фантазия, производное от сущего. Ребенок — это уж серьезно.

Во всяком случае, для Нади... Прочтя дневник Ани, я отметил очень важное обстоятельство — ее стойкость.

«Надо жить» — последние слова в записях. Как призыв к себе. Причем в этой скупой фразе словно прочувствовано и понято, что предстоят испытания. И Залесская как бы дает клятву все выдержать.

С этим совершенно не вяжется утверждение Валерия, что Аня помышляла о самоубийстве, когда умерли ее родители. Как бы ни было ей тяжело остаться сиротой, она не сдалась, закончила школу и поступила в институт.

Теперь Генрих. Он же «коробейник». Все мои сомнения отпали. После того как Аня упомянула в дневнике о вещах и японских носках. Последний штрих, венчающий портрет.

Предположим... Да, установив его причастность к чете Залесских еще шесть лет назад, можно было кое-что предположить.

Может быть, Аня крепко приглянулась ему в Таллине (в ее дневнике есть намек на это). Для разведки он приехал в Вышегодск. Разговор об иконе «Параскева Пятница» мог быть только предлогом для более близкого знакомства. А может быть, наоборот: Генрих притворялся влюбленным, чтобы иметь возможность уговорить Аню продать ему антикварную вещь.

Кстати, кажется, стал ясен вопрос об иконе, которую Аня попросила у Завражной. Видимо, «коробейник» знаток и ценитель икон. Работу «деревенского маляра», как выразился Коломойцев, он не признал стоящей. Поэтому Залесский и подарил ее своему крылатовскому приятелю «в знак дружбы». Дорогую вещь наверняка оставил бы у себя, для Генриха. И скорее всего ночной визитер за десять дней до убийства Ани — Генрих... А Залесский ждал его, собирая для него иконы.

Пойдем дальше. Может быть, узнав, что свадьба расстроилась, «коробейник» действует более активно?

Не знаю, что было за то время, пока Валерий обретался в нетях. Единственное известно: материально Ане приходилось очень туго. Даже Анфиса Семеновна удивляется, как ей удавалось свести концы с концами... А не помогал ли ей Генрих, изредка наезжая в Вышегодск? Небескорыстно, конечно...

И вот возвращается Валерий. Женится на Ане. Узнает про ее связь с Генрихом. Тогда отъезд в Крылатое более понятен.

Если Ильина Валерий действительно опасаться не мог, то своего давнего приятеля, человека необычного и богатого, побаиваться он имел основания.

Вертелась в голове и такая безумная идея: а что, если весь сыр-бор из-за «Параскевы Пятницы»? Она вероятней всего у Залесского.

Среди писем, присланных по моей просьбе от знакомых Залесских, было также послание от Пащенко. У него чудом сохранилось письмо, которое написал ему из Крылатого Валерий.

«Привет, старик! — писал Залесский. — Извини, что только теперь собрался черкнуть тебе пару слов. Надеюсь, село Крылатое и его обитатели тебя не интересуют, поэтому о них — ни звука. Ты спрашиваешь, как я живу? Сплошная фантастика

пополам с культпросветработой. Конечно, старик, ты был прав, что белому человеку нечего делать среди степей, но мне здесь еще нужно быть по мотивам, которые я объяснил. Искусство требует жертв. Побарахтаюсь тут еще немного (не знаю, на сколько хватит) и вернусь в цивилизацию — стричь дивиденды со своих страданий. Надо, видать, пересидеть в Крылатом. Судьбу не перепрыгнешь. Анька хандрит, боюсь, чтобы в ее теперешнем интересном положении не добило морально и психически наше житье-бытье. И тут еще этот бугай лезет со своими партийными принципами. Ты понимаешь, о ком я говорю, о твоем «любимом» однокашнике, Кольке. Мне смешно, как этот петух до сих пор хорохорится перед Аней. Но за нее, матушку, боюсь. Чего от Крылатого не отнимешь — колорит, красотища степная, играет своими неповторимыми красками. Кончая свое послание из добровольной почетной ссылки, поздравляю тебя с повышением по служебной лестнице и благословляю на дальнейшие подвиги. Твой Валерий. 29 июня, с. Крылатое».

Из этого письма я понял: Ильина Залесский не любил. Может быть, все-таки ревновал? Несмотря на свои принципы. И еще меня насторожило слово «пересидеть». Для чего? С другой стороны, это могло быть просто бравадой.

Кроме дневников и корреспонденции Залесских, я еще занимался предсмертным письмом Ани. Советовался с экспертами. Но ничего нового не открыл. Я вспомнил совет Ивана Васильевича — «нужен новый взгляд». Но какой?

Начальство хотя и не торопило меня, однако я сам себе поставил задачу раскрыть дело к Новому году.

Но как-то меня вызвал Эдуард Алексеевич, продолжавший исполнять обязанности заместителя прокурора республики. Он поинтересовался ходом расследования. Я доложил.

— Значит, думаешь до января иметь результат? — спросил он.

— Надеюсь.

— Ну-ну.

По этому «ну-ну» я догадался, что вызов подразумевает нечто другое. Я ждал, что же это такое другое, но он вдруг заговорил об Иване Васильевиче:

— Говорят, ты бываешь у старикана?

Хоть слово «старикан» и было сказано с оттенком симпатии, но это мне не понравилось. Раньше Эдуард Алексеевич его так никогда не называл.

— Захожу. Он, оказывается, живет вместе с тещей. Я думал — мать.

— А ты разве не знаешь? — удивился Эдуард Алексеевич.

— Что?

— Страшная штука. У него вся семья погибла в Ашхабаде в сорок седьмом. То знаменитое землетрясение. Жена, две дочери. Иван Васильевич был в командировке. Одна теща осталась жива.

— Не мог рассказать раньше, — сказал я с обидой.

— Да сам только недавно узнал. От прокурора.

Теперь мне стало все понятно. И нежная преданность друг другу, и родство, рожденное горем, тяжелее которого трудно представить... Мы еще немного поговорили о бывшем зампрокурора, после чего последовал сюрприз.

— Игорь, что ты дразнишь гусей? Надо быть посолиднее, — сказал он вдруг, стараясь быть при этом доброжелательным.

— Ты о чем?

— О Крылатом. Какое-то купание устроил на морозе. Зачем обращать на себя внимание? Ты же представляешь прокуратуру республики.

— Кукуев? — спросил я с ехидцей. — Замначальника следственного отдела?

— Какое это имеет значение?

— Если уж о солидности... Мне кажется, у исполняющего обязанности зампрокурора республики есть дела поважнее.

— Честь мундира — это, брат... Ладно. Я тебе сказал. Кстати, ты женился?

— Скоро.

— На свадьбу пригласишь?

— А придешь? — съязвил я.

— Приду...

Кому там еще неймется? Определенным образом Кукуеву.

В тот же день я получил сообщение из паспортного стола. Приятельница Залесского, у которой он обретался несколько месяцев перед тем, как вернуться к Ане в Вышегодск, жила в районе Песчаных улиц. Ирина Давыдовна Палий.

Сначала я хотел вызвать приятельницу Валерия в прокуратуру. Но отбросил эту мысль. Надо идти к ней самому. Быт, вещи зачастую говорят о человеке больше, чем он сам.

Прежде чем отправиться к Палий, я через участкового инспектора выяснил, что это за птица. То, что узнал, насторожило. Думал, какая-нибудь девица на выданье, а Ирина Давыдовна оказалась балериной на пенсии, да еще в бальзаковском возрасте.

Что могло привлечь парня, молодого и видного, к этой самой Ирине Давыдовне? Впрочем, чем черт не шутит. Артистка, возвышенная натура. Залесского ведь влекло искусство.

Палий когда-то работала в музыкальном театре. Видел ли я ее в спектаклях? Вспоминал, вспоминал, но ничего припомнить не мог. Ведущих солистов я знал. Возможно, она танцевала в кордебалете?

Я уже собрался идти к Палий, надел пальто. Но тут...

Открылась дверь, и на пороге появилась робкая фигура. Я даже не сразу узнал отца. Мой родитель, в валенках, в синем бостоновом старомодном костюме, виновато топтался на месте, не смея сделать шага вперед по вытертой дорожке.

Мы обнялись. От отца пахло крепкими дешевыми папироса-

ми — он всю жизнь курил «Прибой», и на меня повеяло таким родным и близким, что к горлу подступил комок.

Отец крякнул, оправил пиджак.

— Садись, папка. — Я назвал его так, как обычно называл в детстве.

Батю совершенно добивал солидный кабинет и моя форма.

— Садись, садись. — Я буквально силком усадил его на стул. Отец, сложив на коленях руки, осматривал стены, мебель и, казалось, едва дышал. Он впервые видел меня в рабочей обстановке... Вот уж никогда не ожидал от него такой робости.

Кабинет! Как все-таки это действует на воображение. Но я же сын, которого он в далекие (впрочем, не очень-то далекие) времена поучал за проделки доброй хворостиной...

— Знаешь, я вот думаю на Новый год махнуть в Скопин... — неизвестно почему сказал я.

— Мать обрадуется. — Он привычным жестом достал пачку папирос, но тут же спрятал в карман.

— Кури.

— Можно?

— Конечно. И двигайся ко мне. Вот пепельница.

Как ни торопили дела, не поговорить с отцом — грех. Перебрав всех близких — мать, брата, сестру, дядьев и сватьев, я спросил:

— Почему не дал знать, что едешь? Встретил бы.

— Добрался, — ответил он солидно. — Чего тебя отвлекать...

Мы помолчали.

— Значит, примете меня на праздники?

— Чего уж говорить. Погуляем...

— Я, наверное, не один...

Отец кивнул. Но вида, что его очень интересует, с кем именно, не подал. В его манере — все воспринимать невозмутимо, как подобает рассудительному мужику, каковым он себя считал. Частенько без основания.

— Вроде с невестой, — уточнил я осторожно.

— Встретим, сынок, как полагается.

— Правда, еще не окончательно. Знаешь, моя служба... Сегодня здесь, завтра там...

Отец приехал показаться хорошему врачу. Сильно стали сдавать глаза. Он крепился, крепился, но, видимо, дело обстояло худо. Отец успел уже, оказывается, побывать в Институте имени Гельмгольца. Но там ему сказали, что нет мест.

Я вспомнил об Агнессе Петровне. Чем черт не шутит...

Когда я изложил ей свою просьбу, она с радостью сказала:

— Вам повезло. Какое-то невероятное совпадение. Буквально пять минут назад у меня была подруга сестры жены завотделением Института Гельмгольца. Заказала вечернее платье. Нет, вы родились в рубашке. Позвоните завтра и считайте, что все устроено...

Потом отец попросил достать какие-то лекарства.

Старая история. Стоило кому-нибудь из его знакомых приоб-

рести новый лечебный препарат, особенно если в красивой упаковке, мне тут же слали поручение — достать его во что бы то ни стало, имело это отношение к его болячкам или нет.

Я переписал себе в записную книжку названия лекарств.

Вышли вместе. Кружилась метель, подметая московские улицы. Родитель мой, как ни пытался сохранить достоинство и независимость, терялся в столице, бросал на меня виноватые взгляды. Ехать в Бабушкин, в мою квартиру, для него целая проблема. Я ему объяснял, на какой станции метро выйти, каким автобусом добираться дальше. Он кивал и не очень уверенно приговаривал:

— Не потеряюсь. Язык, чай, до Киева доведет. Не пропаду.

Что-то шевельнулось у меня в душе. Бедный мой батя, один в большом городе, полуслепой...

Я остановил такси. И когда мы уселись рядом в его мягкое, теплое нутро, я понял, как соскучился по своим. Что-то затеплилось в душе, и даже не надо было слов, а вот так, молча, ехать вместе по Москве.

Полтора часа! Что они могли значить в моей суматошной жизни? Зато мой славный старик увезет в Скопин приятное впечатление от посещения сына. И долго будет вспоминать, как я возил его по всей Москве на такси.

К дому Палий я подъехал в ранние зимние сумерки. Послевоенное солидное строение с широкими лестничными площадками, массивными дверями. Открыла мне сама Ирина Давыдовна. И я сразу отметил про себя, что выглядит она моложе своих лет.

Палий предложила расположиться в большой комнате. С мебелью, от которой веяло фундаментальностью и солидностью начала века. На письменном столе, по размерам не уступающем бильярдному, стоял портрет в рамке. Очень энергичное лицо, с живыми глазами, мохнатыми бровями.

Еще от участкового инспектора я узнал, что квартира эта принадлежала раньше крупному врачу, профессору. Ирина Давыдовна вышла за него замуж лет семь назад и полтора года как овдовела. Профессор был значительно старше ее.

Уж не его ли фотография? Скорее всего.

— Чему обязана? — спросила Ирина Давыдовна, закуривая сигарету в длинном инкрустированном мундштуке. Прямо турецкий чубук... — Никогда не думала, что моя мирная персона может интересовать прокуратуру.

У Палий был приятный голос. Несколько хрипловатый. Наверное, от курения. Курила она беспрерывно. Одну сигарету за одной...

— Вам известен человек по имени Валерий Залесский?

У хозяйки квартиры на миг промелькнуло на лице растерянное, виноватое выражение. Словно ее застали врасплох за нечестным занятием. Но только на секунду.

— Да, знаком, — протянула Палий и скрылась в клубе дыма.

— Где вы с ним познакомились?

— В Одессе. На пляже. В прошлом году.

— Кто вас познакомил?

— Скорее что... Темные очки. Я нечаянно наступила на свои темные очки, муж из Италии привез, — она кивнула на портрет. — Вещь не очень дорогая, но такие фильтры не найдешь. Потом, память... — она снова бросила взгляд на фотографию профессора. — Валерий взялся быстро починить... Обыкновенное человеческое знакомство...

За дверью послышались шаркающие старческие шаги. Замерли. Ирина Давыдовна резко встала:

— Простите, одну минуточку. — Она вышла из комнаты скорым шагом, плотно прикрыв за собой дверь. Но и через них был слышен раздраженный шепот Палий.

Вернулась она быстро. Снова схватилась за мундштук.

— До чего же любопытны бывают старые люди, — покачала она головой.

Мне сообщали, что с Ириной Давыдовной проживала свекровь. Старушка пережила сына...

— Ирина Давыдовна, когда Валерий приехал к вам?

— Почему ко мне? — Она посмотрела мне прямо в глаза.

— Он жил в этой квартире...

— У меня еще три комнаты. — Она пожала плечами. — Человеку негде было остановиться.

Я представил себе ситуацию: мать умершего ученого, врача, сравнительно молодая вдова и ее еще более молодой ухажер. И все это происходит в квартире профессора. Да, смелая женщина эта Ирина Давыдовна.

Мне не хотелось лезть в этот клубок страстей — а страсти, наверное, были немалые, но все-таки пришлось. Ничего не поделаешь.

— Вы не скажете, на какие деньги жил Валерий? Он ведь не работал...

— Так он же писатель! — удивилась она.

— Из чего вы это заключили?

— У него вырезки из газет, вообще читал свои стихи. — Она посмотрела на меня с замешательством.

Неужели у балерины на пенсии только теперь мелькнула мысль, что Валерий Залесский больше мечтал о литературной карьере, чем имел какие-то достижения на этом поприще? Три-четыре стихотворения, опубликованные в вечерней газете, несколько статеек. Вот и весь писатель.

— Мы даже были с ним как-то в Доме литераторов, — сказала она. — Там сидели известные поэты...

— За одним с вами столом?

— Конечно. Валерий меня познакомил с одним. Печатается в «Юности».

— И все-таки вы не ответили на мой вопрос. Деньги у него водились?

— Были, конечно.

— Много?

— Не знаю. Гостей как-то не принято об этом спрашивать.

Итак, Палий хотела меня убедить, что Залесский жил в ее доме только как посторонний. Почти полгода. Многовато...

— Сколько он жил в вашей квартире?

— Я уже не помню, — нехотя ответила она.

— День, два? Может, месяц или больше того?

— Ну, что-то больше трех месяцев...

— И ночевал только здесь?

Ирина Давыдовна состроила стыдливую гримаску.

— Мне кажется, задавать подобные вопросы не очень тактично.

— Понимаете, Ирина Давыдовна, мы вроде врачей. Только болезни, которыми мы занимаемся, социальные...

— В таком случае вы ошиблись адресом, — сказала она, улыбнувшись.

— Речь идет не о вас. Об одной трагической истории... — Бывшая балерина посмотрела на меня с испугом. — В нее попал и ваш знакомый.

Я замолчал. Ждал вопроса. И он последовал.

— Он... Залесский жив? — тихо спросила Палий.

— Здоров и невредим.

Она задумалась.

— А вы любите поэзию?

— Что? — не поняла Ирина Давыдовна. — До нашего знакомства не очень. Но Валерий так умел говорить, читать из любимых поэтов...

— Кого?

— Вознесенского, Евтушенко... — Она зажмурила глаза, силясь вспомнить еще фамилии. — Он, в общем, знал бездну отрывков. — Палий вздохнула. — Эрудит.

— Долго вы общались в Одессе?

— Дней пять. — Ирина Давыдовна грустно улыбнулась. Наверное, воспоминаниям.

— Он вас знакомил со своими приятелями, друзьями?

— Что вы! В Одессе он тосковал. Она ему не нравилась. Тянуло в столицу, поближе к самому Олимпу, как он выражался. Мы вместе загорали, ходили в кафе, ресторан...

Интересно, кто платил?

— Никого с ним рядом не видели?

— Совершенно. А потом я уехала. Он стал писать. Почти каждую неделю. Ко дню рождения я получила от него телеграмму в стихах. Целую поэму. Правда, трогательно? Ведь женщина всегда чувствует наверняка, что испытывает к ней мужчина. — Она улыбнулась уголком губ. — Он был влюблен. Искренне, вдохновенно... Вы, наверное, не знаете, есть такое выражение в музыке — форте, приподнято, восторженно...

— Фортиссимо *, — спокойно сказал я.

---

* Очень приподнято, восторженно *(итал.)*.

— О, значит, вы меня понимаете... Прекрасно понимаете, что только такое вдохновенное чувство может тронуть.

— Он писал, рассказывал о своей прежней жизни?

— Да, конечно. О своих исканиях, неудовлетворенности. Мне казалось, он хочет сделать нечто действительно большое, стоящее. Ему был узок мир такого города, как Одесса, в сущности, очень провинциального. И что скрывать, торгашеского. Как он ненавидел эту жажду денег, по его выражению, объевшихся, тупых людишек, которые любят только жрать да хапать... Во мне Валерий видел человека из другого мира. Москва, настоящее искусство... Театры, музеи, круг интересных людей...

Я готов был поклясться: все это говорил ей он сам.

— Ирина Давыдовна, а не говорил ли вам Валерий, что у него рос сын? — спросил я, когда она сделала небольшую паузу.

Палий словно споткнулась:

— У Валерия?

— Да, у него. Сын. У его однокурсницы, женщины, которую он бросил одну, живущую без отца и матери, совсем еще неопытную, материально не обеспеченную... — Мои слова, намеренно сухие и жесткие, как пули, разбивали разноцветные шарики ее фантазии (или заблуждения, я не знал).

— Я этого не знала.

— А если бы знали?

— Если вы когда-нибудь испытали, что такое настоящая любовь, вряд ли задали бы такой вопрос...

— Возможно... Давайте теперь вернемся к тому, с чего я начал. Вы знали людей, с которыми он общался здесь, в Москве?

— Мои приятели и знакомые. Все мое.

Отличное признание. Все мое...

— Ни единого своего друга? — я сделал ударение на слове «своего».

— Если не считать шапочных знакомых в Доме литераторов.

Да, Иван Васильевич оказался пророком. Попытки выйти на Генриха через приятельницу Залесского не увенчались успехом.

— Залесский безотлучно находился в городе?

— Я не имела права его держать.

— Уезжал?

— Раза два-три. В командировку от какой-то центральной газеты. Привез однажды подарок из Гусь-Хрустального. Вазочку. Ирония судьбы. Стала мыть ее горячей водой — распалась на части, по граням.

— Когда он уехал совсем?

— Под самый Новый год.

По времени выходит, от Палий — сразу в Вышегодск, к Ане...

— А почему?

Ирина Давыдовна пожала плечами:

— Трудно сказать... Но я этого ожидала. Видите ли, в моем положении — тогда еще не прошло и года, как я похоронила

мужа, замечу, видного ученого, прекрасного человека, — нельзя было согласиться на брак...

— Он предлагал?

— Да, но при условии, что мы бросим все, — она показала на обстановку вокруг. — Может быть, даже на Север... Я все не соглашалась. Видимо, Валерий пришел в отчаяние, решил уехать, забыть... Все случилось внезапно. Не сказал ни слова, ни записки не оставил. Так, наверное, и лучше. Ему. Да и мне...

— К вам просьба, — попросил я. — Если у вас сохранились письма Залесского, не можете ли вы предоставить их в мое распоряжение?

— А если нет? Обыск?

— Возможно. Что, они вам дороги?

Бывшая балерина задумалась и сказала:

— Что ж... Я согласна. Но прошу вас сохранить в тайне их содержание.

— Наша обязанность.

Она подошла к шкафу. Долго рылась на полках. Потом произвела тщательную проверку ящиков письменного стола.

И, подавая мне одно письмо, спокойно произнесла:

— Вот. Что осталось. Другие я выбросила... когда он уехал.

У меня возникло большое подозрение. Уж не единственное ли оно?

Когда мы заканчивали процедуру оформления протокола, она вдруг спросила:

— А теперь у меня к вам просьба. Вернее, справочка. Тут мы спорили недавно, а вы знаете законы... Как можно истребовать с человека долг?

— В договоре указан срок. Вот с момента истечения срока, на который были одолжены деньги, можно и требовать.

— А если договора нет?

— Сумма большая?

— Рублей пятьсот.

— Нет. Такую можно только по договору. Без договора — до пятидесяти рублей.

Ирина Давыдовна вздохнула. Дураку стало бы ясно, что должник — Залесский...

Провожала меня Палий любезно. Я надевал пальто перед большим зеркалом, а она с миной радушной хозяйки смотрела, как гость покидает ее жилище.

Зазвонил телефон в гостиной. Бросив извинительное «минуточку», Ирина Давыдовна упорхнула в комнату.

Ситуация неловкая: вроде одет, можно уходить, да неудобно, не простился. Я вертел в руках перчатки.

И тут, словно призрак, появившийся из вороха одежды на вешалке, возникла передо мной древняя старушка с всклокоченными седыми волосами, и заговорила быстро, шепотом:

— Стыд, стыд какой! Сына моего позорит, имя наше пачкает... Стыд... Его пол-Москвы знает. Память бы о нем пожалела... Мальчишка совсем...

Не успел я и слова вымолвить, как старушка зашаркала прочь, подняв скрюченные руки над головой, как бы защищаясь от удара.

Я обернулся. Ирина Давыдовна не успела переменить гримасу: ее красивое лицо исказила злость. Но она быстро справилась с собой, и я был препровожден к дверям с улыбкой. Надо отметить — весьма натянутой...

Как было прекрасно на улице! Ветер стих. С белого, подсвеченного голубым неоном неба сыпал и сыпал чистый снег, искрился на мостовой, скрипел под ногами. Уютная, красивая Москва, какой я ее полюбил за эту вечернюю зимнюю торопливость машин и пешеходов, за усталость дня и предвещание отдыха в своей бетонно-паркетной берлоге.

Я ехал в прокуратуру, на душе было тепло оттого, что дома меня ждет отец.

Я не стал раздеваться внизу, в гардеробе, а поднялся сразу к себе.

Последние дела на сегодня — звонок к Наде и письмо Залесского к Палий.

У Нади хронически занято. Я вынул из конверта листок.

«Милая Ириша! Слышишь, как ласково звучат эти два слова? Я прихожу на море, в то самое место, где мы встретились впервые, и называю твое имя — милая Ириша. Звучит как прибой в песке... А тебя нет рядом. Ты тогда шутя говорила, что будешь скучать, но я знаю: мы будем вместе.

В какой-то момент я понял, что обязательно к тебе примчусь, потому что мое чувство настоящее. Я не сомневаюсь в этом, прошу не сомневаться и тебя. Через судьбу не перепрыгнешь.

Одного не могу себе простить: я не сумел задержать тебя в Одессе еще хоть на один денечек, на самый маленький, но для нас он был бы самым большим и значительным на всем белом свете. Ты сказала, что трудно за несколько дней ощутить гармонию чувств и души, но я ведь понимал: ты проверяла меня.

Милая Ириша! Я не могу представить себе иной любви. И если уж выкладываю самого себя, раскрываюсь, как ромашка, весь до конца, верь, это оно, самое главное, которое может больше никогда не прийти...»

Темпераментно. Но пошло. Фортиссимо...

«...Ты не только та самая, что я узнал впервые в жизни, для меня ты еще — чистые российские снега, поля в цветах, прозрачные ручьи. Когда-то я ходил окруженный этой красотой, но не понимал до конца, как это здорово! Ты заставила меня обратиться к милой природе, к настоящим, добрым, бесхитростным людям. Я понял, что должен находиться среди них, если хочу создать что-нибудь настоящее...»

Вот он, крик о московской прописке. Хотя говорил Ирине Давыдовне Валерий о Севере. Точный ход.

«...Наверное, высказываюсь довольно туманно, но ты поймешь. Только ты, с твоей тонкой, отзывчивой душой, умеющей вызвать из глубины сердца прекрасное. Хочу прийти к тебе по той тропинке, которая лежит теперь между нами. Она только для нас одних.

Какие бы ни были обстоятельства, напиши мне. Может быть, для тебя это был эпизод, след на песке, который смыла волна? Я бы не хотел пользоваться случаем. Мне нужны все краски, вся красота мира.

Любимая! Боюсь только одного слова: прощай... Я много о себе рассказывал. И лучшее, что было в жизни, и не самое хорошее. У каждого есть положительные и отрицательные качества, отдельные моменты, но знаешь, Ириша, истинно любит тот, кто знает о человеке всю правду.

Не хочу загадывать, но если что — никто никогда не сможет так почувствовать тебя, как я, и отдавать тебе свои чувства, как это могу только я. Валерий».

Я посмотрел дату на конверте. Со дня их расставания в Одессе прошло два месяца. А через неделю Залесский был уже в Москве.

Читая письмо Валерия, я вдруг вспомнил его стихи, заметки в газетах, письмо к Пащенко.

Размышляя потом, когда у меня появился этот «новый взгляд», о котором говорил Иван Васильевич, я могу с уверенностью сказать, что это случилось вечером после посещения Палий, в моем кабинете. Вернее, тогда идея выкристаллизовалась окончательно. Зрела она давно...

Слишком проста и плодотворна она была, чтобы появиться сразу...

На радостях я позвонил Наде. И пригласил на Новый год в Скопин. Вместе с Кешкой.

— Игорь, милый, это будет здорово! — обрадовалась Надя.

Мы условились подробно договориться о поездке в ближайшие дни.

Я оформил постановление о новой экспертизе предсмертного письма Залесской, приложив все документы, и решил — все, на сегодня хватит. Нельзя дальше держать отца в одиночестве.

Прихватив по дороге бутылку вина, я отправился домой. Оказывается, батя уже сам позаботился о «горячительном». И чтобы не ударить лицом в грязь, размахнулся на коньяк. Пришлось выпить рюмку, дабы не обидеть родителя.

Попивая вино под холостяцкий ужин — сосиски, консервы, сыр, мы говорили о родных, знакомых, соседях.

Отец деликатно поинтересовался, что у меня за невеста. Я отшутился — приедем в Скопин, познакомлю. Рассказывать подробнее не стал, чтобы не сглазить.

Засиделись за полночь. Меня разморило, но приходилось крепиться: не дай бог, отец подумает, что я невнимателен. Он, ви-

димо, тоже не хотел сдаваться: а то сын решит, что он уже совсем старик. И когда уже батя, как говорится, стал клевать носом, я предложил ложиться...

Приехав с утра на работу, я первым делом связался по телефону с Агнессой Петровной. Она сообщила, что устроила отцу прием у известного специалиста по глазным болезням. Правда, только на послезавтра. Я начал ее благодарить, но Агнесса Петровна перебила меня:

— Полноте, Игорь Андреевич, здоровье — самое главное в жизни... Всегда рада помочь вам и Надюше, если это в моих силах.

Приятно было слышать, что оба мы в ее понятии — единое целое...

Во второй половине дня позвонили из Института русского языка. Профессор Тихомирова, эксперт, к которой было направлено на исследование предсмертное письмо Залесской. Она только что получила материалы и хотела уточнить некоторые детали. Чтобы не затягивать дело, я отправился в институт.

Тихомирова, крупная волевая женщина, призналась, что до сих пор подобную судебную экспертизу ей проводить не приходилось.

— А что вас смущает, Маргарита Федоровна? — спросил я.— Отнеситесь к этому как к обычной своей научной работе. Нам необходимо выяснить, кто автор исследуемого письма. Что оно написано рукой Залесской, установлено. Но ведь его мог составить другой человек...

— Это мне понятно. Подобной работой я занималась, когда это касалось какого-нибудь спорного литературного текста. Например, неизвестный отрывок стихотворения принадлежит, допустим, Пушкину или кому-нибудь другому...

— Вот-вот, — подхватил я. — Нечто подобное вам предстоит проделать в данном случае. Материала для сравнения достаточно?

— В принципе да... Но одно дело — научная статья, другое — судебная экспертиза. Оформление...

Я разъяснил, как обычно оформляется заключение. И в конце разговора спросил, сколько ей потребуется времени. Тихомирова ответила, что она не представляет себе объема работы, и пообещала позвонить.

Через день я был с отцом в Институте Гельмгольца на приеме у глазного врача.

Он предложил отцу сделать операцию. Хотя сказал при этом, что особенного улучшения зрения может и не наступить: болезнь моего бати — явление возрастное. Ложиться в больницу или нет, глазник предоставил решать нам.

Отец колебался. И уехал домой посоветоваться с матерью.

Я позвонил в Одесскую прокуратуру, чтобы там выяснили, долго ли еще Залесский будет лежать в больнице. Оказалось, он выписался два дня назад.

Да, самое время встретиться с ним. Вот теперь я, кажется,

был готов. А заключение Тихомировой могли переслать мне в Одессу.

Я взял билет на самолет.

Иногда парадокс «спеши медленно» оправдывается. За полчаса до Одессы наш самолет завернули и посадили в Киеве, в Борисоглебском аэропорту, где продержали целые сутки.

Я решил не испытывать судьбу и перебрался на всепогодный вид транспорта — поезд.

Одесса встретила меня отличной, ясной погодой. До городской прокуратуры я ехал на такси. Разговорчивый шофер, по-одесски темпераментный, уверял меня, что так может быть только в Одессе: вчера шторм, дождь со снегом, а сегодня — солнце и штиль. При этом он несколько раз повторил, что везет меня самым кратчайшим путем.

В прокуратуре сообщили, что номер в гостинице забронирован. Я уже хотел отправиться туда, но меня срочно попросили зайти в кабинет прокурора города: звонили из Москвы.

Это был Эдуард Алексеевич.

— Получено заключение от Тихомировой, — сказал он. — Ты оказался прав...

В его словах слышалось одобрение.

— А как бы его побыстрее сюда? — воскликнул я.

— А мы сделаем так: я дам распоряжение, заключение подвезут к рейсовому самолету. Передадим через командира корабля.

— Отличная идея! — одобрил я.

— Номер рейса и фамилию пилота сообщим... А ты держи меня в курсе. — В голосе Эдуарда Алексеевича слышались незнакомые для меня нотки уважения. На прощание он пожелал мне успеха.

За окном сгущались ранние зимние сумерки. Небо было чистое и холодное.

После суматошного аэропорта и душного вагона прохладный полумрак гостиничного номера, уютная тишина подействовали расслабляюще. Не зажигая света, я смотрел на темнеющий квадрат окна. И думал о Наде. Нестерпимо захотелось услышать ее голос. Я набрал ее московский номер по автоматической междугородной связи. Телефон молчал. Попытался еще и еще. С таким же результатом.

Потом, как мне показалось, я задремал.

Звонок телефона раздался в абсолютной тишине и темноте. Я нащупал кнопку выключателя настольной лампы. Брызнул ослепительный свет.

— Товарищ Чикуров? — прозвучал в трубке незнакомый мужской голос.

— Да, слушаю вас.

— Из прокуратуры города беспокоят. Дежурный прокурор Бон-

дарев. Звонили из Москвы. Пакет передали. Рейс № 1691. Вылетает в 20.25... Командир корабля...

— Минуточку, пожалуйста, я запишу.

Я достал ручку, блокнот и записал номер рейса и фамилию пилота.

А поздно вечером, вернувшись из аэропорта, я, признаюсь, не без волнения вскрывал пакет, пересланный мне из Москвы.

В заключении экспертизы говорилось:

«На исследование поступило предсмертное письмо Залесской А. С., начинающееся словами: «Мой милый! Я любила тебя так...»

На разрешение экспертизы поставлен вопрос: кто является автором (составителем) этого письма — Залесская Ангелина Сергеевна или Залесский Валерий Георгиевич?

Для сравнения представлены: а) свободные образцы письма Залесской А. С. в виде сочинений по русской литературе за 10-й класс «Образы наших современников в произведениях А. Фадеева», «От Павки Корчагина до Юрия Гагарина» и др. в ученической тетради; дневник Залесской, датируемый от 28 мая до 20 августа (год не указан); письма без дат, начинающиеся словами: «Дорогая тетя Анфиса!», «Оля, здравствуй!» и «Дорогая Танька!»; б) свободные и свободно-условные образцы письма Залесского В. Г. в автобиографии, отпечатанной на пишущей машинке (копия), письмо без даты, начинающееся словами «Милая Ириша!», письмо к Пащенко от 29 июня, статьи из газеты (оригиналы) под заглавием «Солнце и море», «Толик, Настя и другие», «Надо ли дудеть в трубу», стихотворения под заглавием «Овраг», «Немножечко грусти и музыки», «Капля земли» (оригиналы).

Исследование.

Развитая письменная речь представляет деятельность, в основе которой лежит речевой навык индивида, характеризующийся стереотипно, то есть определенной устойчивостью структурно-языковых особенностей изложения. Письменная речь формируется на основе индивидуальных качеств человека: его психологического склада, умственного развития, культурного и образовательного уровня, круга интересов, среды, в которой рос, а затем работал и жил человек. Все это создает письменно-речевой комплекс в виде индивидуальной языковой системы, состоящей из семантических, лексических и грамматических структур, дающей идентификационный материал для установления автора того или иного текста.

Подходя с этих позиций к решению вопроса об авторской принадлежности предсмертного письма Залесской А. С., эксперты нашли нужным изложить следующее.

Основное информационное значение о составителе (авторе) текста имеют семантические признаки, не только передающие общее содержание документа, но и характеризующие стиль изложения, значение и выразительность слов, что, в свою очередь, неразрывно связывает эти признаки с лексикой и синтаксисом

конкретного речевого навыка. Исследуемое письмо характеризуется в основном лирико-патетическим стилем изложения, эмоциональностью, выразительностью и образностью языка. («Мой милый! Я любила тебя так, как никогда никого не любила. Ты же со дня нашей встречи держал свои чувства как бы на тормозе». «Я дрогнула в какой-то момент, который я презираю и проклинаю». «Мне кажется, что тонкие, незримые нити нашего духовного родства, которое грело соединение двух душ, порваны». «Без любви постылы все краски существования». «Я не имею права пользоваться чужой красотой мира» и т. п.) Фразы письма построены грамматически правильно, по принципу повторения одних и тех же союзных слов и аналогичных глаголов, что усиливает патетику и приподнятость. В письме много сложных предложений. Легкость стиля и непринужденность повествования не затрудняют частое использование некоторых излюбленных слов: «любить», «чувства», «душа» и т. д. Вместе с тем следует отметить, что словарь автора (составителя) письма достаточно богат и он свободно им пользуется.

Письменно-речевой навык Залесской А. С., отобразившийся в представленных образцах, характеризуется простотой и спокойным повествованием, описательностью. «Только что ушел Валерий. Слушали пластинки». «Сессия позади. Проскочила». «Таллин — красивый город. Старинные средневековые улицы. Большой собор». «Юрий Гагарин удивил весь мир своим подвигом, облетев нашу планету за час» и т. п.

В процессе сравнительного исследования письменно-речевого навыка, отобразившегося в предсмертном письме, с письменно-речевым навыком Залесской А. С., выразившимся в сочинениях, дневнике, письме к тете, устанавливается, что первый отличается от второго как семантически, так и стилем изложения, синтаксически и лексически. Письменная речь в предсмертном письме представляет совершенно другую языковую систему, что позволяет прийти к выводу, что Залесская А. С. не могла быть автором (составителем) исследуемого письма, оно составлено не погибшей, а другим лицом.

Письменно-речевой навык Залесского Валерия Георгиевича представляет высокоразвитую языковую систему, характеризующуюся лирическим образным стилем, легкостью и непринужденностью выражения мыслей, яркой эмоциональностью в образцах его письменной речи — статьях, стихотворениях, автобиографии, письме.

Сложные предложения, образный язык, легкое владение грамматикой характерны для предъявленных образцов: «Через судьбу не перепрыгнешь», «Милая Ириша! Слышишь, как ласково звучат эти два слова?», «Однако не могу себе простить: я не сумел задержать тебя в Одессе хоть на один денечек, на самый маленький, но для нас он был бы самым большим и значительным на всем белом свете», «Хочу прийти к тебе по той тропинке, которая лежит между нами», «Откликнись своему эху. Оно чистое, чище, чем вода моря», «Я заглянул в тебя, овраг,

поросший, тихий, мрачный, темный», «Вяжите узлы, крепче вяжите, аргонавты наших дней, сменившие весла и легкий парус на дизель» и т. п.

В процессе сравнительного исследования письменно-речевого навыка, отобразившегося в предсмертном письме, с навыком Залесского В. Г. устанавливаются совпадения степени владения письменной речью, стиля, манеры изложения, основного лейтмотива, особенно любовного, семантика, грамматика, лексика.

Были установлены совпадения в употреблении излюбленных слов, стереотипных предложений, фраз, сравнений. Например, «через судьбу не перепрыгнешь». Эти совпадения приложены в таблице (см. приложение). Установленные совпадения настолько существенны, устойчивость и характерность их настолько очевидны, что в совокупности они образуют идентификационный комплекс, являющийся основанием для вывода, что автором (составителем) предсмертного письма Залесской А. С. является ее муж Залесский В. Г.

Вывод.

Автором (составителем) этого письма является Залесский Валерий Георгиевич.

Эксперты: доктор филологических наук, профессор М. Ф. Тихомирова, кандидат филологических наук Е. Л. Гольц».

Закончив читать заключение, я встал, прошелся по узкому пространству номера.

То, что было только догадкой, когда я собирал письма супругов Залесских, теперь облекалось в довольно твердую истину.

От убежденного тона заключения (во время чтения я отчетливо представлял себе Тихомирову, ее глубокий, грудной голос) мысли, мои суждения, факты, собранные по делу, пришли в движение, складываясь в логические построения.

Итак, Залесский не только знал о существовании предсмертного письма, он был его автором. Интересно, он диктовал или сначала набросал текст своей рукой, а Аня потом его переписала? Один вопрос, правда, прояснился — откуда появился еще вариант, оттиск которого сохранился на листах тетради, обнаруженной мною в доме убитой. Видимо, текст обсуждался. По той или иной причине первоначальный был отвергнут.

Пойдем дальше. Для чего и почему супруги составили письмо? Залесская — взрослый человек. Чтобы подбить ее написать такой документ, нужны серьезные основания. А может быть, это была игра?

Настораживал один штрих: письмо опиралось на материал, имеющий сходство или бывший в действительности, — отношения Ани с Ильиным, а может быть, с другим мужчиной. Это делало его правдоподобным. Это правдоподобие для чего-то было нужно.

Если бы Залесская хотела покончить с собой, вряд ли прибегла бы к помощи мужа, чтобы получше сочинить последнее послание к... нему же. Никакой логики.

Для чего же его писали? Кому это было на руку?

Залесскому?

Я еще и еще раз перебирал возможные мотивы, которые могли толкнуть его на убийство. Обоснованных не находил. А с другой стороны, трудно до конца познать человека, догадаться, что у него на уме, в душе.

Если оставить вопрос о поводе, в этой ситуации убийцей мог быть и Залесский. Но у него алиби. А вот насколько оно бесспорно, я так и не знал.

Один сомнительный момент: он разбудил среди ночи хозяйку Станислава Матюшину. Так и хочется думать — обеспечивал свидетеля. Но это тоже только подозрение. Прямыми уликами того, что он побывал ночью на месте преступления, следствие не располагало.

Возможен и такой случай: если о существовании письма знал Залесский, почему не знать об этом еще кому-нибудь? Тому же Коломойцеву. Или третьему лицу. Ведь этот человек просто-напросто мог присутствовать при написании...

Да, очень важный момент. Надо выяснить, когда было написано письмо. Если задолго до убийства, то оно могло случайно попасть в руки кому-нибудь из гостей Залесских. Бывали у них многие. В доме нередко устраивались пирушки.

В который раз я перебирал в голове людей, которые вращались около Залесских, имели с ними знакомство, близкое или случайное. Искал мотивы, по которым тот или иной пошел бы на преступление. И проворочался в постели до тех пор, пока не начала светлеть полоска между шторами на окнах.

Наскоро позавтракав в гостиничном буфете, я отправился в отдел внутренних дел района, где проживал Залесский. Я решил так: доставить его в прокуратуру в сопровождении работника милиции. А после допроса тут же поехать к Залесскому домой, произвести обыск.

Участковому инспектору были даны соответствующие указания — обеспечить понятых и так далее.

Затем меня на дежурной машине отвезли в прокуратуру. Прокурор города распорядился выделить мне кабинет для допросов.

До встречи с Залесским оставалось еще с полчаса. Я связался с Североозерским РОВДом. К счастью, Ищенко оказалась там.

— Добрый день, Игорь Андреевич, — обрадованно поздоровалась Серафима Карповна.

— У нас утро...

— Да, да... А я вас разыскиваю, Игорь Андреевич, звонила в Москву. В отношении вашего задания. Кое-что выяснилось. Во-первых, на почту от Залесского никому никакой корреспонденции после вашего отъезда не поступало. Во-вторых, восьмого июля, в день убийства, из знакомых Залесских в совхоз приезжали два человека. Корреспондент районной газеты Шапошников. Он пробыл в Крылатом два дня.

— У кого он останавливался?

— Где и вы, в совхозной гостинице... Второй — Генрих...

— Пожалуйста, подробнее об этом.

— Генриха в день гибели Залесской подвез в Крылатое водитель Североозерского молокозавода Улзытуев. Он узнал Генриха по фотороботу... Подвез часов в десять вечера. Говорит, «коробейник» дал ему за это зажигалку и три рубля.

— Специально попросил поехать в совхоз «Маяк»?

— Нет. Ему было по пути.

— А обратно?

— Когда и с кем Генрих уехал из Крылатого, установить пока не удалось.

Я поблагодарил Ищенко за важные сведения. Она записала мой гостиничный телефон и телефон Одесской прокуратуры.

Минут через двадцать после разговора с Серафимой Карповной появился Залесский в сопровождении старшины милиции. Высокий, средней длины волосы, модные усы — кончики опущены чуть ниже уголков губ, короткая дубленка, джинсы.

— Следователь по особо важным делам при Прокуратуре РСФСР Чикуров, — представился я. — Игорь Андреевич.

— Очень приятно. — Залесский огляделся, на какой стул сесть. Он старался держаться с достоинством.

— Вы разденьтесь...

Я давал понять, что разговор будет долгим. Не знаю, понял ли он меня должным образом, однако нашелся, что ответить:

— Топят у вас хорошо.

Залесский повесил дубленку на нелепую круглую деревянную вешалку в углу кабинета, которая тут же скособочилась. Проведя обеими руками по волосам, сел на стул напротив меня.

— Паспорт, пожалуйста, — попросил я.

— Вот. — Он достал паспорт из заднего кармана джинсов. Тонкой вязки свитер с воротником под шею облегал его стройный торс.

Вообще-то внешне он был симпатичен. Внимательные темно-серые глаза, правильные черты. Правда, мне показалось, что рот у него чуть-чуть несимметричен. А может, просто неправильно подстрижены усы.

Пока я заполнял бланк протокола допроса, Залесский рассматривал свои руки.

— Ну, Валерий Георгиевич, давайте побеседуем, — сказал я, закончив писать.

— Я готов, — откликнулся он спокойно.

— Вы уже давали показания. И не раз. Я их читал. Не будем перемалывать известное. — Залесский согласно кивнул. — Вот что я хочу спросить. Как вы с Аней писали так называемое предсмертное письмо?

— То есть... Простите, я не понял... — вскинул он на меня удивленный взгляд.

— Что тут непонятного: я спрашиваю, как вы писали с Аней так называемое предсмертное письмо: сначала сами набросали, и она переписала или диктовали?

— Ну... Что... что вы такое? Я не... — от неожиданности он

чуть ли не заикался. — Это же ее письмо перед смертью! При чем здесь я? Потому и предсмертное, что пишет человек, который объясняет причину и так далее...

Я молчал. Ждал, пока он выговорится. Залесский остановился. И, видя, что я продолжаю молчать, добавил:

— Товарищ следователь, вы говорите такое, простите, что в голове не укладывается.

— Вы хорошо помните это письмо?

— В общих чертах. Его взял следователь, чтобы приобщить к делу...

— Это был второй вариант?

Залесский посмотрел на меня с испугом. И, приложив красивую кисть руки к груди, страдальчески произнес:

— Товарищ следователь, ну откуда мне знать, сколько вариантов написала Аня?

— Хотите, я вам напомню начало первого варианта?

— Может, вы действительно обнаружили что-нибудь... Но когда я утром, придя от Коломойцева, застал дома эту страшную картину, на столе было одно письмо... — Он дрожащей рукой провел по лбу.

— Я вам все-таки прочту. Слушайте. «Мой любимый! Я любила тебя так, как никого никогда не любила. Полюбила со дня нашей первой встречи. Но ты раскрылся не сразу. Тогда я не понимала, что тебе для этого нужно время, и сомневалась в тебе, потому что ты говорил, правда шутя, что не женишься на мне...» Этот вариант вам не понравился...

— Почему мне?! — воскликнул он.

Мне показалось, Залесский сразу же понял: у меня есть какая-то важная улика и последним восклицанием он себя выдал.

— Возможно, вам обоим, — произнес я миролюбиво. — Но по-моему, вам. Литературой занимаетесь вы...

— Не знаю, не знаю, о чем вы... — Залесский не мог справиться со своими руками, со своими глазами.

Он был ошеломлен. Конечно, для него это — мистика. Потому что набросок первого варианта, разумеется, уничтожили. Я был почти наверняка уверен, что мысли Залесского заняты тем, как я узнал о первом варианте. Он мучительно вспоминал, что с ним сделал...

— Так ответьте все-таки на мой вопрос, — настаивал я.

— То, что вы прочли, филькина грамота... — Залесский начинал кипятиться. — Откуда вы это взяли, неизвестно. Так можно придумать бог знает что...

— Я вам потом скажу, откуда мне стал известен этот текст, — сдержанно остановил я его тираду.

— Где и что вы нашли, меня не касается, — сказал он, все более смелея.

— Так вы будете отвечать или нет?

— Не буду... Абсурд!

— Хорошо. А для чего писалось это письмо?

Залесский возмущенно произнес:

— Я же вам русским языком...

— Ладно, — оборвал я его. — Не будем тратить время попусту. Ознакомьтесь, пожалуйста...

Я протянул ему заключение Тихомировой. Залесский, положив руку с документом на колено, углубился в чтение.

Листы мелко дрожали. Было видно, что он возвращается к прочитанному, читает и снова возвращается. Тянул время? Не знаю. В его состоянии трудно сразу воспринять такой сложный текст с научными выкладками. Лицо Залесского покрылось красными пятнами. На последней странице он остановил свое внимание надолго. Думает. Лихорадочно ищет, что ответить.

— Что скажете? — спросил я, не дожидаясь, когда он отдаст мне заключение.

Залесский положил бумаги на стол, закрыл лицо рукой.

— Валерий Георгиевич, — сказал я доверительным тоном, — вы человек здравомыслящий. Сопоставьте два факта: вы вместе с Аней пишете это письмо, потом вашей жены не стало. Какой напрашивается вывод?

Он встрепенулся и, отодвигая от себя воздух обеими руками с растопыренными пальцами, испуганно проговорил:

— Нет, нет... Это трагическое стечение обстоятельств... Прошу вас, поверьте...

По-моему, он был сломлен.

— Хорошо. Объясните мне все. Заключение филологов для меня убедительно. Я верю в их вывод...

— Я объясню, объясню, — торопливо перебил он. — Составителем я не был... Неправильный термин. Редактором — это вернее. Нет, как бы это выразиться, литературная запись... Я хочу сказать, мысль, идею письма мы обсуждали вместе. А уж как написать, это я...

Я не стал спорить. Главное — он признавался.

— Для чего все это понадобилось?

— Я расскажу. Как было, так и расскажу. Воды можно?

— Конечно.

Если дошло до воды, значит, дело двинулось. Я весь напрягся. Сейчас Залесский скажет (или попытается скрыть) основное.

— Вы знаете, конечно, Аня и Ильин... Короче, в двух словах. Письмо было написано, чтобы Ильин наконец оставил в покое ее и вообще нашу семью... Он преследовал Аню везде, в Вышегодске, в Крылатом... Я не буду говорить, хорошо или плохо я вел себя по отношению к Ане. Это наше семейное дело. Я к ней вернулся... Для Сережки стал настоящим отцом. Наладилось у нас. Уехали от сплетен из Вышегодска. Так за каким чертом он помчался вслед за нами в Крылатое? Лезет куда не надо... Почему, видите ли, она пошла работать в садик, а не работает в поле агрономом! Какое его дело? Аня была в положении, я заботился о ее здоровье. В конце концов, о своем будущем ребенке тоже... Он не давал Ане покоя... В совхозе

смеялись. А мне каково? Драться с ним? Варварский способ решать взаимоотношения... Ну, прав я или нет?

Он ждал, видимо, сочувственного ответа.

— Продолжайте, — кивнул я.

— Мне передавали, что их видели вместе в ресторане в Североозерске. Вино заказывали. Я спросил у Ани, так ли это. Она ответила, что да. Только вино она не пила. И якобы Ильин опять за свое принялся: почему не занимается общественной работой... В общем, при каждом случае, под видом этакого идейного деятеля все пытался с ней... А, — Залесский махнул рукой, — кто же вытерпит, Игорь Андреевич? Не скажу, чтобы я был очень ревнивый, но ведь любого можно донять... И вот как-то мы сидели думали, что бы такое предпринять, чтобы Ильин убрался из Крылатого. Не знаю, у кого из нас первого возникла мысль о письме. Якобы он довел Аню до того, что она решила покончить с собой. А я будто бы в последний момент спас ее... И показать это письмо Ильину...

— Так все-таки у кого возникла идея, у вас или у Ани? — уточнил я.

— Какое это имеет значение?

— Имеет, Валерий Георгиевич.

— Может быть, у меня... Не помню точно... Ну, написали... Я сказал Ане, что если Николай сам не уедет, то пойду к Мурзину с этим письмом. Вот тогда бы Ильин тут же вылетел из совхоза... — Залесский вздохнул. — Вот зачем письмо... Ужасное совпадение...

— Вы показали письмо Ильину?

— Нет, не успел.

— А когда оно было написано?

— Точно не помню. За неделю, кажется, до того, как она... — Залесский судорожно вздохнул.

— Хорошо, Валерий Георгиевич... Вы что, не были уверены в своей жене?

— Кто может быть уверен в женщине до конца? Тем более ухаживания Ильина в Вышегодске...

— А может быть, у вас разыгралось воображение? Почему вы не допускали, что Ильин действительно считал, что Ане надо работать по своей специальности? Заботился... Не потому ли вы уговорили Аню не вставать на комсомольский учет?

— Она сама... — выдавил он из себя. Но я видел — лжет. А Валерий продолжал: — Ильин заботился! Как бы не так! Верьте ему больше! Он и под меня копал...

— Каким образом?

— Когда я поступал на должность заведующего клубом, то совершенно не представлял себе, что это такое... Как на каждом месте, оказывается, свои порядки и традиции. Чтобы получить хороших артистов, надо подмазать кое-кому. Выбить шлягерный фильм, какой-нибудь детектив или заграничную ленту про любовь — тоже надо поставить бутылку коньяка. Аппаратура для кинокружка — опять, как говорится, давай на лапу... Пробовал

по закону, ничего не получалось. Кругом ведь жулики. В итоге план горит, зритель не идет, Мурзин костерит на собраниях... Ципов меня надоумил, как надо действовать. А деньги откуда? Зарплата мизерная. Ципов опять подкинул идею: продавать незарегистрированные в райфо билеты... Вот так и сдвинул дело с мертвой точки...

— Вы продавали билеты на киносеансы, а деньги брали себе?

— Что вы! — испуганно воскликнул Залесский. — Я же объяснял для чего... Ну, Ильин узнал об этом. И выложил Ане. Грозился меня разоблачить... Вот так одно к одному и получилось.

— Вы хотите сказать, что боялись разоблачения со стороны Ильина?

— Он мог устроить мне большую неприятность.

— Ладно, давайте вернемся к письму, — сказал я. — Вы знали, как оно появилось. Почему не рассказали следователю?

— Я испугался.

— Чего?

— Что следователь подумает, будто я склонил ее к самоубийству... Между прочим, то, что вы читали, это второй вариант. Первый написала сама Аня. Получилось нескладно, невразумительно, хотя, как я потом анализировал, искренне. Я до сих пор не знаю, было у нее с Ильиным что-нибудь серьезное или нет. Ход, задуманный нами против него, возможно, подсознательно, был продиктован действительным чувством ее вины. Скажу откровеннее: после ее смерти я считал, что она была беременна не от меня, а от него... Вы читали «Аварию» Дюренматта?

— Да. И видел фильм по телевизору.

— Вспомните, там тоже началось с игры. А чем кончилось? Человек повесился. Кстати, в фильме другой конец, не знаю, зачем только... И вот я прихожу от Коломойцева утром... Аня... Письмо... Поверил бы мне следователь? Тут уж надо было думать о Сергее. О нем я и вспомнил в первую очередь. Представьте мое положение. Я ведь знаю Уголовный кодекс.

Залесский вынул чистый, выглаженный и сложенный квадратиком носовой платок, вытер лоб и дрожащие руки.

— Прочтите, пожалуйста, протокол и распишитесь, — сказал я.

Залесский читал протокол внимательно, держа в руке красивую иностранную авторучку.

Правду он сказал или солгал? Версия его выглядела вполне правдоподобно. Сочинить ее экспромтом... Впрочем, у него для этого было достаточно много времени. Выросший в семье известного адвоката, человек, по всему, любознательный, Залесский мог догадаться, что визит Ищенко, новое расследование — все это неспроста.

— Но ведь я сам рассказал вам о письме! — оторвался Залесский от протокола.

— После предъявления вам заключения экспертизы, — сказал я.

Залесский вяло пожал плечами: мол, если вы настаиваете, мелочиться не буду.

Он расписался где полагается, вернул протокол, вопросительно посмотрел на меня. Я намеренно медлил. Залесский не выдержал, спросил:

— Я могу идти?

— Нет. Мы закончили с одним вопросом. Перейдем к другому.

Он молча кивнул. Снова полез за платком в левый карман джинсов, забыв, что от волнения положил его в правый.

Я дал ему заключение Яшина, судмедэксперта, проводившего эксгумацию трупа Залесской.

Говорят — опрокинутое лицо. Вот такое было сейчас у Залесского. Это — как смотреть на жуткое зрелище, не в силах оторваться от него, но и не в силах больше видеть...

Он страдал. Но от чего? Если убил он — воспоминание о содеянном? А если не он — ведь это его жена...

Кончив читать, Залесский глухо произнес:

— Это ужасно! Стас писал мне, что ходят слухи... Но я не мог поверить в это!

Красивый лоб его побелел, как-то сразу обозначились глазницы, зрачки неестественно расширились. Мне показалось, что он близок к обмороку.

— Я всю ночь был у Коломойцева... Стас подтвердит, тетя Дуня... Матюшина... Товарищ следователь, честное слово, я не отлучался ни на минуту. Утром я пришел домой, она уже была неживая, — заговорил он лихорадочно. И мне врезалось в сознание слово «неживая». Он, видимо, боялся сказать «мертвая». — Клянусь сыном, — продолжал Залесский истерично, — я не убивал. До сих пор, вот до этой минуты, был уверен, что она покончила с собой... Думал, все это сплетни...

Я испугался за него. Мне вдруг показалось, что Залесский сейчас сползет со стула, распластается на полу, потому что он стал говорить все тише, тише, его голос перешел в бормотание, сквозь которое я различал лишь отдельные слова: «...за что... бедная Аня... злой рок...»

— Валерий Георгиевич, — сказал я твердо, — выпейте воды.

Он машинально взял стакан и, когда пил, залил водой свитер и джинсы. Да, натура не из сильных. В довершение всего он, неловко ставя стакан на место, уронил его, и тот разбился. Залесский бросился собирать осколки. Я тоже принялся помогать ему, отобрал (именно отобрал, а не взял) остатки стакана и кинул в корзину для бумаг.

— Простите, ради бога, — сказал Залесский. — Прямо как обухом по голове... Аня до сих пор часто снится мне... Такая красивая, теплая... Вам, конечно, этого не понять.

Он притих, отрешенно глядя в окно.

Меня кольнуло слово «теплая». Очень понятное, человеческое

слово. И мне вспомнилось, что он приезжал в Крылатое поставить памятник. Может быть, внутренний его мир, который я представляю себе, мало чем похож на настоящий? Кто-то сказал, что человек может быть и великим и ничтожным...

Жалость сдавила мне грудь. И тут же возникла досада на самого себя: расслабился.

— Продолжим, — сказал я. Залесский печально кивнул. — Как вы думаете, кто мог убить вашу жену?

— Не знаю... Не могу себе даже представить кто...

— Когда вы написали письмо, куда вы его дели?

— Кажется, в тумбочке валялось... Знаете, решиться на такой шантаж...

— Кто-нибудь, помимо вас с Аней, знал о существовании письма?

— Нет, — подумав, ответил Залесский.

— Коломойцеву не говорили о нем?

— Нет.

— А Ципову?

— Ни в коем случае... Может, Аня кому-нибудь сказала? Теперь не узнаешь...

— Когда вы зашли утром девятого июля домой, где лежало письмо?

— На столе.

— В вашем доме часто бывали друзья, знакомые?

— Ну как часто? Бывали. Так ведь какие развлечения в совхозе? Ко мне люди тянулись. — Это он произнес не без гордости. — Молодежь в основном.

— Из района кто-нибудь бывал?

— Из района? — задумался Залесский. — Инспектор отдела культуры.

— Юрий Юрьевич?

— Да. Раза два был сотрудник районной газеты Шапошников. О клубе писал.

— А из других городов?

— Кто поедет в такую глушь? Впрочем, ребята из стройотряда заходили в гости...

— Что за гость был у вас двадцать пятого июня?

— Двадцать пятого июня? — удивился Залесский.

— Да, Генрихом зовут.

— Нет, не было у нас никакого Генриха... Я точно помню, — ответил Залесский.

— И друзей у вас с таким именем нет?

— Есть. В «Вечерней Одессе» работает. Но я знаком с ним всего три месяца... Постойте, какого, вы говорите, числа?

— Двадцать пятого июня, — повторил я.

— Так меня в этот день не было в Крылатом. Ездил в Североозерск... Да, в отдел кинофикации... Откуда мне знать, были у нас гости или нет? Думаю, Аня сказала, если бы были...

Он спокойно выдержал мой взгляд. Был Залесский двадцать пятого июня дома или нет, я в данный момент проверить не мог.

И продолжать разговор без убедительных фактов не имело смысла. Приезжал же Генрих в Вышегодск в отсутствие Залесского. Из показаний Завражной, к которой приходила в тот вечер Аня за иконой, на этот счет нет особой ясности. Залесская сказала, что опять приехал какой-то «тип». О муже, кажется, речи не было. Он мог и отсутствовать.

А если бы даже Аня сказала, что Валерий был? Мы не знаем, какие отношения у нее с Генрихом. Соврать недолго...

— А восьмого июля вы никого не ожидали в гости?

— Нет, не ожидал... Ожидал бы, так не отправился к Коломойцеву.

— Свидетели показывают, что восьмого июля Генрих приезжал в Крылатое. Около десяти часов вечера. Может, вы что-нибудь заметили утром девятого июля дома? Окурки, например, или еще что?

Залесский сдвинул брови, напрягая память. Посмотрел в пол, в окно, на меня. И покачал головой:

— Нет, не заметил. Да и не до этого мне было.

Не знаю, что с ним произошло. Он вдруг совершенно потерял интерес к тому, о чем я его спрашивал. Углубился в себя, о чем-то тихо, упорно скорбя. После перенесенного потрясения Залесский или не мог, или отказывался со мной разговаривать. «Нет... не знаю... не видел...» — вот его ответы.

Я решил оставить вопрос о Генрихе на следующий день. Залесский подписал протокол не читая, молча взял повестку на завтра и, отрешенно попрощавшись, вышел из кабинета.

Подождав несколько минут, я позвонил в опорный пункт охраны порядка ожидавшему звонка участковому инспектору, на чьем участке проживал Залесский. И тут же выехал на машине прокуратуры произвести в доме Залесских обыск. Если Генрих дружил с Валерием, то, вполне вероятно, могло отыскаться письмо или еще что-либо, подтверждающее их знакомство. И если бы Залесский захотел уничтожить эти доказательства, то не успел бы: я опередил бы его.

Через двадцать минут мы стояли с понятыми (два соседа) и участковым инспектором перед массивной высокой дверью с медной табличкой «Адвокат Г. С. Залесский». Звук звонка еле пробивался на лестничную площадку.

Дверь приоткрылась, и в проеме показалось недоуменное лицо женщины, холеное, с яркими звездочками бриллиантов в мочках ушей. Не знаю почему, но такие сережки — в тонкой оправе, простые и строгие — казались мне всегда верхом аристократизма.

— Вам кого? — спросила женщина, тоном давая понять, что мы ошиблись адресом.

— Залесский Валерий Георгиевич здесь проживает? — спросил я.

— Проживает... Но его нет дома... Не знаю, где сын... — Залесская удивленно оглядывала всю группу.

— Разрешите войти. Вот постановление на обыск... Вот мое удостоверение.

Залесская отступила в коридор, все еще не понимая, а вернее, не желая верить в реальность такого визита. По-моему, она даже взглянула на медную табличку на двери с витиеватой надписью.

Понятые — смесь любопытства и смущения — зашли в коридор. Хозяйка предложила нам снять пальто, сменить обувь на домашние туфли, несколько пар которых стояло в нижнем отделении вешалки.

Я попросил Залесскую проводить нас в комнату Валерия.

Просторная квартира в доме постройки начала века была обставлена красиво и дорого.

Полина Модестовна — так звали мать Валерия — держалась с большим достоинством. Во всяком случае, выдержки у нее куда больше, чем у сына. Она сообщила, что ушла утром в магазин, а когда вернулась, Валерия уже не было. Муж в отъезде, во Львове, на судебном процессе в качестве защитника (это, видимо, предназначалось мне: такой известный адвокат, что приглашают из других городов), а внук гуляет с няней на улице.

В комнате Залесского-младшего одна стена — сплошные стеллажи с книгами. Добротный диван, письменный стол. При обыске книжные шкафы и стеллажи всегда вызывали у меня уныние. Я приступал к ним обычно в последнюю очередь.

Первое, что бросилось в глаза, — вместительный кожаный чемодан с «молниями» и ремнями. Он лежал раскрытый на диване, заполненный до половины. Были видны только летняя мужская сорочка и шорты. На диване, письменном столе, стульях — всюду были разложены вещи, приготовленные, видимо, в дорогу. Стопка выглаженных носовых платков, электробритва в футляре («Ремингтон», английского производства), рубашки, носки, портативная пишущая машинка, любительская кинокамера «Киев», замшевая курточка, новые, еще не надеванные, мужские босоножки (импортные), пачка конвертов с надписью «Par avion» для международных отправлений, дорогая гитара с инкрустированным грифом. Беглого взгляда было достаточно, чтобы определить: собирались куда-то надолго. Куда же — понять было трудно. Шорты и теплый свитер, светлый летний костюм и мохнатая меховая шапка, разобранное удилище спиннинга и ракетка бадминтона с запечатанной коробкой воланов...

Видя, что я несколько озадачен, хозяйка квартиры сказала:

— Валерий завтра утром уходит в загранплавание, а еще столько дел...

Она давала понять, что приход мой — недоразумение, которое нужно поскорее разрешить.

— Какой обыск, если сын едет за границу? — продолжала Залесская, искренне недоумевая. — На три часа заказано такси. Они ведь за день должны прибыть на корабль... Звонили уже, беспокоятся...

— Кто звонил? — вырвалось у меня.

— Генрих. Приятель сына. Они отправляются вместе...

Я посмотрел на часы. Без четверти два. Мой мозг работал лихорадочно. Что-то надо было предпринять. Куда направился из прокуратуры Валерий Залесский? После того, что я сообщил ему о Генрихе...

— Как фамилия Генриха, где он живет? — спросил я у хозяйки.

— Глазков, Генрих Васильевич, — удивленно посмотрела она на меня. — А вот где живет, право, не знаю. Можете узнать у сына...

— Кто он, чем занимается? — У меня было слишком мало времени для всяких формальностей.

— Он устроил Валерия в плавание... Где работает? Даже затрудняюсь сказать.

— Давно они знакомы?

— Порядком... Лет восемь-десять назад мой муж вел дело Глазкова. Как адвокат. Генрих случайно попал в какую-то нехорошую историю... Муж дело выиграл. Глазкова оправдали. И, представьте себе, сейчас это положительный, культурный... — Она не закончила мысль. В коридоре раздался телефонный звонок. — Это, наверное, он.

Залесская двинулась к двери, но я остановил ее:

— Постойте, я возьму трубку сам.

Я бросился в прихожую, схватил трубку.

— С кем я говорю? — спросил грубоватый женский голос.

— Это квартира Залесских, — ответил я.

— Хозяин сам, что ли?

У меня мелькнула мысль: не попросил ли кого-нибудь Валерий или Генрих разведать, что происходит в квартире.

— Слушаю вас, — ответил я нейтрально.

— Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, — сказала женщина. В сочетании с хрипловатым голосом эта фраза прозвучала задушевно и искренне. — Это вам из больницы звонят... Ваш сын у нас. Вы, папаша, на самом деле не переживайте сильно...

— Да говорите же, что случилось? — Я прикрыл трубку рукой, потому что на меня смотрела Залесская, выйдя из комнаты Валерия в коридор.

— Ему наложили гипс, уколы сделали. Вот попросил позвонить домой. Сам попросил... Машина его задела.

— Где он лежит?

— Вторая городская больница, травматологическое отделение, шестая палата.

— Спасибо, — машинально поблагодарил я.

— Что-то случилось с Валерием, да? — бросилась ко мне Залесская. — Прошу вас, скажите правду!

Я растерялся:

— Полина Модестовна, пожалуйста, не волнуйтесь... Да, Валерий в больнице, но он жив и... В общем, как будто ничего страшного...

Она заметалась по коридору, зовя какую-то Машу, видимо,

няню внука. И, вспомнив, что той нет, сорвала с вешалки пальто.

— Я должна быть с ним, понимаете, с ним! — чуть ли не схватила она меня за пиджак. Куда девался ее апломб! Наверное, в такие минуты все матери ведут себя одинаково.

Хорошо, что нашлась одна из понятых, женщина средних лет.

— Полина Модестовна, возьмите себя в руки... Где у вас аптечка? — Она, конечно же, знала Залесскую хорошо — соседи, и теперь в ней заговорили простые человеческие чувства.

— Ольга Павловна, голубушка, — взмолилась Залесская, натягивая на ноги лаковые сапожки, — там в кухне, справа, в шкафчике, капли Вотчала... Двадцать капель...

Я решил прервать обыск и ехать вместе с ней в больницу.

Как это угораздило Валерия Залесского попасть под автомобиль? Я вспомнил его совершенно подавленное состояние, с которым он уходил после допроса. Неужели сам?..

Соседка принесла Залесской рюмку с мутной жидкостью и чашку с водой. В коридоре резко запахло лекарством.

— Полина Модестовна, — предложил я, — поедемте на нашей машине.

— На чем угодно, только скорей.

Понятых я отпустил. Участковый инспектор остался ждать няню с внуком. Я отвел его в сторону и дал указание, что отвечать, если будет звонить Генрих. В машине передал Полине Модестовне разговор с санитаркой, пытаясь смягчить его еще больше. Залесская молча прикладывала платочек к глазам, но, в общем, держалась.

Только когда врач подвел нас к палате и она увидела сына, лежащего на больничной койке с поднятой вверх загипсованной ногой, Залесская расплакалась, бросилась к Валерию.

Мы с хирургом прикрыли дверь, оставшись в коридоре.

— Как он? — спросил я.

— Он-то что, — вздохнул врач. — Перелом. Ну, шок был небольшой. А водитель... — Хирург покачал головой и посмотрел на часы. — До сих пор оперируют. Сам завотделением. Тяжеленная черепная травма. Раздроблен весь левый плечевой сустав... У мужика трое детей, жене кто-то сообщил, сидит возле операционной... На ее лицо глянуть невозможно...

— Вы знаете, как это произошло?

— Рассказывают, что этот парень сам бросился под машину. Шофер чудом успел свернуть — и в угол дома. Наверное, опытный водитель. Самосвал!

— Я могу побеседовать с Залесским?

— По вашей линии, хотите сказать?

— В общем, да... Допросить.

— Это срочно?

— Срочно.

— Ну хорошо, недолго — можно. Только и я там буду. За него в ответе, как говорится...

— Пожалуйста.

Хирург заглянул в палату и довольно бесцеремонно произнес:

— Мамаша, повидались, достаточно... Мы и так сделали для вас исключение.

— Иди, мама, все будет хорошо, — услышал я голос Валерия.

Послышался звук поцелуя. Залесская вышла.

— Что с шофером? — спросил Залесский у врача, когда мы вошли в палату.

— Плохо, — хмуро ответил хирург, и мне показалось, что он хотел крепко выразиться. Наверное, выразился бы, не присутствуй я. Понять его можно: он знает, что сейчас делается в операционной, помнит, что у дверей сидит убитая горем женщина, которой, возможно, не суждено увидеть мужа живым. Да, атмосфера была тягостной.

— Голова не кружится? — спросил у Залесского врач.

— Нет.

— Не тошнит?

Хирург подумал минуту и бросил:

— Вы начинайте, а я сейчас вернусь. — И вышел из палаты.

Я сел на единственный стул.

— Игорь Андреевич, — начал Залесский вполне твердым голосом, — я вам сказал неправду насчет Генриха... Когда вы мне сообщили, что он был восьмого июля в Крылатом, я понял все... Почему он посоветовал шантажировать Ильина, звонил специально из Североозерска, написали ли мы с Аней якобы предсмертное письмо... Какой же я был слепец! Но я никогда не мог предположить, что Генрих способен на убийство. Знал, что он деляга, нечист на руку, беспощаден... Но поднять руку на женщину! И таким ужасным способом!

— Он был двадцать пятого июня у вас дома?

— Как снег на голову свалился. Я думал, что он не найдет меня в Крылатом. Недооценивал его...

— А теперь, пожалуйста, по порядку. Откуда вы знаете друг друга, что вас связывало, о его визите двадцать пятого июня...

— Как познакомились? Отец был защитником по делу, по которому проходил Генрих. Полностью — Генрих Васильевич Глазков... Я не знаю точно, что было на процессе, кажется, кто-то изменил показания или еще что. Короче говоря, отец дело выиграл. Генриху вынесли оправдательный приговор. Я учился тогда в десятом классе. В благодарность, что ли, но он стал меня опекать. Водил в рестораны, подкидывал кое-что из вещей. Куртку там, джинсы — это особый дефицит, стильный плащ... В Одессе я в институт не поступил, срезался. Знакомые отца написали из Вышегодска, что там легко поступить в сельскохозяйственный институт. Мне было все равно. Диплом на самом деле нужен был родителям. Как же, сын обязан иметь

диплом. Короче, я уехал в Вышегодск, потерял Генриха из виду... После третьего курса приехал на каникулы домой, встретил его на Дерибасовской. Он сказал, что перебирается в Таллин. Дал адрес... Когда у нас с Аней все началось, я вспомнил о нем. Поехали с ней к Генриху, как бы в свадебное путешествие... Он устроил нам такую жизнь, о! — у Залесского неожиданно прорвались одесские нотки.

— На такси в Тарту, — кивнул я, — обеды в «Паласе». Записи Армстронга, Хампердинка...

Валерий посмотрел на меня с опаской: и это мне известно?

— И все бескорыстно, — продолжал он. — По дружбе... Вы знаете, что произошло в то лето, когда я уехал в Одессу и не вернулся? Пристроиться мне было некуда, в голове романтика, жажда дальних странствий... Я написал Генриху, что хочу в загранку — это у нас так говорят. Он устроил меня на рыболовную флотилию в Атлантику... — Залесский замолчал, наверное, подходил к самому трудному.

— Тоже бескорыстно, по дружбе? — спросил я не без иронии.

— Нет, — ответил он с какой-то решимостью. — С Канарских островов — там у нас по договоренности с Испанией была база для отдыха и смены рыболовецких экипажей — я ему привез чемоданчик. Небольшой такой. Передали...

— Кто передал? Из наших?

— Да. Что было в чемоданчике, я не знал.

— Сколько вы получили за эту операцию?

— Около двух тысяч рублей... Через год Генрих снова устроил меня в плавание. И снова я привез ему чемоданчик...

— Вознаграждение?

— Три с половиной тысячи...

— Кто был отправитель?

— Я могу подробно все написать...

— Хорошо, вы это потом сделаете... Дальше?

— Генрих меня опять стал уговаривать в загранку. Честно говоря, я испугался. Таможня... Поймают с товаром — пиши пропало... Тогда по его поручению я стал разъезжать по городам, возить разное барахло.

— Контрабанду?

— А черт его знает, где он доставал...

— Что вы возили?

— Лучше спросите, чего я не возил! — опять по-одесски воскликнул Валерий. — И часы японские, и жевательную резинку, и женские сапоги... когда платформа появилась... Я постараюсь все вспомнить...

— Куда, и кому, и сколько, — подчеркнул я.

Залесский кивнул и продолжал:

— Был я как-то в Москве...

— Жили у Палий, — подсказал я.

— У Палий, — подтвердил он, — и встретил однажды на

улице парня с нашего курса, Олехновича... Он мне про Аню рассказал. Что у нас, оказывается, ребенок растет и так далее... И все во мне словно перевернулось. Я понял, как запутался... Нет, вы представляете, узнать, что у тебя есть сын! Вспомнил Аню, светлую нашу любовь... Как я по утрам приносил ей полевые цветы... И махнул в Вышегодск. Подальше от суеты, Генриха, темных дел... Да, кстати, он меня в Москве надул, оставил без денег...

— И вы заняли у Ирины Давыдовны...

Залесский смущенно хмыкнул.

— Как раз был повод порвать с ним. — Он постарался вопрос о денежном долге Палий обойти. — Мы пошли с Аней в загс, продали домик за какие-то гроши и уехали в Крылатое... Очиститься, — он криво усмехнулся. — Наивная мечта. Но он и там разыскал меня.

— Об этом, пожалуйста, точнее, — сказал я.

— Он приехал двадцать пятого июня под вечер... Мы сели выпить, закусить. Аню я послал к Завражным. Мне там одна икона приглянулась. Не шедевр, но очень симпатичная... Генрих иконы собирал, тоже одна из статей его «бизнеса»... Анфиса Семеновна подарила Ане старинную икону, доставшуюся ей в наследство, «Параскеву Пятницу». Генрих у меня ее выпросил... Короче, нам надо было остаться вдвоем. Генрих напирал, что я должен участвовать в его махинациях. Еще сострил, что из его «фирмы» не уходят, из нее выносят ногами вперед. На испуг брал. Я стал отказываться. Тогда он заявил напрямик: рано или поздно заметут. Надо, говорит, сматывать на ту сторону...

— Как это? — переспросил я.

— За границу, — пояснил Валерий. — Я сказал, что он с ума сошел... У меня ведь семья, ребенок, Аня в положении... А слух у него — как у сторожевой собаки... Вдруг он сделал знак: молчи, мол. И вылез в окно. Потом появился в окне и показывает мне на дверь. Я подошел, открыл — Аня стоит. Бледная, испуганная. Спросила, где Генрих. Я что-то буркнул, во двор будто бы пошел... Она спать легла... Я вышел во двор. Генрих все интересовался, расспрашивала меня Аня о чем-нибудь или нет. Я ответил, что нет... Генрих спросил, есть ли у меня в Крылатом «хвосты». Ну я и выложил насчет истории с билетами и Ильина. Генрих очень рассердился. Сказал, что лучше бы я обратился к нему, если мне были нужны деньги. Я напомнил ему Москву... Он сказал, ладно, мол, надо выход искать. И предложил идею насчет письма... Спросил, как бы ему пораньше уехать из Крылатого. Я посоветовал пойти к Стасику. Только не от моего имени. Для конспирации... Генрих на прощание настоятельно рекомендовал подумать о его предложении. В смысле на ту сторону... Чтобы он отцепился, я пообещал подумать. На следующий день Аня поехала в район. Приехала какая-то раздраженная... А тут я узнал, что в Североозерске их видели с Ильиным... Знаете, Игорь Андреевич, я не

верю мужчинам, которые хвалятся тем, что им все равно, как ведет себя жена. Врут... Я тоже притворялся таким... свободным от предрассудков. Словом, мы с Аней повздорили. Она мне Генрихом тычет, а я ей Ильиным...

— Что она слышала из вашего разговора?

— До сих пор не знаю, честное слово... Во всяком случае, она не говорила ничего конкретного. Только заявила, чтобы его в нашем доме больше не было... Я распалился, кричал, что, если Ильин не уедет из Крылатого, тогда уеду я... Поругались, помирились. Я пообещал порвать навсегда с Генрихом. Она сказала, что сделает что угодно, лишь бы я не уезжал. Я заикнулся насчет письма. Сначала она сказала, что это некрасиво. Потом я поднажал, и она согласилась... Через неделю мне в клуб позвонил Генрих, спросил, что я надумал. Я все вокруг да около... Он как бы невзначай поинтересовался насчет письма. Я ответил, что все в порядке. Он пообещал, правда неопределенно, что подъедет обговорить, как лучше сделать дело. Еще посоветовал хорошенько его спрятать, чтобы заранее никто не увидел. Я и ляпнул — в тумбочке оно... Почему-то я об этом разговоре забыл... А когда вы утром на допросе сказали, что Генрих был восьмого июля в Крылатом, у меня в голове будто молния пронеслась. Окончательно я понял, что Генрих убийца, когда вышел от вас. Он думал, что Аня донесет... Самое страшное — помог ему в этом убийстве я. — Залесский замолчал, прикрыл глаза. Молчал и я. Потом он медленно, глухо проговорил: — Я неудачник. Хотел покончить счеты с жизнью и опять совершил ужасную вещь... Мне нянечка рассказала... Неужели и этот человек погибнет?!

В комнату вошел врач. Посмотрел на Залесского, на меня, помедлил. Я решил воспользоваться этим и спросил у Залесского:

— Вы знали, какие планы у Генриха?

— Я вам говорил...

— А вы зачем хотели отправиться в плавание?

— Нет! — воскликнул Залесский. — Я бы никогда на это не пошел! Я должен жить для моего Сережи... Ради Ани...

Не знаю, насколько искренне он говорил это. Хотелось думать, что искренне. Врач покачал головой и показал на свои наручные часы...

Генрих позвонил на квартиру Залесских около трех. Ему ответила няня (как было договорено), что Валерий уже уехал в порт.

В пять часов вечера Глазков поднялся на борт сухогруза «Красноярск» и расположился в своей каюте.

В четверть шестого я был на борту «Красноярска» в сопровождении оперативных работников.

Глазкову было предъявлено обвинение в убийстве Залесской Ангелины Сергеевны и постановление об аресте. На его запястьях щелкнули наручники.

Пригласили понятых из членов команды. Чемодан Глазкова оказался с двойным дном. В тайнике были обнаружены крупные бриллианты, иконы, в том числе «Параскева Пятница». Впоследствии специалисты оценили ее в несколько десятков тысяч рублей. Впрочем, остальные представляли не меньшую ценность. А одна из них даже разыскивалась в связи с ограблением церкви под Владимиром, во время которого был убит церковный сторож.

Глазков наотрез отказался давать какие-либо показания. То, что знал о нем Залесский, было далеко не все из преступной деятельности этого опасного рецидивиста. Распутыванием его темных дел я занимался не один месяц. Но это тема для другой книги, и, возможно, я когда-нибудь решусь написать ее. Мне и сотрудникам МВД, в том числе Ищенко, пришлось еще много поработать, прежде чем следствие по делу Глазкова было закончено.

А тогда в Одессе после его ареста я вынес постановление об этапировании Глазкова в Москву. Залесского по выздоровлении тоже взяли под стражу.

Вылетел я в Москву тридцатого декабря.

А тридцать первого...

Это был не самый веселый день в моей жизни... Я ехал в пустой электричке в последний час уходящего года. И не мог собраться с мыслями после разговора с Надей.

Когда я прилетел в Москву и доложил обо всем Эдуарду Алексеевичу, он сразу отправился к прокурору республики лично рапортовать о результатах следствия. Правда, поздравив меня с успехом. И еще он успел с улыбкой бросить:

— Мне телефон оборвали... Вынь Чикурова да положь... — И поспешил к начальству.

Что уж тут было гадать — Надя. Моя дурацкая следовательская логика без промедления подсказала: беда... Зная, что я звоню сам, как только моя нога ступает на московскую землю, просто так искать меня она бы не стала. Сразу в голове возник их домашний лазарет, больная Варвара Григорьевна, медсестра, приходившая каждый день делать уколы. Как-то Надя обмолвилась, что у матери неважно с сердцем.

Набирая номер телефона Дома моделей, я на всякий случай подбирал слова утешения. Хорошо, что сначала подойдет Агнесса Петровна. Амортизатор...

Но трубку взяла Надя.

— Игорь! — вырвалось у нее. И в голосе какой-то испуг и облегчение, что это наконец я. — Как ты мне нужен!..

— Да, Наденька, я... Я!

— Ты так был нужен... Ты мне был очень нужен, — повторяла она...

Я пригласил ее немедленно приехать и, терзаемый неведомой тревогой, терялся в догадках, пока она шла ко мне в прокуратуру.

После моего визита к ним Надя решилась наконец поговорить

с Кешкой о том, что выходит за меня замуж. Чего это ей стоило, по ее словам, она не могла передать. Куда тяжелее, чем объяснение с мужем.

Результатом явилось то, что ее сын исчез из дому. Его искали два дня. Кешку забрали в детскую комнату милиции в аэропорту Шереметьево, обратив внимание на странное поведение подростка... В настоящее время он лежит в больнице — нервное потрясение.

Аэропорт... Подсознательно он искал своего отца — летчика. И это было так пронзительно просто, как истина, открывшаяся мне, когда я впервые увиделся с этим необычным, не по годам задумчивым, ушедшим в себя мальчиком: кем бы я ни был, хоть самым привлекательным и интересным человеком на свете, я никогда не смогу стать для него настоящим отцом. Это поняла и Надя.

— Что же будет, Игорь? — спросила она с тихим отчаянием.

Что я мог ответить?

О встрече Нового года вместе не могло быть и речи. Надя уже добивалась (через Агнессу Петровну, разумеется) разрешения подежурить в новогоднюю ночь у сына в больнице. А я вот ехал к Ивану Васильевичу...

Сошел я на тихой подмосковной станции. Здесь, за городом, оттепель не чувствовалась. На платформе — снег, утоптанный и скользкий.

Дачный поселок притих среди высоких корабельных сосен. Безмолвно раскачивались фонари на деревянных столбах. Я быстро шел по узенькой тропинке, проложенной в снегу, вдруг испугавшись, что не найду Ивана Васильевича до двенадцати. Кругом — ни души. Не у кого спросить нужную улицу.

В руках у меня — шоколадный набор неимоверной величины и бутылка шампанского.

Все ориентиры оказались на своих местах. И, толкнув приметную калитку с номером дачи, я засомневался: стоило ли ехать сюда? Конечно же, соберется компания, совсем не подходящая мне. Высокая публика, в чинах, званиях и регалиях. Однако раздумывать было уже поздно. Тем более меня приглашали. Почему я решил ехать именно к Ивану Васильевичу? В Скопин — стыдно: растрезвонил про невесту.

Но одному нельзя. Ни в коем случае. Чтобы не маяться в одиночестве целый год. Такая примета.

Вот и выходило — к бывшему начальству проще всего...

Я прошел к домику. В глубине двора показалась высокая фигура.

— Ба! Не может быть! Игорь Андреевич... — подошел Иван Васильевич с охапкой поленьев. — Отвори, голубчик, двери...

Мы зашли в сени. На хозяине — поношенная шинель до пола из доброго сукна с темными полосами на плечах, где когда-то были погоны. Штаны тоже старые, из хорошей шерсти, с зелеными лампасами.

— Раздевайся, прошу. Мамуля, у нас гость!

Екатерина Павловна уже выходила из комнаты в длинном платье, отделанном кружевами.

— Мы очень рады, — сказала она и, пригнув мою голову теплыми ручками, поцеловала в лоб. — Я говорила Ване, к нам обязательно кто-нибудь зайдет. Недаром поставила на всякий случай третий прибор...

Я не стал спрашивать, почему они одни. Они тоже не интересовались, почему я один.

— К столу, к столу, — засуетилась старушка, — скоро двенадцать.

И вот уже зазвучали позывные Москвы.

Я отогнал от себя все мысли о том, где сейчас Надя.

Я был желанный гость для этих двух людей. Знавших и не знавших меня. А быть желанным гостем — это не так уж плохо.

ОБ АВТОРАХ

«Вся в будущем»

Так емко и афористично определил существо образа главной героини повести Лидии Сейфуллиной «Виринея» Д. Фурманов. Взволнованный, глубоко потрясенный повестью, он писал: «Дважды прочитал я «Виринею», и дважды острое чувство боли сжало сердце, когда убили Вирку: так тяжело бывает только при гибели дорогого, близкого человека... И когда ее уж больше нет — вы особенно явственно начинаете чувствовать и понимать, что это ушла большая, сильная личность, что дремавшие и пробужденные в ней революцией силы и в десятой доле не нашли еще своего приложения, что вся она была в будущем. Вот почему так тяжело, когда погибает Виринея».

Это свидетельство, это восхищение автора «Чапаева» и «Мятежа» особенно значительно и особенно ценно для нас. Но он был не единственный из современников, кто по достоинству высоко оценил творчество Лидии Николаевны Сейфуллиной и одну из главных жемчужин этого удивительного и самобытного творчества — «Виринею». Приведем высказывания трех известных в двадцатые годы литературных критиков, опубликованные в весьма авторитетных в то время изданиях — газете «Известия», журналах «Красная новь» и «Печать и революция».

Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют суждения А. Воронского: «Виринея — новый тип женщины на Руси. Она стала возможна только в нашу эпоху. Она свидетельствует о могучем росте личности трудового человека, и в частности деревенской женщины... Женщина — цепко отстаивающая «свой нрав», свою долю, и вместе с тем она — целиком русская женщина, словно впитала она в себя русский буй и хмель, своенравное сибирское непокорство и кержацкую крепость и твердость характера, деревенскую упористость и легкость в работе, непреложный закон земли — засеяться плодоносно и родить, и мягкую женственность неярких цветов, линий и красок Севера».

Его как бы дополняет и развивает, раскрывая художественные достоинства повести, акцентируя внимание на профессиональных приемах письма писательницы, Н. Смирнов: «В повести масса незабываемых, навсегда перечеканиваемых памятью сцен. Такие сцены, как встреча Виринеи с инженером-интеллигентом (впоследствии полюбившим ее), убийство этого инженера полубезумным Магарой, бесплодное ожидание Магарой «провозвещенной» ему смерти, сельские выборы в Учредительное собрание или, наконец, мученическая смерть Виринеи у дверей своей избы, за которой плачет ее первый ребенок, — сцены исключительной, редчайшей в современной литературе силы. Условно, в смысле поразительной разгадки женской души — в данном случае крестьянской, в смысле удивительно тонкого сплетения цветного кружева женской, противоречиво-бунтарской психологии, повесть можно сравнить с «Мадам Бовари» Флобера».

Перейдя от размышлений над образом главной героини к оценке произведения в целом, А. Лежнев в «Литературном обзоре» важнейших произведений 1924 года отмечал: «Лучшей и, уж во всяком случае, самой характерной для Сейфуллиной вещью

является «Виринея». В смысле общественного захвата, как широкое революционное полотно, она уступает «Перегною»: в центре повести уже не революционная деревня в целом, а личная драма Виринеи. Но нигде положительные стороны писательницы не проявились так полно, как здесь. Из всех ее крупных вещей «Виринея» построена всего крепче...»

Представление об облике писательницы, выступившей в начале двадцатых годов одним из зачинателей советской прозы, будет неполным, если не обратиться к оценке «Виринеи», оценке творчества Лидии Сейфуллиной М. Горьким. Прочитав в 1934 году рассказ Л. Сейфуллиной «Таня», Алексей Максимович обратился к писательнице с проникновенными строками: «Мною давно уже было замечено, что вы не только весьма даровитый писатель, но и человечица, влюбленная в литературу и, главное, смело честная, искренняя... Вы человек, талантливо чувствующий, и вы имеете все данные для того, чтобы талантливо знать, талантливо различать нужное от ненужного. Именно об этом говорят «Виринея», «Правонарушители» и другие рассказы, включительно с последним, прочитанным мною о девочке».

Трудно переоценить этот отзыв Горького для Сейфуллиной, которого, как и все советские литераторы — его современники, она нежно и восторженно почитала. Можно представить, как счастлива она была оценкой ее творчества главой советских писателей, если учесть, что в этот период она переживала значительные творческие трудности.

...В 1924 году, откликнувшись на предложение редакции журнала «Красная новь», Лидия Сейфуллина стала писать рассказ к Международному дню работниц.

К этому времени она уже жила в Москве, приехав из Новосибирска по приглашению редактора «Красной нови» А. К. Воронского, уже была писателем-профессионалом, занимающимся исключительно литературным трудом, выступала в столичных журналах «Красная новь», «Молодая гвардия», «Прожектор». За ее плечами был нелегкий, но значительный жизненный опыт: учительница в маленьком уездном городке Оренбургской области, неудачная провинциальная актриса, разъезжающая со своей труппой по всей России, снова учительница в глухой мордовской деревне, ошеломленной горем первой мировой войны, библиотекарь, работник отдела народного образования в Челябинске, профессиональный писатель. Ее перу принадлежали такие значительные произведения, как «Четыре главы», «Правонарушители», «Перегной», впервые опубликованные в журнале «Сибирские огни», сыгравшие исключительную роль в литературной судьбе писательницы.

Повесть «Четыре главы», опубликованная в первом номере открывшегося в 1922 году второго по счету в стране литературного журнала «Сибирские огни», — первая большая вещь Сейфуллиной, от которой она ведет счет своей литературной биографии, — правдивое, неприкрашенное изображение мучительных поисков своего места в революции героини повести Анны. В повести «Правонарушители», появившейся во втором номере «Сибирских огней», писательница остро поставила проблему беспризорников, художественно выразительно рассказала о них.

«В этом рассказе, — писал о «Правонарушителях» будущий автор «Педагогической поэмы» А. Макаренко, — впервые и довольно неожиданно и смело были высказаны истины о право-

нарушителях, составляющие аксиому... Сейфуллина стоит на наших позициях, на позициях глубокой веры в человека, на позициях оптимистического воспитания...»

Темой следующей крупной повести писательницы — «Перегной», появившейся в пятом номере «Сибирских огней» и занявшей особое место в творческой биографии писательницы, стала забитая, дремучая, просыпающаяся под влиянием революционных событий сибирская деревня. Герои произведения хотя и погибают, но служат «перегноем» для удобрения социальной почвы, на которой вырастает рабоче-крестьянское государство, поднимается новая жизнь для их внуков — крестьян деревни будущего. Оценивая это произведение и творчество Л. Сейфуллиной, Лариса Рейснер в 1926 году писала: «Сила таких писателей, как Сейфуллина, в том, что они бесстрашными глазами умели видеть мрак, ужас, жестокость и мерзость старой, дореволюционной деревни... Кто смеет утверждать, что крестьянство, а отчасти пролетариат вступили в революцию, вступили в гражданскую войну такими же сознательными, политически зрячими... Поэтому и изумительна история этих лет, поэтому и остается она в памяти трудящихся как нечто небывалое и незабываемое, что русский мужик и рабочий шли в революцию, шаг за шагом, выдирая свои ноги из вековой застарелой грязи».

Тема гражданской войны и становления Советской власти была раскрыта и в таких рассказах писательницы, как «Ноев ковчег», «Александр Македонский», «Инструктор «Красного молодежа», «Старуха», «Милость генерала Дутова», и других. В них выведена галерея образов людей, поднятых революцией, почувствовавших свою значимость в новой жизни.

Человек в революции стал темой произведения, над которым Л. Сейфуллина работала по заказу «Красной нивы». Рассказ перерос в повесть, которая была закончена в три недели и по имени главной героини названа «Виринеей». «Материал о женщине, особенно о деревенской женщине, у меня большой, потому что моя бабушка была крестьянкой, — вспоминала впоследствии Сейфуллина, — моя молодость тоже прошла в деревне, среди крестьянских женщин. Знала я крестьянок и в дореволюционную эпоху, и в революционную. Я не могла писать о фабричной работнице, о городской женщине, которую я не знала, и начала писать о деревенской женщине. Рассказ для «Красной нивы» у меня расползся: двадцать четыре страницы, двадцать пять страниц, срок проходит — надо сдавать, а у меня сорок страниц, и еще конца не видно. Ясно, что в «Красную ниву» такой рассказ не мог влезть, а сокращать или бросить его было жалко. Явилась героиня, которую я чувствовала».

Много лет спустя в статье «Литература и жизнь» писательница рассказала о реальных прототипах своей героини: «В бытность мою учительницей в мордовской деревне Карайгыр, в Оренбургской губернии, была в моей школе приходящая сторожиха Ариша, очень красивая девушка и с большим характером... Для своей повести о деревенской женщине, стихийно рванувшейся к очистительной грозе Октябрьской революции, я взяла... жизнь Ариши, переплела ее с судьбой другой деревенской бунтарки-сибирячки. Эта вторая — деревенская революционерка первых лет нашего Октября. Она тоже была староверка, кержачка. А «октябрила» я свою соединенную героиню звучным староверским именем «Виринея»...»

Появившись в ряду таких произведений, как «Барсуки» Л. Леонова, «Железный поток» А. Серафимовича, «Города и годы» К. Федина, повесть «Виринея» заняла заметное место среди этих талантливо написанных книг.

Чтобы полнее представить облик автора «Виринеи», обратимся к ее динамичному и яркому портрету, нарисованному Ираклием Андрониковым: «Еще не было поэм Маяковского «Ленин» и «Хорошо!», не появился фурмановский «Чапаев» и читатели не слыхали еще имени Александра Фадеева, а на книгу Лидии Сейфуллиной «Перегной» записывались в очередь. Сейфуллину читали, Сейфуллину проходили в школе. Очень скоро имя ее стало народным именем и воспринималось как символ — как следствие Октябрьской революции в литературе, как художественное олицетворение революционных преобразований в стране.

1922 год. Трудно представить себе сейчас, как она была знаменита! Какие вызывала ожесточенные споры! Начиналось с Сейфуллиной, кончалось политикой. Но, кажется, все сходились в одном — талант!

Лидия Николаевна Сейфуллина писала новую, революционную жизнь, которую прошла сама, частью которой себя ощущала. Писала сжато, отрывисто, горячо, сильным и образным языком сибирской деревни, громко заговорившей о земле и свободе.

О деревне писали и классики. Но это была другая деревня. Разбуженная гражданской войной. Другая литература. Другой язык. Нельзя было оторваться от книги. В ней кипел сегодняшний день, сегодняшняя классовая борьба. В сознании читателя утверждались ленинские идеи».

Разрабатывая свою основную тему — человек в революции, Л. Сейфуллина в повести «Виринея» поведала о революционных превращениях своего героя, о перевороте в его сознании, показала как бы самый процесс рождения нового человека, утверждая при этом величайшую в мире ценность — ценность человеческой личности.

Говоря о вкладе Сейфуллиной в советскую литературу, следует прежде всего подчеркнуть то обстоятельство, что она одна из первых создала обаятельный образ русской женщины, вступившей на путь большевиков, ярко обрисовала резко очерченный характер нового человека.

Ее Виринея — озорная, смелая батрачка, бунтующая против косности старой деревенской жизни, ненавидящая фальшь, по-крестьянски прямая, может показаться слишком резкой, грубой, даже вульгарной. Но это на первый взгляд. Все это в Виринее показное, выражающее в ней, честной, естественной, лишенной наигранной фальши, резкий протест против несправедливостей жизни зависимых и угнетенных, против мещанской морали сытого благополучия. Писательница, по выражению М. Горького, «смело честная, искренняя», Сейфуллина не идеализировала свою героиню. Пером истинного художника она реалистически изображала сложный процесс перестройки личности и освобождения от пут рабских привычек, от инерции обычаев и традиций, показывала влияние революции на нравственную содержательность человеческой жизни. Определив одну из главных тем своего творчества — судьбу женщины в революции, Сейфуллина создавала свои произведения, особенно «Виринею», под знаком безграничной веры в потенциальные духовные силы русской женщины, она как бы говорила своим героиням и читательни-

цам: как бы ни было темно и страшно твое прошлое, ты должна найти в новой жизни свою дорогу, ты непременно добьешься этого, если не откажешься взять на себя часть общей тяжелой ноши.

Как справедливо подчеркивает исследовательница творчества Сейфуллиной Е. Старикова, писательница мало рассказывает о своей героине, почти ничего не объясняет в ее поведении, а поистине живописует образ — картинами, сценами, диалогами. Она сталкивает Виринею со множеством для такого сравнительно небольшого по объему произведения людей, каждый из которых — выхваченный прямо из действительности, и потому сама Виринея живет на страницах книги полной жизнью.

Открыто любуясь Виринеей, писательница не боится воспроизвести ее грубый язык, ее оскорбительную резкость в обращении с людьми. «Виринея» написана с огромной откровенностью подробностей, порой даже натуралистических, но эти подробности не заслоняют красоту и поэтичность образа, они делают его только достоверней. По существу, грубость Виринеи — это или крестьянская прямота, или протест против ханжества. У Виринеи большое чувство собственного достоинства.

Психологическая многогранность образа помогает писательнице убедительно воспроизвести постепенное превращение Виринеи в сознательного борца за народное счастье, в верную и любящую подругу революционера-большевика Павла Суслова.

«С тех выборов разгорячился народ. И каждый день все больше будоражливым приходил. В Акгыровке загалдели те, кто раньше голосу не подавал. Беднота, с постройки рабочие. Требовали землю и мир. Павел Суслов их коноводом стал. В конце зимы, когда большевистское начальство над всей страной власть взяло, и он главным в волости утвердился. Колгота по разноплеменному уезду большая шла. Вирка говорила Павлу:

— Не сносить тебе головы. На такую линию вышел. Нет, чую, не сносить.

— Что ж, на печку забиться да закрыться юбкой твоей?

— А я бы тогда тебе сама мышьяк в пирог запекла. Коли взялся — выстаивай. Уж такое дело твое. Только так, сердцем и скучлива когда, дак опасаюсь за тебя.

— А ты не опасайся. Детей моих береги. Теперь, видно, и стариться вместе станем. Привык я к тебе. Ни к первой жене, ни к одной бабе так не прилипал. Все одно — жена теперь ты, баба моя до старости, а там и до смерти».

На глазах читателя вырастает новая женщина, прошедшая путь от стихийного протеста против тяжелого деревенского быта, против лжи и лицемерия жизни к сознательному участию в революции.

Приход Виринеи к большевикам закономерен. Революция раскрывает выход всем чувствам и способностям героини. «Виринея выходила на путь борьбы, — подчеркивал Дм. Фурманов, — так же, как выходили тысячи, сотни тысяч, миллионы трудящегося люда: верные своему классовому чутью, толкаемые вперед всем строем господствовавших отношений, увлекаемые вперед наиболее твердыми, смелыми, сознательными». Путь Виринеи — путь миллионов.

Повесть «Виринея» получила широкую прессу и имела значительный успех у читателя. Переработанная Сейфуллиной вместе с В. Правдухиным в пьесу, она была поставлена на сцене

Вахтанговского театра (Третьей студии МХАТа). Стала одним из наиболее знаменательных спектаклей тех лет, с неизменным успехом прошла в Москве, Париже, Праге, а в последующем обошла многие сцены мира. В докладе на V Всесоюзном съезде работников искусств А. В. Луначарский отметил «Виринею» в Третьей студии МХАТа как постановку исключительную, указывающую новый путь театру. «...Если Виринею в книге, — говорил он, — я не склонен был признавать большим положительным типом, а лишь чем-то стоящим на рубеже, на пороге к нему, то Виринею театра я готов во всякое время провозгласить одним из самых светлых, поучительных образов, какие дало нам послереволюционное искусство».

«Виринея» — бесспорное свидетельство незаурядного таланта писательницы, выстраданное, весьма дорогое ее сердцу произведение. Недаром много лет спустя она скажет: «Виринея» — одно из основных моих произведений, написанных в течение двадцатипятилетней литературной моей работы».

Мысль о создании образа женщины — активной труженицы новой жизни — и в последующем не покидала Сейфуллину. Рассказ «Линюхина Степанида» как бы дополняет, продолжает тему «Виринеи». Героиня рассказа Степанида уходит с мужем на рудник, остается там при белых и не в силу стихийного чувства протеста, а совершенно сознательно помогает большевикам, становится «на селе головой». «Другие-то нашинские коммунисты только страсть задают, а эта ничего... От этой указка всегда в дело», — говорят о ней в деревне.

Если рассказ «Линюхина Степанида», продолжая тему «Виринеи», показывает новую женщину в новой обстановке, то рассказ о судьбе Анны Максимовны («Из рассказов Анны Максимовны») является как бы предысторией «Виринеи». Он возвращает читателя к проклятому прошлому, к тому времени, когда женщина была бесправна.

Галерею женских образов, созданных Сейфуллиной, дополняют Лиза из «Встречи» и Клепка из рассказа «Налет».

Созданием этих обаятельных образов Лидия Николаевна Сейфуллина обессмертила свое имя в советской литературе.

И хотя Виринея и некоторые другие полюбившиеся нам герои ее произведений, неоднолинейные, многосложные, погибают за светлую правду жизни, их трагедии оптимистичны. Произведения Сейфуллиной, все ее творчество по самому своему духу, настрою — активно и жизнерадостно. Недаром М. Шагинян справедливо заметила, что Лидия Сейфуллина внесла в советскую литературу на самой заре ее становления «струю неисчерпаемого оптимизма и бодрости...».

Вклад Л. Сейфуллиной в развитие советской литературы не теряет своего значения и сегодня. Обладая качеством всего истинного в искусстве, лучшие ее произведения, прежде всего «Виринея», с течением времени открываются новыми гранями, обогащают все новые поколения бесценным историческим и духовным опытом вершителей Октября и создателей социализма. Как справедливо заметил И. Андроников, восхищаясь вдохновенным изображением революционной эпохи, мы убеждаемся в исторической правоте Сейфуллиной и получаем новое доказательство, что создания большого художника неподвластны действию времени.

А. Гаврилов

Судьба человеческая

В настоящем томе литературного приложения «Подвиг» публикуется очередное произведение писателя Анатолия Безуглова — повесть «Следователь по особо важным делам». Читатели «Сельской молодежи» и приложения к ней давно знакомы с творчеством этого автора и, судя по их письмам в редакцию, с нетерпением ждут его следующих публикаций. А редакционная почта журнала — надежный барометр для определения читательских интересов.

Самое главное — это то, что Анатолий Безуглов не только писатель, он ученый, доктор юридических наук. По роду своей предлитературной деятельности юриста он не только прокурор, не только следователь, он — исследователь человеческих судеб в их критических ситуациях. Он олицетворяет закон, а закон регламентирует поведение человека в обществе. Преступить закон — значит в той или иной мере изменить свою судьбу. И потому люди, охраняющие его, должны особенно внимательно и пристально вглядываться в судьбы тех, кто попадает в поле их зрения, чтобы в случае вины или невиновности равно восторжествовала справедливость.

Для Анатолия Безуглова такая точка зрения аксиоматична. Окончив Московский юридический институт, он, что называется, прямо со студенческой скамьи идет работать прокурором уголовно-судебного отдела Прокуратуры СССР. Ответственнейшее назначение, ответственнейшая работа. Несколько забегая вперед, скажу, что тема ответственности законослужителя за свои решения и поступки станет впоследствии, пожалуй, самой важной темой в творчестве писателя. Яркий пример тому — образ «врио» райпрокурора Холодайкина в повести «Змееловы». Судебная ошибка пагубна, очевидно, так же, как пагубна, скажем, ошибка врача. Представители обеих профессий имеют самое непосредственное отношение к судьбе человека, в конечном счете, к его жизни.

Процесс приближения Анатолия Безуглова к литературному творчеству был естествен, последователен и закономерен. Его публицистическая деятельность началась еще в период прокурорской практики: он выступает на страницах печати со статьями, пишет книги по морально-правовым вопросам, одновременно занимаясь научной деятельностью в области закона и права. В конце пятидесятых годов он поступает в Высшую партийную школу при ЦК КПСС и заканчивает там факультет журналистики. Его привлекает непосредственная пропаганда государственных законов и права, стремление привить их знание и понимание широкой аудитории. Очевидно, что не случайно он пришел на телевидение и несколько лет вел именно при нем ставшую популярной передачу «Человек и закон». Вообще, педагогическая деятельность — его стихия. Но тяга к печатному слову в его художественном выражении постепенно начинает доминировать в сфере всех занятий и увлечений. Научная же работа не мешала, а лишь обогащала его творческую потенцию.

В 1971 году Анатолию Безуглову присуждается ученая степень доктора юридических наук. А уже десятью годами раньше состоялся его литературный дебют — вышли из печати сразу две его книги: «Неожиданное доказательство» и «Пришедшие из

мрака». Некоторое время спустя — повести: «Кто виноват?» и «Чудак? Влюбленный...». Естественно, что героями этих книг стали те люди, чью работу и жизнь он знает досконально. Люди, стоящие на страже закона.

В биографии юриста-практика, юриста-теоретика, педагога, журналиста начинается новый этап — художественное осмысление своего собственного опыта, опыта своих коллег. Начинается творческое исследование человеческих характеров и судеб. И что примечательно? Он сразу же как бы заявляет о том, что ему как писателю одинаково интересны и те, кто охраняет закон, и те, кто его преступает. Его волнует нравственно-психологическая среда, в которой герои и персонажи его произведений совершают те или иные поступки. Сугубо детективная сторона не самоцель, а средство выявления истинных мотивов случившегося. Писателя привлекает прежде всего моральный аспект расследуемого дела. И еще, что мне представляется крайне важным, он остается верен своему призванию педагога, в котором его кредо — воспитание исподволь. Никакой дидактики, никакого менторства. Просто объективный ход событий: вот — ситуация, вот — столкновение характеров, вот — факты, вот — отношение к ним персонажей.

Но за всем этим — четкая, неколебимая авторская позиция, своя нравственная точка зрения на происходящее, которую читатель не может не разделить, ибо она справедлива.

Пожалуй, будет уместно еще раз напомнить о весьма важном периоде в творчестве Анатолия Безуглова — о его совместной литературной работе с писателем Юрием Кларовым. На мой взгляд, это было удивительно плодотворное содружество, давшее читателю известную трилогию: «Конец Хитрова рынка» — «В полосе отчуждения» — «Покушение». Полная несхожесть авторских индивидуальных дарований совершенно неожиданно образовала сплав высокого качества и прочности. Как-то неловко даже рассматривать эти книги в узких рамках определенного жанра. Да, есть элемент детектива, но есть и точное историческое исследование важных временных срезов в процессе становления Советского государства; да, герои этих книг — люди, профессия которых обезвреживать преступников, что они и делают, внося тем самым в сюжет остроту и динамику, но их поступки, их отношение к действительности, их мысли представляют нам широко и полно социально-нравственный фон того времени.

Эти книги прежде всего умны. И что особенно ценно, умны, так сказать, не задним числом. Вспомним хотя бы то, что связано с «горелым делом» в «Покушении»: скажем, разговор Белецкого с Ритой о Явиче-Юрченко, вникнем в ту атмосферу, которая сложилась вокруг «горелого дела». Важным представляется здесь то, что и Белецкий, и Сухоруков, и Фуфаев живут в совершенно определенное время, что складывающаяся в стране обстановка одинаково воспринимается ими. Но как по-разному влияет она на их поступки.

К тому времени, когда Кларов и Безуглов встретились для совместной работы, они, выражаясь спортивным языком, находились в одной весовой категории. И с точки зрения своей профессии — оба юристы: Кларов — адвокат, Безуглов — прокурор. И с точки зрения литературного опыта — оба делали еще только первые, пусть и удачные, шаги в литературе.

«Конец Хитрова рынка» сразу же принес им заслуженный успех, широкую известность. Книга получила премию на конкурсе Союза писателей и МВД СССР, была переведена на многие языки. На основе этой книги авторы написали пьесу, которую приняли к постановке чуть ли не пятьдесят театров страны.

Выстрел был, что называется, «в десятку». Следующий шаг вперед в плане литературного мастерства, освоения исторического материала, осмысления социальных явлений был сделан во второй части трилогии, которая называлась «В полосе отчуждения». Но, на мой взгляд, особенно серьезной и глубокой стала завершающая часть — «Покушение». Авторы смело подняли тот временной пласт, который был уже чреват будущими коллизиями, обозначившимися сквозь призму событий, составляющих содержание книги.

Как они писали вдвоем, кроме них самих, никто, естественно, ничего толком сказать не может. Но все же, читая их, так сказать, «вместе и порознь», кое-что можно заметить.

Тандем этот, как мне представляется, составился из психологически-профессиональной устремленности каждого из них. Они по специфике своей предыдущей деятельности находятся как бы на разных полюсах. Напомним: Безуглов — прокурор, Кларов — адвокат. Безуглов эмоционален, непосредствен, но точен и четок в деталях, его своеобразная прямолинейность уравновешивается мягкой полуироничностью, сдержанностью Кларова. В известном смысле они оппонируют друг другу. И это входит органично в условие их творческой задачи.

Период совместной работы был, очевидно, полезен обоим — оба, возвращаясь к спортивной терминологии, перешли в более тяжелую весовую категорию. За время своего творческого содружества они приобрели достаточно серьезный литературный опыт. Ну а что касается жизненного, то ни тому, ни другому его не занимать.

Но тандем тандемом, а писатели и тогда еще не забывали о собственной творческой индивидуальности. Скажем, Кларов выпускает книгу «Допрос в Иркутске» — Безуглов публикует повесть «Вас будут называть Дикс». Кларов печатает на страницах журнала «Сельская молодежь» роман «Черный треугольник» — Безуглов предлагает читателям «Змееловы» и «Инспектор милиции». В начале этого года «Сельская молодежь» закончила публикацию нового романа Кларова — «С резолюцией: «Расследование возобновить...», являющегося своеобразным продолжением «Черного треугольника», — Безуглов в приложении «Подвиг» как бы отвечает сотоварищу новой повестью «Следователь по особо важным делам».

Повесть эта написана от первого лица — от следователя по особо важным делам Прокуратуры РСФСР Чикурова Игоря Андреевича. Интонация естественности, обыденности начинает звучать с первых же фраз, намеренно снижая, микшируя известную завлекательность названия. В самом деле, следователь, пусть даже и «по особо важным», разве не имеет он права после работы пойти с женщиной в театр, тем более что они далеко не безразличны друг другу? Конечно, может. Разве не может зампрокурора республики пригласить своего подчиненного к себе в кабинет в самом конце рабочего дня? Еще как может. Но он и задержаться тоже может. Тоже бывает. А женщина ждет у

Большого театра. Вот такие дела. Такая работа. А женщины, они хоть и любимые и любящие, но логику имеют свою.

Интонационный зачин очень важен в любом художественном произведении. Читатель сразу же как бы настраивается на определенную, необходимую автору волну. Писателю нельзя без этого обойтись, если он хочет, чтобы его произведение было прочитано до конца.

В данном случае, мне кажется, тональность взята верная. Герой, во-первых, сразу же самохарактеризуется, во-вторых, происходит это не в плане профессиональном, а в плане чисто житейском, отчего он становится с первых же своих шагов нам близок, понятен, узнаваем. Мы уже сочувствуем ему: те же заботы, та же маета, быт до сих пор никак не наладит. Словом, один из нас. И читатель невольно уже симпатизирует Игорю Андреевичу Чикурову, входит, так сказать, в его положение. И то, как автор развивает повествование дальше, только подтверждает наши первоначальные ощущения.

Где-то далеко от Москвы, на Алтае, покончила жизнь самоубийством молодая женщина, находившаяся на седьмом месяце беременности. То есть погибли два человека. Следователь краевой прокуратуры постановил: дело прекратить за отсутствием состава преступления.

Есть письмо предсмертное и есть графическая экспертиза, подтверждающая, что оно написано именно умершей Аней Залесской. Есть и заключение судебно-психиатрической экспертизы — патологических отклонений у погибшей не наблюдалось. Короче, есть все законные основания для того, чтобы следователь мог с полной уверенностью и ответственностью вынести постановление о прекращении дела.

Нет только этой убежденности у людей, знавших Аню, работавших вместе с ней, живших бок о бок. Они не могут, не хотят поверить в случившееся. У них аргумент, правда один-единственный, но он представляется им гораздо весомее и значительней материалов следствия и заключения следователя: «Нет, не могла Аня покончить с собой, не такой она человек». Голые эмоции против убедительных фактов. Но депутат Верховного Совета РСФСР, директор совхоза «Маяк», где работала Аня, также не согласен с выводами следствия. Как депутат, он пишет официальное письмо в Прокуратуру РСФСР с просьбой еще раз расследовать обстоятельства самоубийства А. С. Залесской.

Тыняновское выражение: «Я начинаю там, где кончается документ», мне думается, вполне приложимо к той драматической коллизии, которую положил в основу своей повести Анатолий Безуглов.

Практически следователю Игорю Андреевичу Чикурову предстоит начинать все с нуля. В его распоряжении только материалы проведенного следствия и люди, окружавшие Аню. Кроме того, прошло уже достаточно много времени с момента происшествия: Аню похоронили, все, что необходимо, в свое время осмотрели.

Итак, уже закрытое дело и люди. Но для автора это как раз и важно. Это позволяет ему показать характеры лиц, причастных в той или иной мере к событию, раскрыть их взаимоотношения, проследить судьбы тех, кто был близок к Ане, как бы реконструировать все то, что предшествовало трагическому случаю. И здесь в полной мере сливаются обе ипостаси Анатолия

Безуглова — писателя и юриста. Ничто не давит друг на друга, доминанта общая.

Особо следует остановить внимание на образе следователя Чикурова, хотя в повести немало и других живых характеров. Но он — главное ее действующее лицо. Именно — действующее. Интонация житейскости, обыденности не перестает звучать в повести. То он с Надей разминулся, никак путем побыть вместе не могут, то попадает впросак перед администратором местной гостиницы и, знающий законы, как говорится, назубок, оказывается практически бессильным перед гостиничной логикой администратора. То хитрый старик Савелий Фомич, мягко и ненавязчиво, так сказать, извлекающий выгоду из своего «сотрудничества» со следователем, едва не поставил Чикурова в неловкое положение. Словом, это полнокровный жизненный образ.

Нет необходимости детально вторгаться в ткань повести. Читателю самому ведь интересно прочесть ее и вынести свое суждение. И нет никакого сомнения в том, что прочитает он ее действительно с интересом. Ибо на ее страницах он встретится с живыми людьми. И Аня Залесская как бы вернется в повесть, чтобы предстать перед нами во всей полноте своего характера, своей короткой, но светлой, искренней жизни.

Собственно, дело на доследование вернули и поручили не только Игорю Андреевичу Чикурову, следователю по особо важным делам, вместе с ним расследованием, а точнее, исследованием человеческих судеб, занимаемся и мы, читатели этой повести.

Вс. Лессиг

СОДЕРЖАНИЕ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
О. ПОПЦОВА, Б. ГУРНОВА

Л. Сейфуллина. «Виринея». Повесть известной советской писательницы рассказывает о деревне двадцатых годов, о судьбе женщины, о счастье, великих надеждах человека из народа, о беззаветности его жертв и подвигов.

А. Безуглов. «Следователь по особо важным делам». В повести писателя-юриста А. Безуглова рассказывается о работе московского следователя, выехавшего для доследования обстоятельств гибели молодой женщины в один из алтайских колхозов. Изучая дело, он глубоко проникает в жизнь и быт сельских тружеников, которые помогают раскрыть преступление.

Приложение к журналу «Сельская молодежь», том 2, 1982 г., изд-во «Молодая гвардия».
320 с. Цена 1 руб. 60 коп.

Редактор Б. Гурнов
Обложка И. Данилевич
Рисунки И. Данилевич, В. Лапина
Оформление А. Шипова
Художественный редактор Н. Михайлов
Технический редактор Л. Коноплева

Сдано в набор 23.03.82. Подписано к печати 19.05.82. А03308. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Условн. печ. л. 10 (16,8). Уч.-изд. л. 23. Тираж 308 000 экз. Цена 1 руб. 60 коп. Зак. 499. Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.


1 руб. 60 коп.
Подвиг

